

Лилии полевые 3. Покрывало святой Вероники

Лилии полевые 3. Покрывало святой Вероники

Допущено к распространению Издательским советом Русской Православной Церкви № ИС Р21-127-3396

Предисловие

Дорогие читатели!

Сегодня праздник Торжества Православия.

Огонь веры Христовой горит!

«Мы должны жить в вере как в воздухе, — говорит уральский митрополит Кирилл. — Но сегодня нам не хватает этого воздуха... Мы имеем малые крохи огромного богатства, которое дает нам вера. Самый богатый верующий — тот, который живет в единении со своим Творцом, и в этом его огромное достояние...»

У Православной Церкви во все времена было несметное число противников! Враг никогда не смирится с торжеством Православия, и Господь будет испытывать нас до самого конца — до смерти крестной.

«Быть верным Христу — значит быть верным Ему даже до смерти» — учит проповедник нашего времени, протоиерей Александр Шаргунов. Эти слова обращены к каждому православному христианину и пронизаны сакральным смыслом!

«Смысл нашей жизни — пройти кротким путем Христовой проповеди и вернуться в лоно Отца Небесного... Господь, давший нам этот короткий путь, ждет нас обратно...» — звучат слова архиерея под сводами Троицкого собора Екатеринбургского.

За свою жизнь мы ответим Господу сами. Спросим себя сегодня: кто мы? Как верим? Как живем? Готовы ли служить Богу всем сердцем и всем разумением своим? Есть ли в нас героический евангельский дух, о котором нам проповедует Святая [Церковь](#) и которому учат жития новомучеников и исповедников Российских?

Наш крестный путь, наша исповедь Христа, наша вера — ничто без Самого Творца, без Его проповеди, без Его Креста!

Пусть и эта книга рассказов «Лилии полевые. Покрывало святой Вероники», в которой собраны новые библейские притчи и рассказы из первых времен христианства, предания, сказания, поучения, духовная поэма-быль «Инок», малоизвестные, но пронзительные стихи о жизни угодников Божиих, собранные протоиереем Григорием Пономаревым как пример истинно христианской жизни, — научит и нас Христовой проповеди, пламенной вере и крестной смерти во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь[*].

Елена Кибирева, издатель, член Союза писателей России.

Великий пост. Праздник Торжества Православия. 9 марта 2014 года.



Покрывало святой Вероники

Библейское предание



В один из последних годов царствования императора Тиверия^[1] какой-то бедняк виноградарь поселился с женой в одной хижине высоко в Сабинских горах^[2]. Они были чужие здесь, жили в совершенном одиночестве, и никто никогда не посещал их.

Но однажды утром хозяин, открыв дверь своей хижины, увидел, к своему удивлению, что у порога сторбившись сидит какая-то старуха, закутанная в простой серый плащ. Она выглядела очень бедной. Однако когда она поднялась и обернулась к виноградарю, то показалась ему такой почтенной, что он невольно вспомнил сказание о богинях, которые иногда сходят к людям в образе старой матроны.

— Друг мой, — сказала она виноградарю, — не удивляйся, что эту ночь я проспала у порога твоего дома. В этой хижине жили мои родители, а я родилась здесь почти 90 лет назад. Я думала, что найду ее пустой и заброшенной, и не знала, что в ней снова поселятся люди.

— Неудивительно, — ответил хозяин, — что ты думала найти пустой эту хижину, приютившуюся среди диких скал на такой высоте! Я и моя жена пришли сюда из далекой страны. Мы, люди бедные и чужие здесь, не могли найти себе лучшего пристанища, чем это жилище. А для тебя, усталой и голодной после столь длинного пути, наверное, приятнее найти в этой хижине людей, а не наткнуться на диких волков Сабинских гор. У нас ты найдешь постель для отдыха и чашку козьего молока с куском хлеба, если только тебе угодно будет это принять.

Женщина едва улыбнулась, но эта легкая улыбка не могла согнать выражения глубокой скорби, лежавшего на ее усталом и изможденном от трудной дороги лице.

— Я прожила всю мою юность здесь, в горах, — сказала она, — и еще не забыла, как выжить волка из его берлоги.

И действительно, внешне она выглядела еще крепкой и сильной, и виноградарь не сомневался, что, несмотря на свою глубокую старость, она сохранила достаточно силы, чтобы вступить в

борьбу с диким зверем. Он снова повторил свое приглашение, и старуха вошла в хижину и присоединилась к завтраку бедняков, без уговоров приняв участие в трапезе. Она осталась очень довольна едой — грубым хлебом, размоченным в молоке, — а хозяева горной хижины не переставали думать, откуда могла забрести к ним эта старая женщина-странница.

«Она, наверное, чаще ела фазанов на серебряных блюдах, чем пила козье молоко из глиняной кружки» — так казалось хозяевам.

Иногда старуха поднимала глаза от еды, как бы осваиваясь постепенно в хижине. Бедная обстановка, голые глиняные стены, истоптанный пол... Конечно, со временем хижина сильно изменилась, но кое-какие следы от прежних жильцов в ней все же сохранились. Гостя даже показала теперешним хозяевам кое-где на стенах сохранившиеся следы изображений собак и оленей — их рисовал когда-то ее отец, чтобы позабавить своих малюток. А наверху, на полке, она даже как будто нашла черепки глиняного сосуда, из которого сама когда-то пила молоко.

Тем временем муж и жена думали про себя: «Возможно, конечно, что странница родилась в этой хижине. Но чем она занималась в своей жизни? Наверное, не одним доением коз и приготовлением сыра?». Они заметили также, что мысли незваной гостии часто уносятся куда-то далеко и каждый раз, словно приходя в себя, она тяжело и печально вздыхает. Наконец странница встала из-за стола. Она приветливо поблагодарила хозяев за оказанное ей гостеприимство и направилась к двери. И вдруг бедная женщина показалась виноградарю такой жалкой, одинокой и несчастной, что он сказал:

— Если я не ошибаюсь, то, взобравшись вчера ночью к этой хижине, ты вовсе не думала так скоро оставить ее? Если ты действительно так бедна, как кажется, то, вероятно, надеялась провести здесь оставшиеся годы жизни. А теперь собираешься уйти, потому что я и моя жена поселились в этой хижине?

Старуха не стала отрицать, что он угадал ее желание, однако добавила:

— Эта хижина, стоявшая столько времени заброшенной, принадлежит тебе столько же, сколько и мне. Я не имею никакого права выгонять тебя отсюда.

— Но ведь это хижина твоих родителей, — ответил виноградарь, — и у тебя, конечно, больше на нее прав, чем у нас. Кроме того, мы молоды, а ты — стара. Поэтому оставайся, а мы уйдем отсюда.

Услышав это, старуха крайне удивилась. На пороге дома она обернулась и уставилась на виноградаря, как бы не понимая, что он сказал. Но тут в разговор вмешалась молодая женщина:

— Если мне позволено будет сказать свое мнение, — обратилась она к мужу, — я попросила бы тебя спросить эту старую женщину, не пожелает ли она взглянуть на нас как на своих детей и не захочет ли остаться здесь, чтобы мы могли заботиться о ней. Что за польза ей, если мы уступим эту хижину и оставим ее одну? Для нее было бы ужасно жить одиноко в горах. Это означало бы обречь ее на голодную смерть.

Тут старуха подошла близко к хозяевам хижины и испытующе взглянула на них.

— Отчего говорите вы так со мною? — спросила она. — Почему оказываете мне столько сострадания, ведь вы чужеземцы?

— Потому, что мы сами встретили однажды в жизни великое сострадание, — ответила молодая

женщина.

Таким образом старуха поселилась в хижине виноградаря и вскоре близко подружилась с молодой четой. Однако она никогда не говорила им, откуда пришла и кем была в прошлом. И они понимали, что ей бы не понравилось, если бы они стали ее расспрашивать.

Однажды вечером, когда они втроем сидели на большом плоском обломке скалы, лежавшем перед хижинкой, и ели свой ужин, они увидели старика, поднимавшегося по тропинке. Это был человек высокого роста, крепкого телосложения, широкоплечий, как борец. Лицо его имело мрачное, жестокое выражение. Лоб резко выступал над глубоко запавшими глазами, а линии рта словно таили разочарование и презрение. Он имел военную выправку и отличался быстрыми, резкими движениями. Одет был старик довольно просто, и виноградарь, увидев его, подумал: «Наверное, это старый легионер[3], получивший отставку и отправляющийся теперь на родину».

Приблизившись к хозяевам, мирно ужинавшим у хижинки, гость в нерешительности остановился. Виноградарь, зная, что дорога за хижинкой кончается, положил ложку и обратился к пришедшему:

— Ты, верно, потерял дорогу, путник, если пришел к этой хижине? Обыкновенно никто не забирается сюда, если только у него нет дела до кого-нибудь из нас, живущих здесь.

В это время старик подошел ближе.

— Ты говоришь правду, — сказал он, — я потерял дорогу и теперь не знаю, как мне ее найти. Я буду тебе благодарен, если ты позволишь мне отдохнуть здесь, а потом укажешь, как добраться до деревни.

С этими словами он опустился на один из камней, лежащих перед хижинкой. Молодая женщина предложила ему поужинать вместе с ними, но он с улыбкой отказался, однако охотно и непринужденно беседовал с хозяевами, пока они ели. Он спрашивал их об образе жизни и занятиях, и они отвечали ему приветливо и откровенно.

Но вот виноградарь в свою очередь обратился к путнику и стал расспрашивать его.

— Ты видишь, — сказал он, — как замкнуто и одиноко мы живем. Уже целый год, как я ни с кем не говорил, кроме пастухов и виноградарей. Но можешь ли ты рассказать нам что-нибудь о Риме и императоре, ведь ты пришел, очевидно, из какого-нибудь лагеря?

Едва муж произнес эти слова, как жена заметила, что старуха взглядом и рукой дала ему знак, что надо всегда осторожно относиться к своим словам. Путник же ответил совсем по-дружески:

— Я вижу, что ты принимаешь меня за легионера, но ты не совсем прав, ибо я уже давно оставил службу у императора Тиверия. Для нас немного было работы. А ведь он был когда-то великим полководцем. Это время было временем его счастья... Теперь он ни о чем другом не думает, как о предупреждении заговоров. Весь Рим говорит о том, что на прошлой неделе он приказал по самому ничтожному подозрению арестовать сенатора Тита и казнить его.

— Бедный император! — воскликнула молодая женщина. — Он перестал понимать, что делает!
— она заломила руки и с сожалением покачала головой.

— Ты в самом деле права, — ответил старик, и выражение глубокого огорчения отразилось на

его лице. — Тиверий знает, что все его ненавидят, и это еще больше сводит его с ума.

— Что ты говоришь! — воскликнула хозяйка. — За что нам его ненавидеть? Мы только жалеем, что он перестал быть великим императором, каким был в начале своего царствования.

— Ошибаешься, — сказал гость. — Все люди презирают и ненавидят Тиверия. Да и как же иначе? Ведь он тиран, не знающий пощады. И в Риме думают, что в будущем он станет еще более жестоким, чем теперь.

— Разве случилось что-нибудь такое, что может превратить его в еще большее чудовище? — спросил чистосердечно виноградарь.

И снова молодая женщина заметила, что при этих словах старуха вторично сделала ее мужу знак, чтобы он был осторожен. Старик же ответил просто, но в то же время на губах его проскользнула своеобразная улыбка:

— Ты, вероятно, слышал, что Тиверий до сих пор имел около себя друга, которому он мог довериться и который всегда говорил ему только одну правду? Все прочие, живущие при его дворе, — искатели счастья и льстецы, одинаково превозносящие как его добрые и благородные дела, так и злые и низкие поступки. Но было, как я сказал, одно существо, которое никогда не боялось открывать ему глаза на его поступки. Этим человеком, имевшим больше мужества, чем сенаторы и полководцы, была старая кормилица императора — Фаустина...

— Да, я слышал о ней, — прервал виноградарь. — Говорили, что император всегда оказывал ей большое расположение!

— Да, Тиверий умел ценить преданность и верность этой женщины. Он относился к ней как ко второй своей матери — к этой простой крестьянке, пришедшей к нему когда-то из жалкой хижины в Сабинских горах. С тех пор как он сам стал жить в Риме, он поселил ее в отдельном доме на Палатинском холме[4], чтобы иметь ее всегда вблизи себя. Ни одна из знатных римских матрон не жила лучше ее. Ее носили по улицам на носилках, и одевалась она как императрица. При переселении императора на остров Капри[5] она должна была его сопровождать, и он велел даже купить для нее виллу с рабами и драгоценной обстановкой.

— Действительно, ей жилось хорошо, — снова вставил виноградарь, который один только и поддерживал разговор с гостем.

Жена его сидела молча и с удивлением следила за переменной, произошедшей со старухой. С тех пор как пришел путник, она не проронила ни слова. Она словно преобразилась, потеряв свое обычно приветливое и мягкое выражение глаз. Отодвинув от себя еду, она сидела теперь прямо, словно застывшая, прислонясь к двери и глядя в пространство окаменевшими глазами.

— Такова воля императора. Он захотел, чтобы она была счастлива и свободна, — сказал старик.
— Но, несмотря на все его благодеяния, и она предала его...

При этих словах путника старуха вздрогнула, но женщина ласково и участливо погладила ее по руке и, обратившись к гостю мягким, нежным голосом, сказала:

— Я все же не могу думать, что старая Фаустина была так счастлива при дворе, как ты это описываешь. Я уверена, что она любила Тиверия как собственного сына. Я представляю себе, как гордилась она его благородной юностью, и также могу представить, как велико было ее горе, когда он в старости отдался во власть подозрительности и жестокости. Она, наверное, каждый день говорила ему об этом и останавливала его. Ужасно тяжелы для нее должны были

быть ее тщетные мольбы! И, наконец, она не в силах была видеть, как он все глубже и глубже падает в пропасть.

При этих словах старик изумленно подвинулся ближе к говорившей, но не смог как следует разглядеть молодую женщину: она сидела с опущенными глазами, говорила очень тихо и грустно.



— Ты, быть может, права в том, что говоришь о старухе, — ответил он. — Фаустина в действительности не была счастлива при дворе Тиверия, и все же кажется удивительным, что она оставила императора в его старости, после того как у нее хватало терпения оставаться с ним в течение всей жизни.

— Что ты говоришь?! — воскликнул виноградарь. — Старая Фаустина покинула императора?

— Она скрылась с острова Капри, никому не сказав ни слова, — ответил путник. — Она ушла такой же нищей, какой и пришла. Она не взяла с собой ничего из своих сокровищ.

— И император в самом деле не знает, почему она ушла? — спросила молодая женщина.

— Нет, — ответил старик, — император не знает причину. Ведь не может же он поверить, что она покинула его потому, что он как-то раз сказал ей, что она служит ему, чтобы получать плату и подарки, как и все прочие. Она ведь знает, что он никогда не сомневался в ее бескорыстии. Он все еще надеется, что она добровольно к нему вернется, потому что никто лучше ее не знает, что он теперь совсем не имеет друзей.

— Я не знаю ее, — сказала молодая женщина, — но думаю, что могу все-таки предположить, почему она ушла от императора. Она была воспитана в простоте и благочестии, и ее, может быть, всегда влекло назад, в прошлую жизнь. Но все же она никогда не оставила бы его, если бы он ее не оскорбил. И я понимаю, что после обидных слов она наконец сочла себя вправе подумать о себе самой, так как дни ее уже близятся к концу. Если бы я была бедной жительницей гор, то, вероятно, так же поступила бы, как и она. Я сказала бы себе, что я довольно сделала, прослужив моему господину всю жизнь. Я ушла бы наконец от роскоши и царской милости, чтобы дать душе насладиться истинной правдой, перед тем как моя душа оставит меня и начнет свой длинный путь.

Старик окинул молодую женщину мрачным и печальным взглядом:

— И ты не думаешь о том, что жизнь императора станет теперь мрачнее, чем когда бы то ни было; теперь, когда не стало никого, кто мог бы его успокоить, когда им овладевает недоверие и презрение к людям? Ведь только подумать, — и старик взглядом впился в глаза молодой женщины, — во всем мире нет теперь человека, которого бы он не ненавидел, которого бы он не презирал. Ни одного!..

Когда он произнес эти слова горького отчаяния, старуха вдруг сделала резкое движение и обернулась к старику. Посмотрев ему прямо в глаза, она ответила:

— Тиверий знает, что Фаустина снова вернется к нему, как только он этого пожелает. Но она должна раньше знать, что старые глаза ее не будут видеть при дворе его порок и бесстыдство.

При этих словах все трое обитателей хижины поднялись, но виноградарь и его жена встали впереди старухи, как бы защищая ее. Старик не произнес больше ни одного слова, но смотрел на старуху вопросительным взглядом. «И это твоё последнее слово?» — казалось, говорил этот взгляд. Губы старой кормилицы дрожали, и слова уже не могли сходиться с ними.

— Если император любит свою старую прислужницу, то он должен предоставить ей покой в последние ее дни, — сказала молодая женщина.

Путник медлил еще, но вдруг его мрачное лицо просветлело.

— Друзья мои, — сказал он, — что бы ни говорили о Тиверии, но есть одно, чему он научился лучше всех других: самоотречение. Еще одно я должен вам сказать: если старая кормилица, о которой мы говорили, придет в эту хижину, примите ее хорошо. Милость императора постигнет всякого, кто поможет Фаустине.

При этих словах он завернулся в свой дорожный плащ и ушел той же горной тропой, по которой пришел.

После этого случая виноградарь и его жена никогда больше не говорили со своей гостьей об императоре. В беседах же между собой они удивлялись, что, несмотря на глубокую старость, она нашла в себе силы отказаться от роскоши и влияния, к которым давно привыкла.

«Не вернется ли она снова скоро к Тиверию? — спрашивали они себя. — Она, конечно, все еще любит его. Ведь она оставила его в надежде, что это образумит его и заставит отказаться от безумной жестокости...»

— Такой старый человек, как император, никогда уже не начнет новой жизни, — говорил муж.

— Как сможешь ты отнять у него беспредельное презрение к людям? — отвечала жена. — Кто позволил бы себе выступить перед ним и научить его любви к человечеству? А пока этого не случится, он не сможет исцелиться от своего упрямства и тирании. Ты знаешь, что есть только один Человек на всем свете, Который действительно был бы в силах это сделать. Я часто думаю о том, что было бы, если бы эти двое встретились. Однако пути Господни непостижимы...

А тем временем их гостья окончательно освоилась в доме и уже не чувствовала каких-либо лишений и не испытывала никакой потребности вернуться к своей прежней жизни. И, когда через некоторое время жена виноградаря родила дитя, старуха стала ходить за малюткой и казалась такой жизнерадостной и счастливой, что, казалось, совсем забыла о своем горе.

Раз в полгода, закутавшись в свой длинный серый плащ, она обыкновенно отправлялась в Рим. Но там Фаустина ни к кому не заходила, а пробиралась прямо на форум^[6]. Она останавливалась перед небольшим храмом, который помещался на одной из сторон великолепно украшенной площади. Этот храм состоял собственно из очень большого алтаря под открытым небом на дворике, выложенном мрамором. На алтаре восседала Фортуна — богиня счастья. А у подножия стояла статуя Тиверия. Кругом двора шли помещения для жрецов, кладовые для дров и стойла для жертвенных животных.

Странствования старой Фаустины не шли никогда дальше этого храма, посещаемого всеми желавшими молиться о счастье Тиверия. Заглянув в храм и увидев, что статуи богини и императора украшены цветами, что жертвенный огонь пылает, а толпы благоговейно

молящихся людей собираются вокруг алтаря, послушав тихие гимны жрецов, она выходила из храма и возвращалась в горы. Так, не проронив ни с кем ни одного слова, узнавала старая кормилица, что Тиверий еще жив и у него все благополучно.

Но однажды, когда она в третий раз спустилась с Сабинских гор и совершила путешествие, то нашла в городе нечто необыкновенное. Приближаясь к храму, она заметила, что он заброшен и пуст. Перед башней не было ни одного светильника, а в храме не было молящихся. На одной из стен алтаря висело еще несколько сухих венков, но это было все, что осталось от былой пышности. Жрецы исчезли, а статуя императора, более никем не охраняемая, была попорчена и стояла в пыли.

Старуха обратилась к первому встречному:

— Что должно это означать? — спросила она. — Разве Тиверий умер? Или у нас уже другой император?

— Нет, — ответил римлянин, — Тиверий все еще император, но мы перестали молиться о нем. Наши молитвы больше ему не помогают.

— Друг мой, — сказала Фаустина, — я живу далеко отсюда, в горах, где никто ничего не знает о том, что делается на свете. Не будешь ли так добр сказать мне, какое несчастье постигло императора?

— Самое ужасное несчастье обрушилось на Тиверия, — ответил тот. — Его поразила болезнь, которая до сих пор в Италии была неизвестна, однако она, говорят, нередкая на востоке. Болезнь так изуродовала императора, что его голос стал похож на рычание зверя, а пальцы на руках и ногах разъели язвы. И от этой болезни будто бы нет никакого лекарства. Многие думают, что через несколько недель он умрет. Если же не умрет, то придется лишить его трона — несчастный не может больше царствовать. Ты понимаешь теперь, что его императорской судьбе пришел конец. И бесполезно сейчас молить богов о даровании ему счастья. Да и не стоит, — прибавил римлянин с легкой усмешкой. — Нечего теперь заискивать перед ним. Да и к чему же нам трепетать о нем?

С этими словами он поклонился Фаустине и отошел, а она застыла на месте, ошеломленная словами незнакомца. В первый раз в своей жизни она почувствовала себя пораженной; она ощущала теперь себя дряхлой, сгорбленной старухой, придавленной тяжкими страданиями. Она стояла, несчастная и немощная, с трясущейся головой, и руки ее что-то бессильно ловили в воздухе... Ей захотелось поскорее уйти с этого места, но ноги ее сами по себе подкосились, и, пошатываясь, едва передвигаясь вперед, она искала взглядом любую опору, на которую могла бы опереться.

Через несколько минут после невероятных усилий ей удалось наконец преодолеть внезапный упадок сил. Она выпрямилась во весь рост и буквально заставила себя пойти твердыми шагами по переполненным людьми улицам — она возвращалась в горы.

Но уже через неделю старая Фаустина вновь взбиралась по крутым утесам острова Капри. Был жаркий день, и удручающее чувство старости и слабость снова овладели ею, пока она плелась по вьющимся дорожкам и ступенькам, прорубленным в скалах на пути к вилле Тиверия. Это чувство особенно усиливалось оттого, что она заметила, как сильно все изменилось вокруг за время ее отсутствия. Прежде здесь всегда встречались целые толпы людей, которые живо взбирались и спускались по ступеням императорской виллы. Здесь толпились сенаторы, которых принесли сюда на специальных носилках великаны-ливийцы; чиновники из всех

провинций, являвшиеся в сопровождении длинного ряда рабов; искатели должностей и званые люди, приглашенные на пир к императору. А теперь все лестницы и переходы виллы опустели. Серо-зеленые ящерицы были единственными живыми существами, которых Фаустина встретила на своем пути. Она поражалась тому, как скоро все может приходиться в упадок.

Со времени заболевания императора прошло лишь несколько недель, а между тем сквозь щели между мраморными плитами виллы уже пробивалась сорная трава. Благородные растения в прекрасных вазах давно засохли, а наглые и вездесущие придворные, не встречая никакой помехи, в нескольких местах проломили ограду императорской виллы.

Но больше всего ее поразило совершенное отсутствие людей. Хотя посторонним запрещено было появляться на острове, но все же еще должны были быть здесь остатки когда-то бесчисленных толп дворцовой стражи, танцовщиц и музыкантов, поваров и прислужников за столом, садовников и рабов, которые все принадлежали ко дворцу императора.

Только дойдя до самой верхней террасы, Фаустина увидела двух старых рабов, сидевших на ступенях лестницы, которая вела к вилле. При ее приближении рабы встали и склонились перед ней в низком поклоне.

— Привет тебе, Фаустина, — сказал один из них, — боги посылают тебя, чтобы смягчить наши несчастья.

— Что это значит, Милон? — спросила Фаустина. — Почему здесь все так запущено? Ведь мне сказали, что Тиверий еще на Капри.

— Император разогнал своих рабов, потому что подозревает, будто один из нас дал ему отравленного вина и это вызвало его болезнь. Он прогнал бы и нас, если бы мы не отказались подчиниться ему. Ты же знаешь, что всю нашу жизнь мы служили императору и его матери.

— Я спрашиваю не только о рабах, — сказал Фаустина. — Где сенаторы и полководцы, где приближенные императора и все льстивые придворные прихлебатели?

— Тиверий не желает теперь показываться посторонним, — ответил раб. — Сенатор Люций и Макрон, начальник личной императорской стражи, являются сюда каждый день и получают приказания. Кроме них, никто не смеет видеть Тиверия.

Фаустина поднялась по лестнице к вилле; раб шел впереди ее, и на ходу она его спросила:

— Что говорят врачи о болезни императора?

— Никто из них не умеет лечить эту болезнь; они даже не знают, медленно ли она убивает или скоро. Но одно я тебе могу сказать, Фаустина: что Тиверий может умереть, если он и дальше будет отказываться от пищи из боязни быть отравленным. И я знаю, больной человек не может вынести бодрствования днем и ночью, как это делает Тиверий, боясь быть убитым во сне. Если он захочет довериться тебе, как в прежние годы, то тебе, может быть, удастся уговорить его есть и спать. Этим ты можешь продлить его жизнь на многие дни.

Поборов себя, Фаустина взойшла на террасу и с ужасом увидела там отвратительное существо с распухшим лицом со звериными чертами. Руки и ноги несчастного были завернуты в белые бинты, и сквозь эти гнойные повязки видны были наполовину изъеденные болезнью пальцы рук и ног. Одежда этого человека была в пыли и грязи. Видно было, что он не в состоянии держаться на ногах и вынужден передвигаться по террасе только ползком. Сейчас он лежал с закрытыми глазами у самого края и не двигался, когда вошли раб и Фаустина. Но она шепнула

рабу: «Однако, Милон, как посмел этот человек забраться на императорскую террасу, поторопись-ка выпроводить его...».

Но не успела она договорить, как увидела, что раб склонился к земле перед этим жалким человеком:

— Цезарь Тиверий, наконец могу принести тебе радостную весть!

И тотчас раб обернулся к Фаустине, но вдруг отскочил от нее, пораженный, и не смог более произнести ни одного слова. Он не узнал гордой матроны, которая за миг до этого выглядела такой могучей, что казалось, что она доживет до лет Сибиллы[7]. В это мгновение она поддалась бессильной старческой дряхлости и раб видел перед собой не гордую матрону, а согбенную старуху с померкшим взглядом и беспомощно трясущимися руками. Несмотря на то, что Фаустина была предупреждена, что больной император ужасно изменился, все же она ни одной минуты не переставала представлять его себе крепким человеком, каким он был, когда она видела его в последний раз. Она слышала от кого-то, что болезнь, поразившая Тиверия, изменяет человека медленно и что нужны целые годы, чтобы она изуродовала человека до неузнаваемости. Но здесь болезнь пошла вперед с такой силой, что обезобразила цезаря за довольно короткое время. Спотыкаясь, добрела Фаустина до императора. Она не в силах была говорить и молча плакала, стоя возле Тиверия.

— Ты пришла наконец, Фаустина, — промолвил он, не открывая глаз. — Я давно лежу тут, и мне все чудится, будто ты стоишь рядом и плачешь обо мне; и я не решаюсь взглянуть на тебя лишь из боязни, что это только обман моего больного воображения.

Тогда старуха рухнула около Тиверия, с нежностью приподняла его голову и, обхватив ее обеими руками, спрятала на своей груди. Но император продолжал тихо лежать и даже не взглянул на Фаустину; чувство тихого умиротворения наполнило его, и он тотчас погрузился в спокойный сон...

Спустя несколько недель один из рабов императора шел по направлению к хижине в Сабинских горах. Наступал вечер, и виноградарь с женой стояли в дверях и глядели на заходящее на далеком западе солнце. Раб свернул с дороги, подошел к хижине и приветствовал их. Затем он вытащил небольшой, но тяжелый мешок, спрятанный за поясом, и вложил его в руку виноградаря.

— Это шлет тебе кормилица императора Фаустина, старая женщина, к которой вы были так добры, — сказал раб. — Она велела мне сказать тебе, чтобы ты купил на эти деньги виноградник и построил себе жилище не так высоко в горах, как твое орлиное гнездо.

— Значит, старая Фаустина еще жива? — спросил виноградарь. — Мы искали ее во всех обрывах и болотах, когда она однажды не вернулась. Я думал, она погибла в какой-то пропасти или заблудилась в горах.

— Помнишь, — сказала жена виноградарю, — я все не хотела верить, что она умерла? Разве я не говорила тебе, что она вернулась к императору?

— Да, — подтвердил виноградарь, — ты действительно говорила это, и я радуюсь, что ты была права. Радуюсь не только тому, что Фаустина снова стала богатой и может спасти нас от бедности, но также — за бедного императора.

Раб хотел тотчас же уйти, чтобы засветло добраться до жилых мест, но муж и жена не отпустили его.

— Ты должен остаться у нас до утра, — говорили они, — мы не можем отпустить тебя раньше, чем ты расскажешь все, что испытала Фаустина. Почему вернулась она к императору? Какова была их встреча? Счастлива ли она теперь, что снова вместе с ним?

Раб уступил их просьбам. Он пошел вместе с ними в хижину и за ужином рассказал им о болезни Тиверия и о возвращении Фаустины. По окончании рассказа он увидел, что муж и жена сидят неподвижно, словно чем-то пораженные. Взоры их были опущены, как будто они желали скрыть волнение, овладевшее ими. Наконец виноградарь поднял глаза и, обращаясь к жене, сказал:

— Не думаешь ли ты, что это перст Божий?

— Да! — ответила она. — Наверное, именно ради этого Господь послал нас через море в эту хижину. Наверное, это Он подсказал старой кормилице постучаться в двери нашей хижины.

Едва она произнесла эти слова, как виноградарь снова обратился к рабу:

— Друг мой, — сказал он, — ты должен передать Фаустине мое поручение; скажи ей это слово в слово: «Вот что сообщает тебе твой друг виноградарь из Сабинских гор. Ты видела мою жену; не показалась ли она тебе цветущей здоровьем и красотой? И тем не менее эта молодая женщина раньше страдала той же болезнью, которая теперь поразила Тиверия».

Раб выразил удивление, но виноградарь продолжал все решительнее:

— Если Фаустина не захочет поверить моим словам, то скажи ей, что моя жена и я происходим родом из Палестины. В Азии, где эта болезнь встречается часто, существует закон, по которому прокаженные изгоняются из городов и деревень и должны жить в заброшенных местах или искать для себя убежища около гробниц и на горных утесах. Скажи Фаустине, что моя жена происходит от больных родителей и родилась в скалистой пещере. И пока она была ребенком, то была здорова, а когда стала взрослой девушкой, у нее появилась та самая болезнь, поразившая императора.

При этих словах виноградаря раб, смеясь, покачал головой и сказал ему:

— Так ты хочешь, чтобы Фаустина поверила тебе? Но как? Она ведь видела твою жену цветущей и здоровой. А ведь от этой болезни не существует никаких средств.

Однако виноградарь настаивал:

— Лучше всего было бы, если бы она захотела мне поверить, но, кроме того, я не без свидетелей: пусть пошлет она вестника в Назарет, в Галилею, там любой человек подтвердит мои слова.

— Быть может, твоя жена излечена чудом какого-либо бога? — с недоверием спросил раб.

— Да, — ответил виноградарь, — это было именно так, как ты говоришь.

И он продолжал свой рассказ:

«Однажды среди больных, живших в пустыне, разнеслась весть: говорили, что появился великий Пророк в городе Назарете[8], в Галилее[9], что Он преисполнен силы Духа Божия и может исцелить любую болезнь, если только возложит руку на лоб. Но больные, подавленные своим несчастьем, не хотели верить, что эта весть истинная. “Нас никто не может исцелить, —

говорили они. — Со времен великого пророка никто не мог спасти ни одного из нас от великого несчастья”. Но среди этих больных была одна, которая верила. Она ушла от остальных искать дорогу в Назарет, где жил Пророк.

И вот однажды, когда она шла по широкой равнине, то встретила одного Человека высокого роста, с бледным лицом и ниспадающими на плечи черными, блестящими локонами. Темные глаза Его светились как звезды и необъяснимо притягивали к Себе. Но, еще не приблизившись к Нему, она крикнула:

— Не подходи ко мне близко, потому что я заражена, но скажи, где могу я найти Пророка из Назарета?

Человек продолжал идти ей навстречу. Когда же Он подошел к ней совсем близко, то спросил ее:

— Зачем ты ищешь Пророка из Назарета?

— Я ищу Его, чтобы Он возложил Свою руку на мой лоб и исцелил меня от моей болезни.

Тогда Он подошел к ней и положил Свою руку на ее голову. Но она сказала Ему:

— Что пользы мне в том, что Ты возложил на меня Свою руку, ведь Ты не Пророк?

Но Он улыбнулся ей и сказал:

— Теперь иди в город, расположенный на склоне горы, и покажись священникам.

Несчастливая подумала про себя: “Он насмехается надо мной, от Него я, видимо, не узнаю ничего”. И она пошла дальше. А вскоре она увидела человека, ехавшего верхом. Когда он подъехал к ней так близко, что мог расслышать ее, она крикнула ему:

— Не подходи ко мне близко — я заражена; но скажи мне, где я могу найти назаретского Пророка?

— Чего ты хочешь от Пророка? — спросил встречный и продолжал медленно приближаться к ней.

— Я хочу только, чтобы Он возложил руку мне на лоб и излечил бы меня от болезни.

Тогда всадник подъехал еще ближе:

— От какой болезни хочешь ты излечиться? — спросил он. — Ты вовсе не нуждаешься во враче.

— Разве ты не видишь, что я прокаженная? Я родилась от больных родителей в пещере скалы.

Но наездник не переставал приближаться к ней, потому что она была мила и привлекательна, как едва раскрывшийся прекрасный цветок.

— Ты самая красивейшая девушка в Иудейской стране! — воскликнул он.

— Перестань издеваться надо мной, я знаю, что лицо мое изъедено болезнью, а голос подобен вою дикого зверя.

Но он взглянул ей глубоко в глаза и сказал:

— Голос твой звучит как весенний ручеек, осторожно пробирающийся меж камней, а лицо — гладкое, как нежный шелк.

В эту минуту он подъехал так близко, что она могла увидеть свое лицо в блестящей обшивке седла.

— Посмотри здесь на свое отражение, — сказал он.

Она так и сделала и увидела свое лицо, нежное и мягкое, как только что раскрывшиеся крылышки бабочки.

— Что я такое вижу? Это не мое лицо.

— Это и есть твое лицо, — сказал ей путник.

— Но мой голос! Разве не звучит он как скрипучая телега, с трудом взбирающаяся в горы?

— Нет, он звенит, как самые нежные струны арфы, — ответил ей всадник.

Тогда она повернулась и, протянув руку, указала на дорогу.

— Знаешь ли ты вон Того Человека, Который сейчас скроется за двумя дубами? — спросила она всадника.

— Это и есть Тот, о Котором ты спрашивала, — Пророк из Назарета, — ответил он ей.

Пораженная этим известием, она закрыла руками лицо, и глаза ее тотчас наполнились слезами.

— О, Ты — Святой, Ты — Носитель Божией силы, — воскликнула она, глядя в сторону Незнакомца. — Ты исцелил меня!

И тогда всадник смело посадил ее на седло и привез в город, стоявший на обрыве горы. Он повел ее к старейшинам и священникам и рассказал им про чудесную встречу девушки и Пророка. Старейшины подробно расспрашивали его обо всем, но когда услышали, что девушка родилась в пустыне от родителей, больных проказой, то не поверили, что она излечилась.

— Возвращайся туда, откуда ты пришла, — сказали они. — Если ты больна, то должна такой оставаться весь свой век. Ты не смеешь приходить в город, чтобы не заразить нас своей болезнью.

Она же сказала им в ответ:

— Я знаю, что я здорова, потому что Пророк из Назарета возложил Свою руку мне на лоб.

При этих словах девушки они закричали:

— Кто Он такой, что может нечистых делать чистыми? Все это лишь ослепление от злых духов! Возвращайся обратно к своим родным, иначе ты погубишь нас!

Священники этого города не захотели признать девушку исцеленной и не позволили ей более оставаться в городе. Они объявили, что всякий, кто окажет ей гостеприимство, будет считаться заразным. Когда же жрецы изрекли такой приговор, девушка с горечью обратилась к молодому человеку, нашедшему ее в поле:

— Куда мне теперь идти? Должна ли я снова вернуться в пустыню к больным родителям?



Всадник же посадил ее в седло рядом с собою и ответил:

— Конечно, нет. Ты не должна возвращаться к ним пещеру. Лучше уйдем отсюда вдвоем — за море, в иную страну, где нет закона для “чистых” и “нечистых”.

И они оба...»...

На этом месте виноградарь оборвал свой рассказ, потому что раб поднялся и произнес:

— Тебе незачем дальше рассказывать, лучше проводи меня часть дороги, так как ты знаешь путь в город. Я хочу сегодня же отправиться обратно, не дожидаясь утра. Император и Фаустина, не теряя времени, должны тотчас же узнать обо всем, что ты мне поведал.

Когда виноградарь проводил раба и указал ему дорогу, то, вернувшись в хижину, нашел свою жену еще не спящей.

— Я не могу уснуть, — сказала она, — и все думаю о том, как встретятся эти двое — Один, Который любит всех людей, и другой, который их ненавидит. Кажется, эта встреча должна сдвинуть Тиверия с пути ненависти.

Она думала о встрече императора и Пророка из Назарета.

* * *

Старая Фаустина прибыла в далекую Палестину, направляясь в Иерусалим. Она никому другому не хотела уступить поручение найти Пророка и привести Его к императору. Разумеется, при этом она думала так: «Того, что мы хотим от Этого чужого Человека, нельзя добиться силой или купить за деньги. Но, может быть, Он поможет нам, если кто-нибудь упадет к Его ногам и расскажет Ему, в какой беде находится император. Но кто же будет более пламенно просить за Тиверия, чем я, которая страдает от этого несчастья так же тяжело, как и он сам?!».

Старая кормилица даже помолодела от надежды на то, что, быть может, удастся спасти Тиверия. Без труда перенесла она далекое морское плавание до Яффы[10] и дорогу до Иерусалима совершила не в носилках, а верхом. Казалось, что она переносит трудное путешествие так же легко, как и благородные римляне, солдаты и рабы, которые составляли ее свиту. Это путешествие от Яффы до Иерусалима наполняло сердце Фаустины радостью и светлой надеждой.

Была весна, и Саронская долина[11], по которой они ехали в первый день, представляла собой сверкающий ковер цветов. И на второй день, когда группа уже вступила на Иудейские горы, цветы все еще составляли основу горных пейзажей. Все разнообразные холмы, между которыми вилась дорога, были покрыты плодовыми деревьями, которые были в самом роскошном цвету в это время года.

А когда путешественники уставали глядеть на бледно-розовые цветы персиковых и

абрикосовых деревьев, глаза их отдыхали, любясь молодыми побегами винограда, пробивавшимися сквозь темно-коричневые лозы.

Но не только цветы и весенняя зелень делали путешествие Фаустины и ее свиты привлекательным; больше всего обращали на себя внимание многочисленные пестрые толпы людей, попадавшие в это утро всюду по пути в Иерусалим. Со всех дорог и тропинок, с одиноких вершин и из самых отдаленных уголков долины шли необычные странники. Достигнув большой дороги, ведущей в Иерусалим, отдельные путники соединялись в большие толпы и отсюда шли вместе в самом радостном настроении.

Вот едет почтенный старик, сидящий на верблюде, рядом идут его сыновья и дочери, зятя и невестки и все его внуки. Это такая огромная семья, что она составляет маленький отряд. Мать-старуху, слишком слабую, чтобы идти пешком, сыновья посадили на плечи. Гордая своими детьми, она так и продвигалась далее сквозь почтительно расступающуюся толпу.

Это было какое-то особенное утро, которое могло наполнить радостью даже самое удрученное сердце. Небо, правда, было не совсем ясным, а покрыто легкими серовато-белыми облаками. Но никому из путников не приходило в голову огорчаться, так как облака смягчали палящий, резкий свет солнца. Под этим затуманенным небом благоухание цветущих деревьев и молодой листвы не так быстро, как обыкновенно, уносилось высоко в пространство, а как бы ложилось в низине по пути следования путников. И этот дивный день, своим бледным приглушенным светом и неподвижным воздухом несколько напоминающий мирный покой ночи, казалось, придавал людям какое-то особенное настроение, так что все шли вперед радостные, торжественные, напевая вполголоса древние еврейские гимны и играя на старинных инструментах, звучавших в сопровождении мерного жужжания мух и стрекотания кузнечиков.

Старая Фаустина продвигалась вперед вместе со всеми этими людьми, заражаясь их бодростью и радостью, и то и дело подгоняла своего коня. Обращаясь к молодому римлянину, ехавшему рядом с ней, она произнесла:

— Сегодня ночью видела во сне Тиверия, и он просил меня не задерживаться в пути, а достигнуть Иерусалима непременно сегодня. Мне кажется, боги хотели этим напомнить мне, что надо приехать в Иерусалим в это прекрасное утро, именно сегодня.

В это время они достигли самого высокого места длинного горного хребта, и тут Фаустина невольно придержала коня. Перед ней лежала большая, глубокая котловина, окруженная живописными холмами, а из темной глубины ее выступали тенистые скалы, приютившие на своей вершине город Иерусалим.

Этот горный тесный городок, своими стенами и башнями окружавший вершину скалы словно драгоценной короной, в этот день бесконечно разросся: все окрестные холмы, поднимавшиеся из долины, покрылись цветными палатками, и улицы оживились людским шумом. Фаустина видела, как все население страны направляется в Иерусалим, чтобы праздновать какой-то великий Праздник. Жители более отдаленных местностей прибыли сюда заранее и разбили уже свои палатки, а живущие вблизи Иерусалима еще только подходили. Со всех сторон спускались они теперь с холмов непрерывным смешанным потоком, в основном в белых одеждах, с настроением праздничного, сверкающего веселья. Фаустина обратилась к ехавшему рядом с ней молодому римлянину:

— Должно быть, Сульпиций, весь народ пришел сегодня в Иерусалим.

— Это так и есть, — ответил римлянин, которого Тиверий назначил сопровождать Фаустину,

так как тот несколько лет жил в Иудее. — Они празднуют теперь большой весенний Праздник. И в это время все — и стар и млад — направляются в Иерусалим.

Фаустина задумалась на мгновение.

— Я рада, — сказала она, — что мы прибудем в город в день народного праздника. Это служит важным предзнаменованием, что боги благоприятствуют нашей поездке. Не думаешь ли ты, что и Тот, Которого мы ищем, Пророк из Назарета, тоже придет в Иерусалим, чтобы принять участие в празднестве?

— Ты права, Фаустина, — ответил римлянин, — Он, вероятно, в Иерусалиме. Это действительно веление богов. Как ни крепка и сильна ты, можешь все же считать себя счастливой, что тебе не придется совершить далекое и утомительное путешествие в Галилею в поисках Пророка.

Затем он подъехал к проходившим мимо путникам и спросил, не знают ли они, находится ли Пророк из Назарета в Иерусалиме.

— Мы видели Его там каждый год в это время, — ответил один из них, — наверное, и в этом году Он пришел сюда, как богобоязненный и праведный Человек.

Какая-то иудейка подошла к Фаустине и, протянув руку, указала на холм, лежавший на восток от города.

— Видишь, — сказала она, — горный склон, поросший оливковыми деревьями? Там обыкновенно располагаются галилеяне со своими палатками, там ты и можешь получить верные сведения о Том, Кого ищешь.

Фаустина со спутником продолжали свой путь и спустились по извилистой тропинке в глубину долины. Затем начали подниматься на гору Сион^[12], чтобы на вершине ее войти в Иерусалим. Круто поднимающаяся дорога была ограждена здесь низкими стенами, на которых стояли и лежали без числа нищие и калеки, просившие милостыни у путешественников. Во время медленного подъема знакомая иудейка снова подошла к Фаустине.

— Смотри, — указала она ей на нищего, сидевшего на стене, — это житель Галилеи. Я вспоминаю, что видела его среди почитателей Пророка; он может сказать тебе, где Тот, Которого ты ищешь.

Фаустина с Сульпицием подъехали к этому человеку. То был бедный старик с длинной седой бородой. Лицо его загорело от знойного, яркого солнца, а руки были в мозолях. Он не просил милостыни и казался до того погруженным в печальные думы, что даже не взглянул на подъехавших всадников. Он не слышал, как Сульпиций заговорил с ним, и римлянин должен был несколько раз повторить свой вопрос:

— Друг мой, мне сказали, что ты галилеянин. Скажи мне, где я могу найти Пророка из Назарета.

Житель Галилеи, расслышав наконец вопрос, нервно вздрогнул и посмотрел на Сульпиция как обезумевший. Когда он понял, чего от него хотят, то пришел в какое-то гневное раздражение, смешанное одновременно со страхом и непонятным ужасом.

— О чем ты говоришь? — набросился он на римлянина. — Почему ты спрашиваешь меня об Этом Человеке? Я ничего не знаю о Нем. Я не галилеянин.

Тут иудейка вмешалась в разговор:

— Ведь я же сама видела тебя с Ним, не бойся и скажи этой знатной римлянке, к которой император Тиверий питает дружбу, где она может без проблем найти Пророка.

Но испуганный ученик Иисуса, а это был именно он, еще более раздражался.

— Не сошли ли сегодня все с ума, — наигранно и испуганно воскликнул он, — или в вас вселился злой дух, что все вы один за другим приходите ко мне и спрашиваете о Пророке? Отчего никто не хочет мне верить, когда я говорю, что не знаю Его и даже никогда не видел?

Возбуждение говорившего привлекло к себе внимание, и несколько нищих, сидевших на стене рядом с ним, тоже начали спорить со странным стариком.

— Конечно, ты принадлежал к Его последователям, — сказали они, — мы все знаем, что ты пришел с Ним из Галилеи.

Но человек поднял обе руки к небу и отчаянно воскликнул:

— Я сегодня не мог остаться в Иерусалиме из-за Него, и теперь меня не хотят оставить в покое и здесь, среди нищих. Почему не хотите вы мне верить, когда я говорю, что никогда не видел Его?

Фаустина отвернулась и пожала плечами.

— Поедем дальше, — сказала она, — этот человек безумный, от него мы ничего не добьемся.

И они продолжали взбираться на гору. Фаустина была уже в двух шагах от городских ворот, когда иудейка, желавшая помочь им найти Пророка, крикнула старухе, чтобы она придержала коня. Фаустина остановилась и увидела, что прямо у ног лошади на земле лежит человек; он распростерся в пыли дороги как раз там, где была страшная толчея, и надо было считать чудом, что его еще не раздавили животные и люди.

Человек лежал на земле с устремленным вперед потухшим, ничего не видящим взором. Он почти не двигался, когда верблюды ступали подле него своими тяжелыми ногами. Одет он был бедно и к тому же перепачкался в дорожной пыли и грязи, но как будто не замечал этого. Более того, медленными движениями он осыпал себя песком, так что казалось, будто он хочет от кого-то спрятаться или закопаться.

— Что это значит? Почему этот странный человек лежит на дороге?

В это время лежавший с горьким отчаянием начал окликать путешественников:

— Братия и сестры, будьте милостивы, наступите на меня вместе с вашими вьючными животными и лошадьми! Растопчите меня в пыль! Я предал Невинную Кровь!

Сульпиций взял лошадь Фаустины за повод и отвел ее в сторону.

— Это кающийся грешник, — сказал он, — не задерживайся из-за него. Это люди особенные, не обращай на него внимания.

Человек же на дороге продолжал кричать:

— Ступайте ногами на сердце мое... Пусть верблюд проломит мне грудь, а осел выдавит

копытами мои глаза!

Но Фаустина не в силах была пройти мимо несчастного, не попытавшись заглянуть в его глаза; она все еще стояла около него.

Иудейка, которая уже раз хотела ей услужить, снова протиснулась к Фаустине:

— И этот человек принадлежит к ученикам Пророка, — сказала она. — Хочешь ли, чтобы я спросила его об Учителе?

Фаустина утвердительно кивнула головой, и женщина наклонилась над лежащим.

— Что сделали вы, галилеяне, с вашим Учителем сегодня? Я вижу вас рассеянными по всем дорогам и тропинкам, а Его не вижу нигде.

Когда женщина произнесла эти слова, лежащий привстал на колени.

— Какой злой дух внушил тебе спрашивать меня о Нем? — спросил он голосом, полным отчаяния. — Ты видишь, что я бросился на землю, чтобы быть растоптанным? Разве этого мало тебе? Зачем же ты приходишь еще спрашивать меня, что сделал я с Нем?

— Не понимаю, в чем упрекаешь ты меня? — ответила женщина. — Я хотела только узнать, где твой Учитель.

При повторении этого вопроса галилеянин вскочил и заткнул уши пальцами.

— Горе тебе, что не даешь мне спокойно умереть! — крикнул он.

Он кинулся сквозь толпу, теснившуюся перед воротами, и побежал, рыдая от отчаяния и размахивая отрепьями своей одежды, как черными крыльями.

— Мне кажется, — сказала Фаустина, что мы пришли к безумному народу.

Вид учеников Пророка привел ее в отчаяние.

— Разве сможет Человек, за Которым следуют такие безумцы, сделать что-нибудь для императора? — произнесла она.

Еврейка имела очень опечаленный вид и весьма серьезно сказала Фаустине:

— Госпожа, не медли отыскать Того, Кого ты хочешь видеть. Я боюсь, не случилось ли с Нем чего-нибудь дурного, раз все Его ученики как будто лишились разума и не могут вынести ни одного вопроса о Нем.

Фаустина и ее свита миновали наконец ворота города и вступили в узкие, темные улицы, кишевшие людьми. Казалось почти невозможным пройти через город. Шаг за шагом верховые должны были останавливаться. Напрасно рабы-солдаты пытались очистить дорогу. Люди не переставали то и дело собираться в густые, непрерывные стихийные потоки. Толпа заполонила все свободные островки улиц и переулков.

— Да, широкие улицы Рима — это тихие парки в сравнении с этими улочками, — сказала Фаустина.

Сульпиций вскоре убедился, что дальше их ожидают еще более непреодолимые препятствия.

— В этих переполненных улицах, пожалуй, легче идти пешком, чем ехать, — сказал он, обращаясь к Фаустине. — Если ты не слишком устала, я бы советовал тебе дойти пешком до дворца наместника[13]. Правда, это далеко отсюда, но на лошади ты едва ли доберешься раньше полуночи.

Фаустина тотчас согласилась на это предложение. Она сошла с коня и отдала его на попечение рабу. Затем они продолжали путь по городу пешком и довольно скоро добрались до центра Иерусалима. Сульпиций указал на тянущуюся прямо перед ними узкую улицу, в которую они должны были сейчас вступить.

— Видишь, Фаустина, — сказал он, — когда мы доберемся до этой улицы, то уже недалеко будем от нашей цели. Улица ведет прямо ко дворцу наместника.

Но тут они встретили неожиданное препятствие, задержавшее надолго их путь. Едва Фаустина и ее свита достигли улицы, тянувшейся ко дворам наместника, к «Вратам справедливости»[14] и на Голгофу[15], дорогу им преградило скорбное шествие с преступниками, приговоренными к распятию на крестах.

Впереди римских легионеров, ведущих осужденных на казнь, бесновались кучки молодых дикарей, спешивших насладиться зрелищем казни. Хищно кружились они на улице, потрясая и наполняя ее диким ревом, в восторге, что удастся поглазеть на нечто такое, что случается видеть не каждый день.

За осужденными шли толпы людей в длинных одеждах, которые, по-видимому, принадлежали к самым знатным лицам в городе. Позади них скорбно брели женщины в черных покрывалах, среди которых большинство было с заплаканными лицами. Сзади примыкали нищие и калеки, издававшие дикие и оглушительные вопли.

— О, Господи, — кричали они, — спаси Его, пошли Ему Твоего Ангела в эти последние минуты!

Наконец, показалось несколько римских солдат на больших лошадях. Они следили за тем, чтобы никто не осмелился приблизиться к главному Осужденному и попытаться освободить Его. Вслед за солдатами шли палачи, которые должны были вести Человека, приговоренного к распятию. Они взвалили Ему на плечи большой, тяжелый деревянный крест. Несчастный был слишком слаб для этой ноши. Изнемогая под тяжестью креста, Он почти всем телом пригнулся к земле, а голову склонил так низко, что никто не мог видеть Его лица.

Фаустина стояла на углу маленького поперечного переулочка и смотрела на мучительное шествие приговоренного к смерти.

С удивлением заметила она, что на Нем был пурпурный плащ, а на голову надвинут был терновый венец.

— Кто Этот Человек? — спросила она.

Кто-то из толпившихся тут сказал:

— Это Тот, Который хотел стать царем.

— Тогда по еврейским законам Он должен претерпеть смерть... — грустно сказала Фаустина.

Осужденный спотыкался под тяжестью креста. Все медленнее продвигался Он вперед. Палачи обвили Его тело веревками и теперь начали тянуть за них, чтобы заставить Его идти скорее.

Но, когда они натянули веревки, Осужденный упал и остался лежать, придавленный сверху крестом. Тут в толпе произошло большое смятение, римляне-всадники с большим трудом сдерживали народ. Они мечами загородили дорогу нескольким женщинам, спешившим помочь упавшему. Палачи пытались ударами и пинками заставить подняться Страдальца. Но тяжесть навалившегося креста не позволяла Ему встать. Наконец палачи сами сняли с Него крест. Тогда Он поднял голову, и тут только старая Фаустина смогла разглядеть Его лицо. На щеках Его горели красно-багровые пятна от ударов, а со лба, израненного тернием венка, струились капли Крови. Волосы сбились в беспорядочные пряди, слипшиеся от пота и Крови. Рот был крепко сомкнут, губы дрожали, как бы борясь с готовым вырваться из запекшихся уст криком. Глаза, полные страдания, остановились и почти потухли от невыносимой боли и изнеможения. Но за устрашающим видом Этого полумертвого Человека старухе представилось, как бы в видении, прекрасное, утонченное лицо с дивными, благородными чертами, освященное величаво-проникновенным взором царственных очей, — и все существо Фаустины внезапно охватили глубокая скорбь и проникновенное сочувствие к мукам и унижениям Этого совершенно чужого ей Человека.

— О Ты, несчастный, что они сделали с Тобой?.. — воскликнула она и рванулась к Иисусу в порыве невыразимого сострадания. Глаза ее наполнились слезами, она забыла о своих собственных заботах и печалях при виде страданий Этого замученного Человека. Ей казалось, что сердце ее разорвется на части; подобно другим женщинам, она готова была поспешить выхватить Его из рук негодяев.

Осужденный видел, что она бежит к Нему, и подался всем немощным телом ей навстречу. Казалось, Он хотел найти у нее защиту от мучителей, которые преследовали и истязали Его. На какой-то миг, как дитя, которое ищет пристанища около матери, Он приклонил к ней Свою голову. Слезы полились из глаз старой кормилицы, и она вдруг почувствовала блаженную радость оттого, что Приговоренный нашел у нее сострадание. Она наклонилась к Нему и как мать, которая раньше других осушает слезы на глазах своего дитяти, приложила к Его лицу свой платок из холодящего тонкого полотна, чтобы стереть с Его Божественного Лица слезы, пот и Кровь...

Но в это мгновение палачи наконец подняли крест. Они подошли к Назарянину и поволокли Его за собой. Обозленные промедлением, они со зверской грубостью тащили Страдальца по земле. Он застонал, но не оказал никакого сопротивления. Фаустина же обхватила Его, чтобы удержать, и, когда ее слабые, старые руки оказались бессильны что-либо сделать, ей показалось, будто у нее отняли ее собственное дитя... И она закричала:

— Нет, не берите Его... Он не должен умереть... Не должен!..

Она почувствовала вдруг нестерпимую сердечную боль и праведный гнев оттого, что солдаты грубо оттолкнули Его от нее и снова потащили ко кресту. Его увели, она же беспомощно протягивала вслед Ему руки. Фаустина хотела броситься вслед палачам и отнять Его. Но едва она сделала шаг, как почувствовала головокружение и стала медленно оседать вниз. Сульпиций поспешил обнять и поддержать ее, чтобы предупредить падение. На одной стороне улицы он увидел маленькую темную лавчонку и внес туда Фаустину на руках. Там не было ни стула, ни скамейки, но купец был сострадательным человеком, он достал подстилку и приготовил Фаустине ложе на каменном полу. Она не потеряла сознание, но головокружение ее было так сильно, что она не в силах была держаться на ногах и должна была лечь.

— Эта женщина проделала сегодня длинное путешествие, и шум и толкотня в городе оказались ей не под силу, — сказал Сульпиций купцу. — Она очень стара, никто не бывает настолько крепок, чтобы старость наконец не одолела его.

— Да и для того, кто даже не особенно стар, сегодня тяжкий день, — ответил, вздохнув, купец.
— Воздух так удушлив, что нечем дышать в городе. Я не удивлюсь, если разразится гроза.

Сульпиций склонился над старухой и прислушался к ее дыханию; она, казалось, успокоилась и заснула после утомления и перенесенных волнений. Слуга отошел к двери и оттуда наблюдал далее за движением уличной толпы, ожидая пробуждения Фаустины.

* * *

Римский наместник в Иерусалиме имел молодую жену, и накануне того дня, когда Фаустина пришла в Иерусалим, она ночью видела необыкновенный сон.

Снилось ей, что стоит она на крыше своего дома и смотрит на большой красивый двор, который, по восточному обычаю, выложен мрамором и обсажен благородными растениями.

И видится ей, что на дворе мелькают какие-то безумные люди — чумные с распухшими телами, прокаженные с изъеденными лицами, параличные, со всего света, которые не могут двинуться и лежат беспомощно на земле, а также — бесконечная вереница других несчастных, пораженных страшными страданиями и болезнями. Все они стремятся ко входу во дворец, а некоторые из близко стоящих резкими ударами стучатся в двери. Наконец она увидела, что раб открыл дверь и вышел на порог, и слышала, как он спросил, чего они хотят.

Они ответили:

— Мы ищем Великого Пророка, посланного Господом на землю. Где Пророк из Назарета, где Тот, Который может избавить нас от наших мучений?

Тогда раб ответил равнодушно-презрительным тоном, как это делают барские слуги, прогоняя бедных просителей:

— Вы напрасно будете искать своего Пророка. Пилат умертвил Его.

Тогда между больными поднялись такой плач, рыдания и скрежет зубов, что молодая женщина не в силах была слышать это. Сердце ее разрывалось от страдания, и слезы лились из ее глаз. От этих рыданий она проснулась.

Она снова задремала, и снова ей приснилось, что она на крыше своего дома и глядит оттуда на двор, огромный, как базарная площадь.

И снова видела она: двор наполнился людьми, которые лишились рассудка, безумствовали и одержимы были злыми духами. И видела таких, которые разделись догола; и таких, которые запутались в свои длинные волосы; и таких, которые сплели себе короны из соломы и мантии из зелени и считали себя царями; и таких, которые ползали на полу и считали себя зверями; и таких, которые неудержимо плакали от горя, которого она не могла даже назвать. Еще таких, которые таскали тяжелые камни, принимая их за золотые слитки, и таких, которые думали, что устами их говорят бесы. Она видела, как все эти люди теснились к воротам дворца, и передние стучали и шумели, требуя, чтобы всех их впустили.

Наконец дверь раскрылась и раб вышел на порог и спросил, что им нужно.

Тогда они все начали шуметь и говорить:

— Где Великий Пророк из Назарета? Тот, Который послан Богом и должен вернуть нам наши

души и наш разум?

Она слышала, как раб равнодушно ответил:

— Поздно спохватились вы спрашивать о Великом Пророке — Пилат умертвил Его.

При этих словах все безумные завопили, как дикие звери, и в отчаянии стали рвать на себе тело, и кровь их стекала на мрамор. И женщина, видевшая во сне их безутешное горе, начала ломать свои руки и рыдать. Но собственные рыдания разбудили ее.

Снова она заснула и опять увидела себя на крыше своего дома. Вокруг нее сидели ее рабыни, игравшие на лютнях[16] и кимвалах[17]; миндальные деревья склонили над нею свои ветви, обвитые благоухавшими ползучими розами.

Сидя так, она услышала чей-то голос, сказавший:

— Подойди к ограде, окружающей крышу, и погляди на твой двор.

Но во сне она отказалась, говоря:

— Я не хочу никого больше видеть из тех, которые сегодня ночью толпились на моем дворе.

В то же время донеслись до нее оттуда звяканье цепей, удары тяжелых молотов и стук дерева о дерево. Рабыни перестали петь и играть, подбежали к ограде и стали глядеть вниз, и она не могла далее оставаться на своем месте и также пошла поглядеть. И вот увидела она, что ее дом наполнился заключенными со всего света: собрались сюда люди, сидевшие до того в тяжелых тюремных подвалах, закованные в тяжелые железные цепи. К ним подходили другие, работавшие в темных шахтах и тащившие за собой тяжелые молоты; гребцы с военных судов явились сюда со своими большими, окованными в железо веслами. Пришли осужденные на распятие и притащили с собой свои кресты, а осужденные на обезглавливание пришли с топорами и плакали. Рабы, пленники, увезенные из дальних стран, смотрели на молодую женщину глазами, горевшими тоской о родине. Это были несчастные, которых принуждали работать как вьючных животных, а спины их были исполосованы кровавыми следами от ударов бичей.

Все эти несчастные ломались в двери, издавая вопли, как бы исходившие из одной огромной груди:

— Отвори! Отвори!

Тогда раб, охранявший вход, вышел за двери и спросил:

— Что вам нужно?

И, подобно другим, они ответили:

— Мы ищем Великого Пророка из Назарета, сошедшего на землю, чтобы дать свободу заключенным и счастье рабам.

Но раб ответил им усталым и равнодушным тоном:

— Вам Его здесь не найти... Пилат умертвил Его!

И, едва эти слова коснулись слуха несчастных, толпившихся во дворе, они ответили на них

таким взрывом отчаяния и озлобления, что женщина даже во сне могла слышать, как задрожали земля и небо. Сама она онемела от ужаса и так затряслась всем телом, что проснулась.

Придя в себя, она села в постели и подумала: «Не хочу больше видеть снов. Теперь я буду бодрствовать всю ночь, чтобы не видеть больше таких ужасов».

Едва успела она это подумать, как сон снова одолел ее. Она склонила голову на подушки и заснула.

Снова увидела она себя на крыше своего дома, а маленький сын ее бегал тут же и играл мячом.

Но вот невидимый голос сказал ей: «Подойди к ограде, окружающей твою крышу, и погляди, что это за люди собрались на твоём дворе и чего они ждут?».

Она во сне сказала себе: «Довольно горя видела я в эту ночь. Большого я не могу вынести. Я хочу остаться здесь, на своём месте». Но тут мальчик бросил свой мяч через ограду и полез было достать его. Мать испугалась, побежала за ребенком и схватила его.

Но при этом она взглянула вниз и увидела, что двор полон людей. Там собрались теперь со всего света раненые на войне. Они пришли сюда с искалеченными телами, с отрубленными руками или ногами, с большими открытыми ранами, из которых струилась кровь, так что мраморный помост двора был залит ею. И рядом с ними теснились все потерявшие на полях битв своих любимых и близких. Тут были сироты, оплакивавшие своих покровителей, молодые женщины, звавшие любимых мужей, и старики, плакавшие по своим сыновьям. Ближайшие теснились к двери, и страж, как и раньше, пришел и открыл ее. Он спросил всю эту толпу несчастных и искалеченных в разных войнах людей, потерявших родных и друзей:

— Чего ищете вы в этом доме?

И они ответили:

— Мы ищем Великого Пророка из Назарета, Который уничтожит войны и распри на земле и принесет вечный мир. Мы ищем Того, Который перекует копьё в косы, а мечи в серпы!

Тогда раб нетерпеливо ответил:

— Не приходите больше мучить меня, ведь я уже несколько раз говорил вам, что здесь нет Великого Пророка, Пилат умертвил Его!

Затем он запер дверь. А молодой женщине представился теперь во сне весь ужас, который вызовут эти слова у собравшихся.

— Я не хочу этого слышать, — сказала она и отбежала от ограды. В это время она проснулась и увидела, что в страхе соскочила с постели и стоит теперь на холодном каменном полу. И снова она подумала, что не хочет больше видеть сны и постарается не засыпать. Однако по-прежнему сон одолел ее, глаза закрылись, и она задремала.

Еще раз она увидела себя сидящей на крыше дома, а рядом с собой своего мужа. И она рассказывала ему обо всех своих снах, а он высмеивал ее.

Тогда снова услышала она голос:

— Иди и погляди на людей, ожидающих на дворе.

Но она подумала: «Я не хочу больше глядеть туда, достаточно несчастных прошло сегодня перед моими глазами». В это время она услышала три резких удара в дверь. Муж ее тоже подошел, чтобы поглядеть, кто это хочет войти.

Но едва он перегнулся через ограду, как тотчас же знаком позвал к себе жену.

— Может быть, ты разглядишь, что это за человек там, у входа? — спросил он и указал ей на дверь.

Взглянув туда, она увидела, что весь двор наполнился всадниками и лошадьми, а рабы разгружали вьючных ослов и верблюдов. У входной же двери стоял незнакомец — старик высокого роста, широкоплечий, с мрачным, печальным лицом, с виду знатный путешественник. Жена наместника тотчас же узнала его и шепнула своему мужу:

— Это Цезарь Тиверий, прибывший в Иерусалим.

— Это не может быть никто иной, и мне кажется, я его узнаю, — сказал ей муж.

Знаком он велел ей молчать и прислушаться к тому, что говорят во дворе; оба они видели, что привратник вышел и спросил старика: «Кого ты ищешь?».

И тот ответил:

— Я ищу Великого Пророка из Назарета, Которого Бог одарил чудесной силой. Скажите, что император Тиверий зовет Его, чтобы Он исцелил его от ужасной болезни, от которой никакой врач помочь не может.

Раб низко склонился и сказал:

— Господин, не гневайся, но твое желание не может быть исполнено.

Тогда император обернулся к рабам, ожидавшим на дворе, и сделал им знак. Рабы поспешили к нему. У одних руки были полны драгоценных камней, другие несли чаши с жемчугом, а некоторые тащили мешки, полные золота. И сказал император рабу, охранявшему двор:

— Все это будет принадлежать Ему, если Он поможет мне. Этим Он может обогатить бедных всего мира.



Но привратник еще ниже поклонился и сказал:

— Господин, не гневайся на своего слугу, но желание твое не может быть исполнено.

Тогда император вторично дал знак рабам, и двое из них поспешили к нему с богато затканым одеянием, на котором сверкал нагрудник, весь в драгоценных камнях. Император сказал рабу:

— Видишь то, что я Ему предлагаю, всю власть над Иудеей? Он будет вершителем судеб Своего народа, пусть только исцелит меня.

Но раб склонился теперь до самой земли и сказал:

— Господин, не в моей власти тебе помочь.

Тогда император в третий раз дал знак рабам, и те принесли золотой обруч и пурпурную мантию.

— Слушай, — сказал он, — передай Ему, что такова воля императора: он благоволит назначить Его своим наследником и отдать Ему владычество над миром. Он получит силу управлять вселенной, согласно закону Своего Бога. Пусть Он только протянет руку и исцелит меня.

Тут раб бросился на землю к ногам императора и жалобно простонал:

— Господин, не в моей власти исполнить твою волю. Тот, Которого ты ищешь, не существует больше. Пилат умертвил Его.

* * *

Когда молодая женщина проснулась, был уже светлый день и рабыни стояли тут и ждали приказа помочь своей госпоже при одевании.

Она была очень молчалива, пока ее одевали, но наконец спросила рабыню, причесывавшую ее:

— Встал ли муж?

И узнала, что его уже позвали в суд, чтобы разбирать дело какого-то преступника.

— Я хотела бы поговорить с мужем, — сказала она.

— Госпожа, — ответила рабыня, — это трудно сделать во время разбора дела. Мы дадим тебе знать, как только дело кончится.

Молча сидела она, пока ее одевали. Затем спросила, не слышал ли кто из рабынь каких-нибудь разговоров о Пророке из Назарета.

— Пророк из Назарета — это иудейский Чудотворец, — тотчас ответила одна из рабынь.

— Удивительно, что ты, госпожа, как раз сегодня спрашиваешь о Нем, — сказала другая рабыня. — Его-то именно и привели сюда иудеи, чтобы наместник допросил Его.

Молодая женщина приказала тотчас же пойти и справиться, в чем обвиняют Пророка, и одна из рабынь отправилась туда. Вернувшись, она сказала:

— Они обвиняют Его в том, что Он хотел объявить Себя царем этой страны, и люди взывают к наместнику, чтобы он приказал распять Этого Человека.

Услыхав это, жена наместника испугалась и неуверенно признала:

— Но я должна говорить с моим мужем! Иначе совершится неслыханное несчастье!

Когда рабыня снова повторила, что это невозможно, женщина стала дрожать и плакать, а

другая рабыня, тронутая этим, сказала:

— Госпожа, если ты хочешь послать к наместнику записку, то я попытаюсь передать ее.

Жена наместника тотчас взяла палочку и написала несколько слов на восковой табличке, и это было передано Пилату. Но его самого женщина целый день не могла увидеть наедине, потому что, когда он отпустил евреев и они повели осужденного на место казни, настал час обеда и Пилат пригласил к себе нескольких римлян, бывших в это время в Иерусалиме.

Тут были начальники войск, молодой учитель ораторского искусства и еще другие. Обед проходил не особенно весело. Жена наместника сидела все время подавленная, не принимая никакого участия в разговоре.

Когда гости спросили, не больна ли она или чем опечалена, наместник, смеясь, рассказал о записке, которую она прислала к нему утром, и стал подшучивать над тем, как могла она подумать, что наместник римского императора может руководствоваться в своих поступках сновидениями жены.

Она ответила тихо и печально:

— Я убеждена, что это был не сон, а откровение богов. Ты мог бы, во всяком случае, сохранить жизнь Этому Человеку хотя бы на сегодня, отсрочив казнь еще на один день!

Все видели, что она серьезно опечалена, и, как ни старались гости интересной беседой заставить ее забыть ночные сновидения, она не поддавалась утешениям.

Через некоторое время один из гостей в сильном волнении произнес:

— Что это значит? Неужели мы так засиделись за столом, что день уже клонится к концу?

Гости оглянулись и заметили, что какой-то легкий мрак накрыл все вокруг. Более всего бросилось в глаза то, что яркая игра красок на предметах и живых существах почти поблекла, так что все казалось однотонно-серым. Подобно предметам, и лица сидевших здесь потеряли свои краски.

— Смотрите, мы выглядим как мертвецы! — с ужасом воскликнул молодой оратор. — Щеки наши серы, а губы почернели.

По мере того как темнота усиливалась, тоска молодой женщины все увеличивалась.

— Ах, друг мой, — воскликнула она, — неужели ты и теперь еще не веришь, что бессмертные хотят предостеречь тебя? Они гневаются на то, что ты приговорил к смерти святого и невинного Человека. Я думаю, что если Он уже и пригвожден теперь ко кресту, то не успел еще испустить дух. Вели же снять Его со креста! Я хочу своими руками излечить Его раны! Уступи мне, верни Ему жизнь!

Но Пилат, смеясь, ответил:

— Ты, конечно, права, что видишь в этом предзнаменование богов. Но они не отнимут у солнца сияния из-за того, что иудейский лжеучитель осужден на распятие. Скоро мы можем ожидать важных событий, касающихся всей империи. Кто может знать, когда старый Тиверий...

Пилат не окончил фразу, потому что наступила такая тьма, что он перестал видеть свой бокал.

Он прервал свою речь, чтобы приказать рабам принести несколько ламп. Когда стало настолько светло, что он мог разглядеть лица своих гостей, он не мог не заметить дурного настроения, овладевшего ими.

— Видишь, — сказал он несколько подавленным тоном жене, — тебе, видно, удалось омрачить наконец своими словами удовольствие трапезы. Но если для тебя действительно невозможно сегодня думать ни о чем другом, то расскажи лучше нам, что видела ты во сне. Мы послушаем и попытаемся истолковать твои сновидения.

Молодая женщина тотчас согласилась. Пока она передавала одно за другим свои сновидения, гости становились все серьезнее. Они перестали осушать бокалы, и лица их вытянулись. Единственным, кто все еще смеялся и все это называл глупостями, был сам наместник.

По окончании рассказа молодой оратор сказал:

— Да, это больше, чем сон, так как сам я хотя и не видел сегодня императора, зато видел, как в город въезжала старая жена его, Фаустина. Меня только удивляет, что она еще не появилась во дворце наместника.

— Действительно, ходят слухи, что наш император поражен болезнью, — прибавил военачальник, — и мне кажется, что сон твоей жены есть предзнаменование богов.

— Нет ничего невероятного в том, что Тиверий прислал кого-нибудь за Пророком, чтобы поискать у Него помощи, — согласился молодой оратор.

Военачальник очень серьезно сказал Пилату:

— Если императору действительно вздумается пригласить к себе Этого чудотворца, то, конечно, лучше бы было для тебя и всех нас, если бы он застал Его в живых.

Пилат уже полугневно ответил:

— Уж не превратила ли вас темнота в детей? Можно подумать, что все вы превратились в снотолкователей и пророков.

Но военачальник не переставал волноваться:

— Быть может, еще возможно было бы спасти Этому Человеку жизнь, если бы спешно послать гонца.

— Вы хотите сделать меня посмешищем в глазах населения, — ответил Пилат. — Подумайте сами, каковы бы стали порядки и законность в стране, если бы узнали, что наместник помиловал преступника, потому что его жена видела дурной сон.

— Но то, что я видел Фаустину в Иерусалиме, это действительно не сон, — сказал молодой оратор.

— Я беру на себя ответ перед императором за мой поступок, — сказал Пилат. — Он поймет, что Этот Мечтатель, беспрекословно позволивший моим рабам мучить Себя, не имел бы силы помочь ему.

В тот момент, когда эти слова были сказаны, весь дом задрожал вдруг от непонятного рева, прозвучавшего как раскат грома, и почувствовалось колебание земли. Дворец наместника

остался невредимым, но тотчас после подземного удара донесся со всех сторон наводящий ужас грохот разрушающихся домов и падающих колонн.

Выждав время, когда стало возможным расслышать человеческий голос, наместник подозвал раба:

— Поспеши к месту казни и передай мой приказ — снять с креста Пророка из Назарета!

Раб поспешно удалился. Застольное общество перешло из столовой в перистиль [\[18\]](#), чтобы быть под открытым небом на случай повторения землетрясения.

В ожидании возвращения раба никто не решался что-нибудь сказать. Раб вскоре вернулся и остановился перед наместником.

— Застал ли ты Его в живых? — спросил наместник.

— Господин, Он умер, и в тот момент, когда Он испустил дух, произошло землетрясение.

В эту минуту послышались два резких удара в наружную дверь. При этих ударах все вздрогнули и повскакивали с мест, как будто земля снова затряслась. Вслед за тем вошел раб:

— Благородная Фаустина и Сульпиций, приближенные императора, желают видеть наместника. Они прибыли просить его содействия, чтобы найти Пророка из Назарета.

В перистиле раздались едва уловимые вздохи и послышалось какое-то прешептывание... Когда наместник оглянулся, то заметил, что друзья отшатнулись от него, как от человека, с которым случилось несчастье.

* * *

Старая Фаустина снова прибыла в Капри и явилась к императору. Она рассказывала ему обо всем случившемся и, пока говорила, едва нашла в себе силы взглянуть на Тиверия. За время ее отсутствия болезнь сделала страшные шаги вперед, и Фаустина подумала: «Если бы боги имели сострадание, они дали бы умереть мне раньше, чем придется сказать этому несчастному, исстрадавшемуся человеку, что всякая надежда потеряна!».

Но, к ее удивлению, Тиверий слушал рассказ с полным равнодушием. Когда она рассказала ему, что Великий Чудотворец распят был в тот же день, когда она прибыла в Иерусалим, и как близка была она к Спасителю его, то заплакала, подавленная тяжестью испытанного разочарования. Но Тиверий сказал ей:

— Ах, как жаль, что все годы, прожитые тобой в Риме, не отняли в тебе веры в волшебников и чудотворцев, которую ты приобрела еще в детстве в Сабинских горах.

Тогда Фаустина увидела, что Тиверий и не ждал серьезно помощи от Назаретского Пророка.

— Зачем же ты позволил мне совершить путешествие в далекую страну, если ты считал это бесполезным?

— Ты — единственный друг мой, — сказал Тиверий, — зачем было мне отказывать в твоей просьбе, пока еще в моей власти исполнить ее?

Но кормилица не хотела соглашаться с тем, что император мог угождать ей.

— Опять твоя старая хитрость! — с горечью сказала она. — Это то, что я всегда могла меньше всего выносить в тебе.

— Лучше было бы тебе не возвращаться ко мне, — сказал Тиверий, — ты должна была бы остаться в родных горах.

Одну минуту казалось, что эти два человека, так часто ссорившиеся, опять наговорят друг другу резких слов, но гнев старухи быстро исчез. Миновали времена, когда она серьезно отстаивала свои мнения перед императором. Она снова понизила голос. Но все же она не могла отказаться вовсе от желания быть правой.

— Но Этот Человек действительно был Пророк, — сказала она. — Я видела Его. Когда глаза Его встретились с моими, я подумала, что Это — истинный Бог... Я обезумела от того, что не могла помешать казни над Ним.

— Я рад, что ты дала Ему умереть, — сказал Тиверий. — Он совершил преступление против императора и был бунтовщиком.

Фаустина опять готова была рассердиться.

— Я говорила со многими из Его друзей в Иерусалиме, — сказала она. — Он не совершил преступлений, которые на Него возводили.

— Если бы Он даже и не совершил этих преступлений, то и без этого, наверное, не был бы лучше всякого другого, — устало проговорил император. — Где тот человек, который в течение жизни тысячу раз не заслужил бы смерти?

Эти слова императора заставили Фаустину сделать нечто, на что она все еще не решалась.

— Я хочу показать тебе пример Его чудесной власти, — сказала она. — Я говорила тебе, что приложила к Его лицу мой платок. Это тот самый платок, который я теперь держу в руке. Не хочешь ли одну минуту взглянуть на него?

С этими словами она развернула свой платок перед императором, и он увидел на нем бледный отпечаток Божественного Лица... Голос старой Фаустины дрожал от волнения, когда она продолжала рассказ:

— Этот Человек видел, что душа моя затрепетала при встрече с Ним, Он понял, что сердце мое полно любви и сострадания к Нему и веры в Его Божественное происхождение. Я не знаю, какой силой сумел Он оставить мне Свое изображение, но глаза мои наполняются слезами каждый раз, как я вижу Его Лик...

Император наклонился и стал рассматривать чудесные очертания, которые, казалось, были сотканными из Крови, слез и черных теней страданий.

Постепенно перед глазами поверженного императора выступил весь Божественный Образ, как Он запечатлелся на платке. Тиверий видел капли Крови на лбу Незнакомца, колючий терновый венок на Его голове, волосы, слипшиеся от пота и Крови, и дрожащие от нестерпимых страданий губы. Измученные глаза Страдальца, казалось, с упреком смотрели на императора с платка Фаустины...

Тиверий откинулся на свое ложе и долго молча лежал так, а затем в неуправляемом порыве внезапно приподнялся и... встал на колени перед Изображением.

— Ты — Человек! — сказал он. — Ты — Тот, Кого я не надеялся увидеть в жизни...

И, указывая на себя самого, на свое обезображенное тело, на разъеденные язвами руки и ноги, прибавил:

— Я и все другие — мы дикие звери и изверги, а Ты — человек!

Тиверий так низко склонил голову перед Изображением, что коснулся земли.

— Смилуйся надо мной, о Ты, Неведомый! — слезы императора оросили каменный пол террасы.

— Если бы Ты остался в живых, один только Твой взгляд исцелил бы меня.

Бедная старуха на какое-то мгновение испугалась. «Что я сделала? Было бы умнее не показывать императору Святое Изображение», — думала она.

Фаустина с самого начала опасалась, что страдание и раскаяние Тиверия будут слишком велики, когда он увидит Этот Божественный Лик. В волнении она схватила платок с изображением Пророка, а когда император обернулся к ней, Фаустина с удивлением и страхом увидела, что черты его преобразились... он снова стал таким, каким был до болезни!

Конечно, болезнь императора не случайно вкоренилась в его организм; она питалась ненавистью и презрением к людям, наполнявшим сердце Тиверия, и должна была исчезнуть в то мгновение, когда в его сердце проникли любовь и сострадание.

На следующий день выздоровевший Тиверий послал с особым поручением трех вестников. Первый пошел в Рим и передал сенату приказ назначить следствие о том, как наместник в Палестине исполняет свои обязанности, и наказать его, если окажется, что он притесняет народ и присуждает к смерти невинных. Второй был послан к виноградарю и его жене, чтобы поблагодарить их за совет, данный императору, и наградить их, а также передать им обо всем происшедшем. Выслушав все до конца, они тихо заплакали и муж сказал:

— Я знаю, что до конца дней моих буду думать о том, что случилось бы, если бы оба они встретились.

Но жена ответила:

— Эта встреча была бы невозможной. Христос знал, что мир не в силах будет понять Его.

Третий вестник отправился в Палестину и привел на Капри несколько учеников Христа, и они начали проповедовать учение, которое Распятый на кресте принес с Собою в мир.

Когда же ученики прибыли на Капри, Фаустина лежала на смертном одре. Но они успели еще приобщить ее к верующим в Великого Пророка и окрестили ее. При крещении она получила имя Вероники, что значит — «Истинное изображение», потому что ей и суждено было принести людям истинное изображение Спасителя.

Жена Пилата Клавдия Прокула стала христианкой. Память ее 27 октября.



Альбин

Повесть из первых времен христианства

1

В Риме в царствование императора Марка Аврелия[19] было сильное гонение на христиан и между язычниками распространялись страшно нелепые, выдуманные жрецами ужасы о новом учении «секты» христиан, которые особенно рассказывались детям, внушая им страх и отвращение к новому учению об истинном Боге.

В одной из языческих школ под руководством учителя Назидиена произошел нижеописанный случай.

Дети наперебой рассказывали друг другу ужасные новости о непонятном для них новом учении христиан и с отвращением отзывались об этих «жестоких» людях. Среди учеников был сын христианина по имени Люций. Он не смог дальше слушать эти нелепые рассказы и стал открыто возражать товарищам, защищая христиан. Нашлись такие, которые сообщили об этом своему учителю, называя Люция христианином.

Мальчик на вопрос учителя смело ответил:

— Да, я христианин.

Учитель приказал высечь его.

В этой же школе учился сын патриция Кассия Магнуса по имени Альбин. Он был лучшим другом Люция и поспешил на защиту своего друга, чем и избавил его от избиения. Он не понимал, что это за новое учение и что означает, что друг его — христианин, а во имя дружбы встал на защиту беззащитного. Когда Альбин возвращался с рабом Торанием из школы, он поспешил рассказать ему о случившемся в школе. Тораний был тоже тайный христианин и, видя, как его юный господин интересуется новым учением, предложил узнать об этом учении у христианского учителя.

— Но где же его взять? Я охотно побеседовал бы с ним, если бы предоставилась такая возможность, — сказал Альбин.

Тораний как-то загадочно посмотрел на Альбина. Мальчик задумчиво глядел вперед. В его взоре светилась какая-то неведомая грусть. Казалось, что его чуткая душа не удовлетворяется язычеством с его многочисленными богами, с кровавыми жертвами и стремится к более высокому и чистому учению.

— Я знаю, что христиане верят в одного Бога, — начал раб, когда они пошли по портику[20], каких было очень много в древнем Риме.

— В одного-о? — с удивлением протянул Альбин.

— Да, они говорят, что есть только один Бог — Творец неба и земли.

— А наши боги? А Юпитер[21]? А Юнона[22]? А Церера[23]?

— Христиане учат, что эти боги ложные и их даже на самом деле и нет.

— Удивительно! Ну, а далее?

— Далее, они верят в Сына Божия Иисуса Христа, Который для спасения людей пришел на землю, сделался человеком, проповедовал, претерпел страдания и смерть, а потом через три дня воскрес из мертвых. Пришел же Он на землю, по верованию христиан, для нашего спасения, чтобы Своим последователям дать вечное блаженство, вечное счастье.

— Какое поразительное учение! — невольно воскликнул Альбин.

— Да, господин, ты прав. Учение их поразительное. И вот за это-то и гонят христиан.

Альбин заставил Торания рассказать о его встрече с христианами и об их учении. Раб осторожно рассказал, что мог. Мальчик слушал внимательно, иногда задавая тот или иной вопрос. Потом они спустились с портика и пошли по улице.

— Тораний, ты вполне можешь положиться на мое молчание, — проговорил Альбин. — Ты, может быть, думаешь, что я передам наш разговор отцу, но не смущайся.

— О, господин! Я знаю, ты имеешь благородное сердце, — ответил раб.

— Не в том дело, Тораний. Ты очень верный раб и отлично знаешь, что я тебя люблю. Ведь ты меня носил еще на руках, играл со мной, когда я был маленький. Могу ли я быть тебе не благодарным? Но вот в чем дело: ты немедленно отправляйся к Люцию и извести его родителей об опасности. Я знаю, наш учитель Назидиен не оставит этого дела и, если не испугается, то заявит властям.

— Хорошо, господин.

В это время навстречу им шел старичок в простом плаще и с палкой в руках. Тораний незаметно от мальчика обменялся с ним какими-то знаками. Старичок осторожно кивнул ему головой, и они разошлись, а минуту спустя Альбин уже вбежал в прихожую своего дома.

2

— Отец, какое у нас сегодня произошло удивительное событие! — оживленно заговорил Альбин, входя к отцу в кабинет.

Отец мальчика, Кассий Магнус, был высокий, худощавый старик с выразительными, умными глазами. В прошлые годы в Риме он занимал ряд высших государственных должностей, а в данное время по болезни принужден был жить на покое. Все свободное время теперь он посвящал изучению греческой философии. Одна сторона его комнаты была заполнена небольшими квадратами с идущими вглубь них отверстиями, где хранились рукописи. Магнус с

не свойственной ему живостью обернулся к сыну:

— Что случилось?

— А вот слушай.

И Альбин рассказал о происшедшем. Магнус даже вскочил с ложа.

— Как! У Назидиена учился христианин? А он этого не видел, не мог узнать? Куда он смотрел? Где были его глаза! Неужели невозможно открыть христианина? Для этого ему стоило только заставить каждого поклониться изображению богов. Альбин, разумеется, ты больше к Назидиену не пойдешь. Я найду тебе другого учителя, более благонадежного. Но ты поступил опрометчиво.

— Почему?

— Да, да, ты сделал большую ошибку. Зачем ты защитил Люция?

— Он был мой друг.

— Соглашаюсь: он был твой лишь до этого момента, пока ты не знал, что он христианин, но, когда Люций объявил себя христианином, с той минуты он наш общий враг, который подлежит ссылке или казни. Понимаешь ты это?

— Отец, я не знаю, что это за люди, христиане. И я не знаю, за что их преследуют.

— Это враги государства, враги общества! Это изуверы, которые питаются кровью своих детей! — вскричал с негодованием Магнус.

— Неужели это правда?

— О, разумеется. Иначе их не стал бы преследовать наш мудрый император Марк Аврелий. И повторяю: ты сделал большую ошибку, защитив Люция.

— Я сделал это, отец, только лишь по дружбе. В школе я сидел рядом с Люцием уже два года. Он всегда был такой тихий, услужливый, ни с кем не ссорился. И вот поэтому-то я и выручил его. Да, наконец, как же мне было не вступить за него, когда на Люция напал почти весь класс? Разве это справедливо?

Магнус перебил сына:

— Вступить за беззащитного — хорошо, но не за христианина. Христиане вне закона, эта секта обречена на истребление. Будь же благоразумен, сын мой! Пока ты носишь буллу[24], ты еще мальчик, но скоро ты наденешь тогу[25] римского гражданина и от тебя потребуются отчет в твоих действиях. Иди, да хранят тебя боги!

Магнус немедленно позвал в свой дом Назидиена. Учитель понял, для чего его позвали, и не на шутку струсил: «Из-за этого негодяя, Люция, мне, кажется, предстоит много хлопот. О, да паразит его Плутон![26]».

Он, бледный, взволнованный, предстал пред разгневанным Магнусом.

— Что хочет от меня благородный патриций[27]? — спросил он Мангуса заискивающим

голосом.

— Я хочу отдать тебя, негодяй, в руки властей. В твоей школе оказался христианин!

— Только один, только один! — воскликнул испуганно Назидиен.

— Этого я не знаю, — невозмутимо ответил Магнус, — быть может, и половина класса — христиане. Ведь некоторые же вступились за Люция, значит, если они не христиане, то, во всяком случае, сочувствуют им. Я должен донести об этом событии властям.

Назидиен стоял убитый, напуганный.

— О, благородный патриций! Не губи меня. У меня свои дети. Во имя наших богов, будь ко мне снисходителен. Этого больше не повторится. Завтра же я всех заставлю принести жертвы богам. И клянусь тебе: буду, насколько возможно, осмотрительным. О, позор мне! Мог ли я подумать, что Люций — христианин! Он всегда был такой внимательный, скромный и вдруг — христианин. Твой сын, Альбин, недаром был с ним так дружен. О, если бы Альбин не защитил Люция, то, поверь, негодный христианин теперь бы уже сидел в темнице.

— Оставь моего сына в стороне! — резко ответил Магнус. — Он еще мальчик, ему естественно ошибаться и врага принимать за друга. Но что свойственно Альбину, то непозволительно тебе.

Назидиен опять начал причитать и умолять Магнуса, чтобы он не доводил этого дела до сведения властей:

— Во имя богов и всех твоих предков умоляю тебя, благородный патриций, будь ко мне снисходителен.

В конце концов Магнус махнул на него рукой:

— Иди и благодари богов, если я умолчу. Мой сын больше учиться у тебя, конечно, не будет. Сколько я тебе должен?

— О, стоит ли об этом говорить! Я счастлив, что сын такого благородного патриция, как ты, посещал мою школу.

— Я не нищий! — гордо заявил Магнус. — И не хочу пользоваться услугами бесплатно.

Магнус отдал учителю две тысячи сестерций[28]. Назидиен рассыпался в благодарностях, схватил кошелек с серебром и быстро исчез.

— От одного я отделался пока благополучно, — вслух проговорил он, выходя на улицу. — Хвала богам!

А Магнус, вернувшись в свой таблинум[29], долго ходил из угла в угол в глубокой думе: «Как, однако, распространяется христианство. Оно проникает всюду. Не помогли все предыдущие гонения; но будем надеяться, что наш мудрый император сумеет вырвать эту заразу с корнем. Да поможет ему в этом Юпитер!». И Магнус снова улегся на свое ложе, достав предварительно из шкафа пергаментный сверток[30] с учением Пифагора[31].

3

Дом Кассия Магнуса, расположенный у Эсквилинского[32] холма, был обширный и своей

архитектурой походил на прочие дома римской аристократии. Не выделяясь ничем особенным снаружи, если не считать мраморного портика с изящными колоннами, он внутри был отделан необыкновенно изящно, с тонким вкусом. Роскошь и богатство были видны на каждом шагу. Всякий посетитель из прихожей попадал сначала в атриум[33]. Это была большая, просторная комната, играющая роль нашей гостиной. Всюду в доме виднелись изделия из золота и серебра, бронзы и дорогих сортов деревьев.

У Альбина была своя комната, выходящая в перистиль. Рядом с ней было помещение для его сестры Домициллы, которая была на два года моложе его. Стройная, изящная, с необыкновенно красивыми глазами, вьющимися волосами, она обещала быть впоследствии настоящей красавицей.

Брат и сестра жили, как говорят, душа в душу. Дружба их началась с самых юных лет. Они вместе играли, вместе мечтали, читали произведения различных поэтов и писателей. Оба они были характера мягкого, общительного, что всегда радовало как самого Магнуса, так и их мать Агриппину. Всеми своими новостями, радостными и печальными, Альбин делился с сестрой. Так было и теперь. Выйдя от отца, он первым делом спросил подвернувшуюся рабыню:

— Где сестра?

— Я видела ее в саду, господин.

В перистиле он столкнулся с матерью.

— Альбин, обед уже готов. Иди в триклиний[34].

— Я сейчас приду. А Домицилла обедала?

Мать ответила с улыбкой:

— Разве Домицилла обедает без тебя? Идите вместе с ней и не медлите.

— Хорошо.

— Не заставляй посылать за тобой Торания! — крикнула она уже вслед сыну.

Альбин выбежал в небольшой, но красиво устроенный сад. Целые аллеи платанов, кипарисов, магнолий чередовались с фигурными клумбами, на которых цвели всевозможные цветы. Журчали фонтаны и ласково улыбались холодным мрамором нимфы. В укромных уголках среди зелени приютились беседки.

— Домицилла, где ты? — звонко крикнул Альбин.

— Я здесь, — отозвалась девочка, появляясь в одной из беседок.

— Я скажу тебе одну новость, и она очень удивит тебя.

— Что такое, скажи скорее!

Домицилла была одета в шерстяную розовую тунику, подпоясанную шелковым поясом. Девочка очень походила на брата, чем всегда и гордилась.

— Ты не поверишь тому, что я скажу.

— Отчего же, поверю.

Альбин с любовью посмотрел на сестру.

— Люций оказался христианином! — выпалил он.

Девочка даже всплеснула руками и сделала округлые глаза от удивления:

— Может ли это быть?

— Увы, это правда.

— Но как же ты узнал, откуда?

— А вот слушай, — и он рассказал ей все происшедшее в школе.

— И ты защитил его от избиения?

— Да, он мой друг, и я защитил его.

— Это хорошо. Пусть он и христианин, но ты поступил, как и следовало поступить римскому гражданину. Но мне жаль его. Он был такой хороший. Ведь его теперь убьют?

В глазах девочки блеснула тревога.

— Если схватят, то, несомненно, казнят, но я думаю, что он и его родные успеют скрыться. Я велел Торанию известить их.

— Ах, бедный Люций! И зачем он сделался христианином? А ведь говорят, что христиане кланяются ослиной голове и убивают маленьких детей. О, как ужасно!

Альбин задумчиво смотрел на клумбу с цветами.

— Да, ужасно, если это правда. Соглашаюсь с тобой. Но правда ли? Не лгут ли на них? Мог ли Люций убивать маленьких детей? Он такой хороший, добрый — и вдруг стал бы убивать? Что-то плохо верится. Но вот идет Маспеция. О христианах поговорим потом.

Подошедшая старая няня Маспеция, покачав головой, обратилась к ним:

— А об обеде и забыли? Ох, дети, дети! Идите скорее! Благородная госпожа гневается.

— Сейчас идем, няня!

Альбин с Домициллой направились в маленький триклиниум, предназначенный только для самих хозяев. Альбин бросился на ложе и с удовольствием потянулся.

— Ах, Домицилла, этот Назидиен сегодня положительно с ума сошел от злости. Половина класса ревела.

— Это все из-за Люция?

— Да. Отец хочет послать меня к другому учителю.

— Значит, ты больше к Назидиену не пойдешь? А мне все-таки жаль Люция: неужели его поймают и убьют?

Дети всякий раз умолкали, когда рабыня подавала новое кушанье. Закончив с обедом, они снова ушли в сад и забрались в глухую, уединенную беседку. Здесь они снова жалели Люция и оба заинтересованно размышляли о христианах и их учении.

— Вот наш император теперь гонит христиан, — говорил Альбин, — а быть может, они и хорошие люди, и вовсе не кланяются ослиной голове.

— Очень бы мне хотелось, Альбин, узнать, что это за народ — христиане.

— Тораний их немного знает.

— Как, где он их узнал? — заинтересовалась девочка.

Альбин рассказал, что слышал от раба.

— Это удивительно, — задумчиво ответила Домицилла, — а ведь о христианах говорят такие ужасы. Где же правда?

Альбин только развел руками:

— Остается только одно: узнать поподробнее у самого Люция. Но где теперь его увидишь? Вся надежда на Торания. Он все устроит.

4

Тораний, согласно желанию Альбина, быстро направился к дому Люция, который находился от них квартала через три. Отец Люция, Секст, был искусный башмачник. Ему помогали старший сын, Марк, и младший, Люций. Жена у него умерла несколько лет назад.

Тораний не застал дома ни Секста, ни его сыновей.

— Где же Секст? — спросил он у хозяина дома.

— Они перебрались на другую квартиру, взяв с собой все имущество.

— Но ты не знаешь, куда именно?

— Не знаю, но собирались они так, как будто солдаты хотели их арестовать. Но со мной они рассчитались добросовестно.

Хозяин знал Торания — раб был здесь несколько раз с Альбином, — а потому счел за нужное спросить:

— А как живет твой молодой господин?

— Прекрасно.

— Хвала богам, это прекрасный мальчик. Он, вероятно, скоро уже снимет буллу?

— Месяца через три.

— И, значит, будет гражданином Римской империи?..

Тораний был рад, что Секст с сыновьями скрылся так скоро, но в то же время его заботила

мысль: куда они скрылись и в благонадежное ли место?

Вероятно, хозяин прочел на лице Торания некоторую озабоченность и поэтому спросил:

— А тебе очень нужно было видеть Секста?

— Да, нужно, — ответил Тораний.

Простившись с хозяином, он ушел.

— Ну что, видел Люция? — взволнованно спросил Альбин Торания, когда тот вошел в сад.

— Нет. Люций с братом и отцом быстро собрались и ушли неизвестно куда.

— Значит, они скрылись и их теперь не поймают, — радостно проговорил Альбин.

— Думаю, что скрылись.

— И я очень рада, — сказала Домицилла. — Но нельзя ли, Тораний, как-нибудь узнать, где Люций? Я вовсе не хочу, чтобы их схватили и замучили.

В глазах раба сверкнуло какое-то восторженное, но не замеченное детьми выражение.

— А скажи мне, Тораний, — вдруг спросил Альбин, — ты веришь, что христиане поклоняются ослиной голове?

И Альбин так зорко посмотрел на раба, что тот невольно смутился.

— Если ты спрашиваешь меня об этом, то скажу тебе прямо: я не верю этому. Я знал нескольких таких хороших христиан, которые не способны были ни на какие преступления. Я уже тебе говорил, что в царствование императора Антонина[35] я познакомился случайно с христианами.

— И теперь у тебя есть знакомые христиане? — спросила Домицилла.

— Люций и его отец были христианами, — уклончиво ответил Тораний.

Альбин задумался.

— Как жаль, что я не могу увидеть Люция, — тихо заметил Альбин.

— А если я узнаю, где он живет, то сказать тебе?

— Непременно.

— Ты желал бы его увидеть? Очень? Но ведь он христианин, а христиан теперь гонят, — как-то загадочно произнес Тораний.

— А я разве не могу видетсья со своим другом? — горделиво вскричал Альбин.

— Но твой отец разгневется, и мало ли что может случиться? Меня могут сослать в рудники за то, что я устроил ваше свидание.

— Через три месяца я сниму буллу, надену тогу и тогда могу делать то, что хочу. Наконец,

можно устроить так, чтобы отец ничего не узнал. Итак, я хочу, чтобы ты узнал, где сейчас находится мой друг Люций.

— Исполню, что ты велишь, — послушно ответил раб и удалился.

Мать Альбина, Агриппина, также сильно встревожилась, когда узнала, что друг ее сына, Люций, оказался христианином. Но Магнус скоро ее успокоил, заверив, что Альбин больше не переступит порог школы Назидиена. Действительно, Магнус подыскал другого учителя, к которому и начал ходить Альбин опять в сопровождении своего Торания.

Альбин в тайнике своей души жалел Люция. Он как-то инстинктивно чувствовал своим неиспорченным сердцем, что Люций не может делать тех ужасов, какие приписывают христианам. Ему не хотелось верить тем рассказам о христианах, какие ходили в тогдашнем римском обществе. Особенно яростно нападала на христиан его тетка Комодилла — сестра матери. Узнав, что ее племянник Альбин дружил с христианином, она преисполнилась неописуемого негодования:

— Как, ты дружил с христианином?

— Но разве я виноват в том? — ответил Альбин.

— Ты должен был осмотрительно выбирать друзей.

— Я не мог ничего читать в его душе.

— О, боги! Какой позор! Да знаешь ли ты, что все христиане колдуны и способны лишь на одно зло?

Этот случай только наглядно показал Альбину, с какой ненавистью и озлоблением относятся его родные к последователям Христа.

5

Далеко за городом по Номентанской дороге^[36] под сенью оливковых деревьев приютился небольшой домик. Здесь жила родная сестра Секста со своею дочерью Лелией. Занималась она продажей яиц; для этой цели она разводила кур и время от времени вместе с дочерью ходила в Рим, чтобы сбыть свой товар. Здесь, в укромном уголке, и нашел Секст со своими сыновьями приют. Гиспанилла не была христианкой, но относилась к брату и племянникам с любовью и сама была не прочь принять христианство, но медлила. Однажды к ним пришел Тораний, без труда узнавший от христиан место пребывания Секста.

— Да будет благословен твой приход, Тораний, — приветствовал его Секст. — Что скажешь нам новенького? Как живет твой молодой господин?

— Слава Богу-Христу: здоровье моих господ хорошее. Но Альбин, видимо, скучает без тебя, Люций.

— Правда? — приятно изумился юноша.

— Совершенная правда.

— Ах, если бы он сделался христианином! — воскликнул Люций.

Отец положил ему руку на плечо и проникновенно ответил:

— Молись Господу о его обращении. И мы будем верить и надеяться, что Альбин просветится светом христианской веры.

— Как бы я был этому рад! Мы ведь были с ним так дружны.

— Мой молодой господин очень интересуется, где вы поселились.

— И ты не сказал, Тораний?

— Я все-таки опасаюсь открыть ему ваше убежище. Мало ли что может случиться. Как бы не навлечь на вас горя. Но я ему как-то рассказал о христианстве.

— Он интересовался?

— Конечно, он спрашивал меня уже несколько раз: справедливы ли те обвинения, которые возводят на христиан.

— И ты, конечно, постарался его разубедить? — спросил Люций.

— Разумеется. Я прямо сказал, что это клевета.

Секст на минуту задумался, потом решительно проговорил:

— Я вот о чем прошу тебя, Тораний. Приведи к нам Альбина.

Раб с изумлением взглянул на Секста:

— Но не опасно ли это?

Секст мягко улыбнулся:

— Возлюбленный мой брат во Христе! Чего же нам бояться? Мы должны считать за счастье пострадать за Христа. Не так ли? И потому нам бояться решительно нечего. Мы должны быть каждый день готовы к смерти. Но удастся ли нам обратить мальчика Альбина на правый путь? Я знаю, он мальчик умный и серьезный. Все в руках Божиих.

— Хорошо, Секст, я постараюсь исполнить твоё желание.

— А здесь мы познакомим его с христианством! — с жаром вскричал Люций.

— И будем верить, что Христос даст тебе нового брата, — ответил ему отец.

Тораний взялся за исполнение своей задачи издалека и осторожно. Он неоднократно заводил с Альбином разговор о христианстве. Он рассказал ему, как однажды присутствовал при допросе христиан:

— И удивительное дело, господин, как христиане безбоязненно исповедуют Христа.

— И не отрекаются?

— Нет. Даже дети и те не отрекаются. Они так твердо заявляют о своем исповедничестве Христа, что нужно изумляться их мужеству. Когда я был на допросе, то видел мальчика твоих лет.

— Не Люция ли?

— Нет, не Люция.

— Тораний, а может быть, Люций тоже убит? Ты ничего не слышал о нем?

Тораний на секунду замедлил с ответом, а затем быстро проговорил:

— Я его недавно встретил на улице.

— Встретил на улице? Почему же ты мне об этом не сказал? Почему молчал?

— Господин, но ведь Люций христианин. Я не мог говорить тебе о нем.

— Почему?

— Христиан гонят по приказу императора. Христиане считаются презренной сектой. Не навлек ли бы я твой гнев, господин?

Альбин взволнованно прошелся по комнате.

— Люций был моим другом, и я, естественно, могу интересоваться его судьбой! И, наконец, ты же говорил, что на христиан клеветают.

— Да, господин, и сейчас могу тебе сказать: на них возводятся самые ужасные, нелепые клеветы.

— Тораний, а может быть, ты и сам христианин? Говори прямо, не смущайся.

На лице Торания промелькнуло было испуг, но это было мимолетно, и он тихим, но твердым голосом ответил:

— Да, господин, я христианин.

Альбин невольно вздрогнул. Тораний это заметил и с мольбой в голосе заговорил:

— О, господин, не верь клеветам на христиан! Я безгранично счастлив теперь, что узнал Христа. Это наш Спаситель и Искупитель. Всем Своим верным последователям Он обещал вечное Небесное Царство.

На глазах раба заблестели слезинки. Он вдруг опустился на колени перед Альбином:

— Я умоляю тебя, господин мой, поверь мне: только в христианской вере истина и спасение!

Ошеломленный признанием Торания, Альбин не сразу нашелся, что сказать.

— Встань, Тораний! Этого мне не нужно. Встань; что скажут, если тебя увидят в таком виде? Но ты меня удивил. Значит, ты христианин, и давно?

— Да, давно. И я безмерно от этого счастлив. Теперь я готов идти на смерть, если ты меня предашь в руки судей или скажешь отцу.

— Успокойся, Тораний, я ничего не скажу отцу, и нет никакого смысла лишаться такого верного, преданного раба, каким являешься ты. А потому не бойся.

— Благодарю тебя, мой господин!

Альбин взволнованно забежал по комнате.

— Но тогда расскажи мне более подробно, что это за учение.

— О, как я рад это слышать от тебя, господин мой! Но прости меня, едва ли я могу вполне удовлетворить твое любопытство. Я человек простой и неученый. Вот Секст, отец Люция, мог бы рассказать тебе многое. А еще лучше, если ты повидаешься с нашим христианским пресвитером.

— С кем?

— С пресвитером. Так называются люди, которые учат нас и совершают богослужение.

Альбин на несколько минут задумался.

— Что же, я не прочь побеседовать с вашим учителем. Но скажи мне: ты знаешь, где живет Люций?

— Знаю. По Номентанской дороге. Отсюда не особенно далеко.

— Желал бы я увидеть его.

— Если хочешь, то это можно устроить.

— Хорошо. Мы с тобой завтра же отправимся к нему.

Тораний после некоторого колебания проговорил:

— Если ты намерен, господин, навестить Люция, то сделать это удобнее ночью.

— Почему?

— Днем идти опасно. Нас могут встретить знакомые. А ночью — иное дело. Мы сходим и вернемся незамеченными.

— А раб-привратник? Наше отсутствие пройдет ли незамеченным?

— Я все беру на себя. Я возьму одного верного раба- христианина, и ты будешь в безопасности.

— Хорошо, Тораний, полагаюсь на тебя.

— Господин, исполни мою просьбу. Ничего пока не говори Домицилле. Я знаю, ты с ней очень откровенен, но благоразумнее пока умолчать о нашем намерении.

— Домицилла мне предана и неболтлива. Она мне лучший друг, но на этот раз, обещаю, буду молчать.

— Да, да, это будет благоразумнее.

— Но когда же пойдём?

— Дня через три. Я предупрежу тебя заранее.

— Хорошо. И у Люция я увижу вашего пресвитера?

— Если желаешь, то можно увидеть.

— Да, желаю.

— В таком случае, желание твое будет исполнено.

Долго в этот вечер молился Тораний в своей комнате Богу, прося Его просветить Альбина светом истинного учения. Жаркая была молитва раба, и неслась она к Богу от самого искреннего сердца.

6

Альбин очень волновался. Что сказал бы отец, если бы все узнал? Какими глазами он взглянул бы на поступок сына? О, буря была бы, несомненно, большая, гнев отца был бы неопишум. И это вполне понятно. Ведь он, Альбин, является преступником уже по одному тому, что идет к христианину, идет ночью, как вор. Волнение Альбина было поэтому вполне понятно. То вдруг ему казалось, что идти не следует и нехорошо обманывать родителей, то являлось горячее желание увидеть поскорее Люция, узнать, что это за вера, чему она учит и кому поклоняются христиане. Альбин волновался и мучился, но отступить назад уже не хотелось. Люций, пожалуй, сочтет его трусом. А Магнусы никогда еще не были трусами. Нет, он пойдет, увидит Люция и узнает, кто такие христиане.

Дня через два Тораний таинственно шепнул ему:

— Господин мой, если смущаешься, то...

Но Альбин не дал докончить Торанию и надменно заявил:

— Я пойду. Это решено. Сегодня?

— Да, мы отправимся, когда все улягутся и в доме настанет тишина. Это будет около полуночи.

— Хорошо, я буду готов.

С замиранием сердца Альбин ждал условленного времени. Он лег в постель на случай, если бы в комнату вошли отец или мать.

Тораний приготовил для него верхнюю простую тунику и такой же простой темно-серый плащ. Мать действительно заглянула в его комнату:

— Альбин, ты уже готовишься ко сну?

— Да.

— Ну, спи. Да хранят тебя боги.

— И тебя тоже, мама.

Агриппина ушла, плотно закрыв двери. Но Альбин и не думал спать. Он решился на очень смелый шаг, рискуя своею жизнью в случае, если откроется его замысел. Но молодость и любопытство взяли свое. Сверх всего, какой-то тайный голос шептал ему, что христиане вовсе не плохие люди, какими их считают, и все рассказы о них — одна лишь клевета. Альбину

казалось, что этот тайный голос его не обманывает. Он лежал на своем богатом ложе, украшенном слоновой костью и серебром, и внимательно прислушивался к каждому шороху. Нервы его были крайне напряжены. Но вот наконец дверь в его комнату тихо, неслышно отворилась и на пороге показалась фигура человека.

— Это ты, Тораний?

— Я, господин.

— Пора идти?

— Да.

— Хорошо. Я сейчас одену тунику.

Альбин быстро встал с кровати, надел серую тунику, поверх которой набросил плащ.

— Ты уверен, Тораний, что нас никто не заметит?

— Вполне уверен. Об этом не беспокойся.

— А раб-привратник?

— Все устроено.

С сильно бьющимся сердцем вышел Альбин из дома. Они миновали сад и отворили дверь на улицу. Здесь их ждали два человека, закутанные в плащи.

— Кто это? — шепнул Альбин рабу.

— Не бойся; эти люди будут сопровождать нас. Они христиане.

— А разве идти так опасно?

В сердце Альбина вдруг заполз какой-то непонятный страх. Тораний уклонился от прямого ответа.

— Благоразумие и осторожность никогда не излишни, — ответил он.

Небольшая группа зашагала по уснувшему городу. Но, к счастью, ночь была темная, безлунная; идти приходилось осторожно, тем более что по ночам римские улицы не освещались. Впрочем, Альбин был рад темноте, благодаря которой его совершенно невозможно было бы узнать, если бы ему случайно и встретились знакомые. Все шедшие хранили глубокое молчание. Вдруг вдали показались факелы.

— Кто это? — спросил Альбин с испугом.

Тораний, присмотревшись к шествию, успокоительно ответил:

— Не бойся, это патриции со своими рабами идут с веселой пирушки.

Действительно, скоро с ними поравнялась толпа рабов, среди которых, пошатываясь, шли римские молодые кутилы. Последние кричали, спорили, смеялись. Пропустив эту группу, Тораний со спутниками двинулись дальше. Но скоро им пришлось свернуть в другую улицу,

потому что где-то недалеко раздались шаги солдат ночного обхода. Послышались звуки оружия. Приходилось быстро уходить от этой действительной опасности. Но вот и Номентанская дорога.

Здесь было уже безопасно.

— Скоро ли придем? — спросил Альбин, чувствуя усталость.

— Вот еще немного, а там и дом Гиспаниллы.

Дорога сделала резкий поворот. Вдали открылась роща оливковых деревьев, около которой находился небольшой дом. Сюда-то Тораний и направил свои шаги. Небольшую группу встретила собака, которая подбежала сначала к Торанию, весело замахала ему хвостом и зарычала было на Альбина. Но Тораний ласково погладил собаку и велел то же самое сделать Альбину. Собака успокоилась. Тораний постучал в калитку. Их, очевидно, ждали, потому что сейчас же послышался крик:

— Кто стучит?

— Отвори, Секст. Это мы.

Дверь моментально отворилась.

— Да благословит Господь ваш приход и твой, благородный Альбин! Мы несказанно рады тебе. Милости прошу к нам.

В это самое время из дома выбежал со светильником в руке Люций:

— Альбин! Ты ли это? Тебя ли я вижу?

— И я рад тебя видеть. Да хранят тебя... — он запнулся и замолчал.

Он хотел добавить «боги», но сообразил, что такое приветствие неприлично в христианском доме. Люций как христианин не верил в языческих богов, но сам окончил за своего товарища его пожелание:

— Ты хотел сказать мне: «Да хранят тебя боги». О, как бы я желал, чтобы ты, рано или поздно, но сказал: «Да хранит тебя Господь!». И вот теперь от всего моего сердца скажу тебе: «Да хранит тебя Господь Христос!».

Друзья обнялись. Альбин в порыве радости забыл, что Люций христианин и что на христиан возводятся такие страшные клеветы.

— Но не устал ли ты? — спросил Секст.

— Ничего, отдохну. Я люблю ходить.

— Милости прошу в наш дом, — засуетился Секст, — ты, благородный Альбин, самый желанный для нас гость.

— Рад это слышать.

Альбина повели в дом, где его встретила Гиспанилла с дочерью. Старая женщина низко поклонилась Альбину и проговорила:

— Да хранят тебя боги, благородный патриций.

Альбин удивился такому приветствию:

— Как, разве ты...

— Ах, моя сестра еще не христианка, — тяжело вздохнул Секст, — но мы молим Бога и надеемся, что она будет христианкой.

— Но о христианах говорят так много ужасного, — не удержался и проговорил Альбин, усаживаясь на стул.

— И говорят совершенно напрасно, Альбин! — вскричал Люций.

— Сознаюсь, я как-то и раньше мало верил тому, что рассказывали о вас.

— Скажи мне, Альбин, ты больше не ходишь к Назидиену?

— Я с того же злополучного дня перестал ходить к нему.

— О, как нам благодарить тебя, Альбин, что ты заступился за Люция, — со слезами на глазах произнес Секст, — если бы не ты, то моего сына тогда же схватили бы. Да пошлет тебе Господь всякого счастья и благополучия в здешней жизни и будущей! Мы всегда молимся и будем молиться за тебя!

— Да, дорогой Альбин, если бы не твоя защита, то я попался бы в руки римских солдат. Благодарю тебя.

— Не благодари, ведь мы с тобою друзья, а разве друзья не должны выручать друг друга?

— Да, ты сказал правду.

— Но, сын мой, знаешь ли ты, что у нас, христиан, одна из высших заповедей есть искренняя, бескорыстная любовь друг к другу? — спросил Секст.

— Этого я не знал.

— А между тем наш Спаситель Христос дал нам заповедь: любите друг друга так, чтобы безбоязненно можно было умереть один за другого. Знает ли Рим такую заповедь? О, нет! У вас царит право. Сострадания и жалости у вас нет. Римляне убивают нас только за то, что мы любим друг друга и таким образом выполняем закон Христов.

— Удивительное учение, — сорвалось у Альбина.

— Да, соглашаюсь с тобою, для вас, язычников, оно удивительное! Нас самих приводят в ужас те рассказы, которые распространяются о нас в вашем обществе.

Тут Секст поднял руки к небу, и из груди его вырвался горестный вопль:

— О, великий и дивный Боже, сними с нас эту клевету! Рассей тьму и просвети Рим светом Твоего учения!

Он шептал какую-то молитву. В комнате настала минутная тишина. Слышалось веяние чего-то непостижимого и таинственного. Какая-то неведомая струна зазвучала в душе Альбина. Его

сердце невольно прониклось доверием к старику. Чувствовалось, что он говорит правду.

— Нет, мы не пьем кровь невинных младенцев и не кланяемся ослиной голове, — продолжал Секст. — Мы собираемся на молитву, поем хвалу нашему Спасителю и помогаем друг другу, кто чем может. Вот сейчас должен прийти наш пресвитер. Он подробно разъяснит тебе все.

— Вероятно, ваш Спаситель был очень добрый, если Он предписал такую любовь?

— Да, доброта Его превосходит наше разумение. По любви к людям Он пострадал на кресте и воскрес из мертвых!

— Воскрес из мертвых? — переспросил со страхом и изумлением Альбин.

— Да, именно воскрес, потому что Иисус Христос не простой человек. Но Сам Бог во плоти. И мы веруем в Бога, пришедшего на землю во плоти для нашего спасения.

Альбин сидел ошеломленный и изумленный до последней степени всем услышанным. Все это положительно не уместилось в его голове, до сих пор полной разными языческими представлениями. Это было непостижимо, недоступно для его ума, но он видел, что за этой недоступностью скрывается великое, святое — то, ради чего тысячи христиан идут на смерть и пытки.

— И мы веруем, — в тон отцу проговорил Люций, — что настанет время, когда христианство распространится по всей земле, а язычество со своими богами исчезнет. Мы живем этой надеждой.

— Да, будет так! — подтвердил Тораний.

В это время в наружную дверь раздались два удара.

— Это, вероятно, наш пресвитер! — сказал Секст и пошел отворять дверь.

Минуту спустя он вернулся в сопровождении высокого старца с широкой седой бородой. Глаза пресвитера светились как-то необыкновенно мягко, задушевно. Видно было, что под этой несколько суровой наружностью скрывалось доброе, великодушное сердце.

— Мир и благодать вам от Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа! — торжественно проговорил он, благословляя собравшихся.

— И тебе мир, дорогой наш отец, — ответили ему присутствующие.

Пресвитер благословил каждого. Затем подошел к Альбину и ласково, внимательно посмотрел на него.

— Вот это благородный Альбин, о котором я тебе сообщил, — проговорил Секст.

— Вижу, вижу. Позволь и тебе, дорогое дитя, пожелать мира и спасения.

— Благодарю тебя, — прошептал Альбин.

— Пришел увидиться с Люцием?

— Да, мы были друзья. Я его давно уже не видел.

— Все знаю; твой друг Люций прекрасный юноша, и я рад, что ты так ценишь его. А не боишься, что пришел сюда?

— Чего же мне бояться?

— Могут узнать, что ты был у христиан. Ведь нас гонят и мы каждый день живем под страхом смерти.

— Я ничего не боюсь. Мне хотелось увидеть Люция и... — он запнулся.

— Что же дальше? Посмотреть на нас, христиан, страшны ли мы?

Альбин смутился. Пресвитер ласково улыбнулся:

— Поверь мне, дитя мое, страшного ничего в нас нет. О, если бы весь мир обратился ко Христу и оставил бы своих ложных богов! Настало бы на земле Царство Божие. Рано или поздно, но это время настанет.

— Я хотел бы поподробнее узнать ваше учение, — робко попросил Альбин.

— С величайшим удовольствием исполню твою просьбу, — произнес пресвитер и кратко, сжато, но точно рассказал жизнь Христа, Его учение и те требования, которые предъявляются к христианам евангельским учением.

Альбин жадно выслушал пресвитера, не прерывая его ни одной фразой.

— Как все это для меня ново! А ведь у нас о христианах говорят совершенно иное! — невольно вскричал он, когда пресвитер окончил.

— И в этом ваше главное заблуждение. Не хотят узнать о нас, нашем учении, а истребляют. О, римляне, когда вы узнаете всю правду о христианах? Но это пока скрыто от вас!

Пресвитер еще поговорил с Альбином, стараясь прояснить нравственную сторону христианства. Затем встал и сказал:

— Иди, дитя, домой! Не нужно, чтобы твое отсутствие было замечено. Будь благоразумен. Да благословит и вразумит тебя Христос!

Пресвитер перекрестил Альбина. Через минуту маленькая группа шла обратно по направлению к Эсквилину. Все миновали благополучно. Раб-привратник тихо отворил им двери. А минуту спустя Альбин, никем не замеченный, был уже в своей комнате.

7

Целая волна новых впечатлений от посещения им христиан нахлынула на Альбина. Он увидел мир, который был для него до сих пор закрыт, недоступен. Эти люди просты, добры, задушевы, а между тем их считали злыми, человеконенавистниками. Все их преступление заключалось в том, что они беззаветно были преданы Христу и друг другу. И Альбин своим неиспорченным сердцем почувствовал какую-то необыкновенную симпатию к этим людям, точно он знал их давно. Как ласково говорил с ним пресвитер, изъясняя свое учение! С каким радушием встретил его Секст! Как горячо обнял его Люций, точно они были родные братья!

Альбин долго не мог заснуть под влиянием пережитого. И во сне рисовался ему добрый старик-учитель с ласковыми глазами. Между тем Альбин не мог не поделиться своими впечатлениями

с сестрой Домициллой, от которой у него не было тайн. Утром после завтрака он позвал сестру в сад.

— Знаешь ли, Домицилла, где я был этой ночью? — загадочно спросил он.

Девочка удивленно посмотрела на брата:

— А где же?

— Тебе и не угадать, и в голову не придет.

— Да где же, скажи?

Альбин наклонился к самому уху сестры и тихо ответил:

— У Люция!

— Может ли это быть? Как же ты попал к нему? Расскажи скорее!

— Тише, дорогая. Нужно говорить осторожно, чтобы кто-нибудь нас не подслушал. Да, я был у Люция и познакомился с христианами. Слушай же.

И Альбин подробно рассказал о своем ночном путешествии.

— Это удивительно! Даже и подумать было нельзя. Но почему ты не сказал мне?

— Потому что не стал тревожить тебя. Ты, может быть, начала бы меня отговаривать.

— Это вполне возможно, — согласилась девочка.

— Ну вот видишь! Значит, я отлично сделал, что не предупредил тебя.

— Теперь расскажи мне подробнее о христианах. Чему они учат? Ведь ты говоришь, что Секст тебе подробно все рассказал.

— Да, говорил Секст, но главным образом много говорил пресвитер, иначе сказать, учитель.

Альбин рассказал, что сам запомнил из слов пресвитера. Домицилла не менее брата была поражена христианским учением.

— Правда, какое удивительное учение! Как хорошо любить друг друга. А у нас этого ничего нет. У нас раба можно убить, распять на кресте. Вот у них, говоришь, Сам Христос позволил Себя распять на кресте по любви к людям.

— Пресвитер говорил так.

Девочка задумчиво помолчала.

— Как это не похоже на наше учение! Как у нас много богов, а там один. А ведь, пожалуй, это лучше. Много богов, и не знаешь, которому лучше молиться. Молишься одному, а другой может разгневаться. Не правда ли?

— Согласен с тобой.

— Ты еще намерен идти когда-нибудь к Люцию? Я тоже хотела бы послушать христианского

учителя.

— Это сделать пока мудрено. Но, может быть, твое желание исполнится.

И с этого времени брат и сестра часто говорили о христианах. Тораний принес Альбину несколько тайных рукописей, и Альбин по ночам внимательно читал их, изучая догматы новой веры. Всем прочитанным он делился с сестрой. Они ухитрялись даже не раз читать вместе, приняв все необходимые меры предосторожности. Тораний зорко оберегал детей. Во все была посвящена также старая няня, христианка Маспеция, которая радовалась и благодарила Бога за то, что питомцы ее идут к истинному свету. «Призови, Господи, их Себе», — шептали ее старческие губы, и в глазах, устремленных на небо, светилась глубокая вера.

Медленно, но верно и прочно проникались брат и сестра христианским учением. Зерно упало на хорошую, свежую, плодоносную землю и не замедлило дать добрый урожай.

Магнус с женой были, конечно, безгранично далеки от истинного положения дел. Им и в голову не могла прийти мысль, что их дети заинтересовались христианством и изучали его. Да и откуда Альбин мог познакомиться с новым учением? О Люции Магнус давно забыл. Правда, как-то среди гостей зашел разговор о последователях Иисуса: коснулись происшествия в школе Назидиена. Кто-то произнес имя Люция.

— Это гадкий мальчишка, о котором даже не следует упоминать, — брезгливо заметил Магнус.

Альбин в душе рассмеялся отцовскому замечанию и подумал: «О, если бы ты знал всю правду! Ведь Люций и сейчас мой первый друг и учит меня новым заветам».

— Клянусь Бахусом^[37], он, может быть, уже в царстве теней! — крикнул один участник обеда, запивая еду кубком хорошего вина.

— Да будут поскорее все христиане в царстве теней! — подхватил другой.

Некоторые закричали:

— Да здравствует наш божественный император Марк Аврелий, который истребляет эту вредную секту!

Альбин вспыхнул. Он удержался и, стараясь придать своему голосу насколько можно больше хладнокровия и наивности, спросил:

— Разве эта секта так вредоносна?

Отец даже слегка побледнел и злобно сверкнул на сына глазами:

— И ты еще спрашиваешь? Ты, сын Кассия Магнуса, задаешь вопрос, вредна ли секта христиан, которая объявлена императором враждебной нашим богам? Моли богов, чтобы они вразумили тебя!

— Не волнуйся, Магнус, ведь он еще носит буллу, — вступился кто-то из гостей за Альбина. — Если бы он был полноправный гражданин Рима, он не сказал бы этого.

Но Магнус велел сыну оставить триклиний, а вечером сделал ему строгий выговор:

— Если ты еще раз скажешь что-либо подобное о христианах, то я прикажу тебя наказать. Так и знай.

Альбин повернулся и молча вышел. Тораний, знавший о происшедшем, шепнул ему: «Крепись и мужайся, господин. Все христиане гонимы. Но и в этом наше счастье. За малые, временные страдания за нашу веру и за Христа мы получаем вечное Небесное Царство».

— Я верю этому, — просто ответил Альбин.

А через несколько времени состоялось крещение Альбина в доме Гиспаниллы. Сердце мальчика было полно невыразимого духовного восторга. Только теперь он понял, что такое учение Христа и что дает оно своим последователям еще в земной жизни.

Он ликовал и веселился. Он готов был хоть сейчас же принять смерть за Христа или положить жизнь свою за братьев-христиан...

Луч вечного света блеснул перед ним, окончательно разогнав языческую тьму и мрак.

«О, слава Тебе, Христе Боже наш, слава Тебе!» — только и мог шептать Альбин, выходя из купели.

На прощание пресвитер положил ему руки на голову и ласково, но твердо и убедительно сказал:

— Сын мой, не изменяй Господу и будь верен Ему и при испытаниях! Если постигнет тебя гонение — молись Христу о терпении. Если встретишь смерть лицом к лицу, будь мужествен и не страшись, в награду ты наследуешь вечное блаженство, вечную радость в Царстве Христа. Да благословит тебя Христос, просветит тебя светом Своего учения.

Альбин поцеловал руку пресвитера, простился со всеми братским поцелуем и смело отправился в сопровождении верного Торания домой.

В доме все спали, не зная о совершившейся перемене. Только одна Домицилла бодрствовала и ждала с нетерпением брата. Она знала все...

Когда Альбин вошел в ее комнату, она беззвучно упала к нему на грудь, и тихо заплакала от избытка чувств, и спросила Альбина:

— Счастлив ли ты, Альбин?

— Большого счастья мне не нужно, — проговорил он, крепко прижимая к себе сестру.

8

Теперь для Альбина настала совершенно иная жизнь. Все старое язычество отошло куда-то далеко, точно его и не было. Христианство предъявляло новые требования, новые запросы.

Но вера Альбина не могла быть скрыта на долгое время. Это отлично понимали и он сам, и Домицилла.

— Боюсь я за тебя, — часто говорила девочка.

— Не бойся!

— Ах, все-таки страшно. Что скажет отец, когда узнает? Ведь тебя могут...

Она в страхе не договорила.

— Что могут? Убить?

— Да.

— Я этого не боюсь! За Христа рад пострадать. Ну и пусть убьют. А за эти краткие мучения мне будет великая от Христа награда.

— Ах, Альбин, как бы я желала быть христианкой.

Альбин задумался:

— Это пока сделать мудрено. Где ты можешь принять крещение, ведь тебя никуда не выпускают? Потерпи немного, быть может, мы что-нибудь и придумаем. А пока верь в душе и надейся, что рано или поздно, но Господь просветит тебя Своим светом, как Он просветил и меня.

Домицилла на этом успокоилась. Но она страшно тревожилась за брата, за его будущее.

События не замедлили себя ждать.

Приближался день, в который Альбин должен был снять буллу и надеть тогу. Этот день был всегда знаменательным в жизни каждого римского мальчика. Сначала мальчик приносил жертву домашним богам, затем отец надевал на него тогу, и тогда все шли в храм приносить жертву богам там, а потом уже дома устраивалось празднество, в котором участвовали все родственники и знакомые.

Кассий Магнус желал этот день обставить насколько возможно торжественнее. Были выбраны лучшие жертвенные животные, повара должны были показать все свое искусство в устройстве обеда. Альбин понимал, что скоро должно выясниться все. Если до сих пор ему так или иначе, под тем или иным предлогом удавалось уклониться от посещения языческих храмов, то теперь о таком уклонении не могло быть и речи. Нужно было объявить отцу всю правду.

И он решился это сделать до наступления торжественного дня, чтобы избежать лишней огласки.

— Отец, через два дня ты наденешь на меня тогу? — не без волнения спросил Альбин, оставшись наедине с отцом.

— Да, сын мой, ты доживешь до радостного для тебя дня. Ты будешь римским гражданином и снимешь знак своего детства — буллу. И ты, надеюсь, рад этому? Не правда ли? Но что с тобой, Альбин? На твоём лице я читаю смущение. Какая этому причина? И Магнус пристально посмотрел на сына. Вместо прямого ответа Альбин, в свою очередь, спросил:

— Скажи мне, отец, я непременно должен идти в храм и принести жертву богам?

— Да, должен. Но к чему этот лишний вопрос? Ты и сам знаешь, что нужно возблагодарить богов. А в чем дело?

Альбин смело посмотрел отцу в глаза и сказал:

— Отец мой, я не могу приносить жертвы богам.

Магнус мгновенно вскочил со своего ложа и изумленно смотрел на сына:

— Что я слышу? Что ты говоришь? Ты отказываешься идти в храм? Почему же?

— Потому что я христианин.

Магнус как ошпаренный отскочил назад. Его глаза округлились и готовы были совсем вылезти из своих орбит. Лицо покрылось смертельной бледностью. Он несколько мгновений стоял неподвижно, не доверяя собственным ушам.

— Повтори, что ты сказал?

— Отец мой, если хочешь, я повторю. Да, я христианин.

Магнус с проклятиями схватился за голову.

— Этого не может быть! — закричал он. — Скажи, что это неправда. О, боги, ты с ума сошел.

— О, нет! Отец мой, я только теперь узнал настоящий разум, только теперь узнал Истину.

Магнус замахнулся на сына:

— Замолчи, или я убью тебя на месте!

— Убей, отец. Смерти я не боюсь: смерть за Христа для нас желанна.

— Да, я вижу, что ты не в своем уме и какие-то христиане тебя околдовали. Это позор, несчастье!

Яростный, вне себя, он подскочил к сыну и схватил его за плечо.

— Сейчас же говори, презренный, где и у кого ты познакомился с христианами? Слышишь, сейчас же мне отвечай! Или, клянусь богами, я отрекусь от тебя и отдам тебя властям! Я не хочу иметь сыном изменника религии и противника императора! Ну, говори же скорее!

Альбин молчал и внутренне молился лишь об укреплении духа. Магнус тряс его, скрежеща зубами, топал ногами и кричал:

— Говори, негодный мальчишка, где ты познакомился с этой ужасной сектой? Ты молчишь? Молчишь...

Вдруг штора в таблинум распахнулась и в комнату смело вошел Тораний. Он приблизился к Магнусу и движением руки отстранил Альбина.

— Как ты смеешь? — вскричал на него Магнус.

Но Тораний спокойно ответил:

— Благородный Магнус, обрати весь свой гнев на меня, а не на сына. Благодаря мне он узнал христианство. Я виновник его обращения.

— Тораний, зачем ты говоришь это? — умоляюще простонал Альбин.

Магнус чуть не захлебнулся от ярости:

— Ты посмел обратить моего сына в христианство! Ах ты, презренная тварь!

Он подскочил к Торанию, ударил его кулаком по лицу. Раб слегка пошатнулся. Из носа хлынула кровь.

— Отец, пощади! — прошептал в ужасе Альбин.

— Молчать! И ты говоришь о какой-то пощаде!

— Да простит тебя Христос! — проговорил Тораний, опускаясь перед Магнусом на колени.

Но Магнус ударил его ногой и закричал:

— Эй, рабы! Сюда! Живо!

На крик сбежались бледные, трепещущие рабы.

— Возьмите этого презренного негодяя отсюда, дать ему сейчас же пятьдесят плетей. А завтра распять на Апиевой дороге. Слышите? Поворачивайтесь быстрее! Тот, кто вздумает защитить Торания, получит сто плетей! Вон с глаз моих!

Магнус весь дрожал от бешенства и чуть не разорвал свою тунику. Рабы догадались, в чем дело. Некоторые успели уже подслушать всю эту сцену. Торания увели. Альбин все время стоял в стороне. Сердце его сильно колотилось. Он всеми силами старался не показать трусости и робости. «Я должен быть готов ко всему. Нужно за Христа и пострадать», — думал он, ожидая крупных неприятностей.

Когда рабы удалились, Магнус подошел к Альбину и сурово проговорил:

— Слушай, что я скажу тебе. Тебя совратил этот негодный Тораний, он получил за это то, что заслужил. Завтра же он будет болтаться на кресте. А от тебя я требую, чтобы ты отрекся от Христа и принес жертвы богам.

— Отец, это для меня невозможно. Во всем я послушаюсь тебя, кроме этого.

— Ты должен послушаться, иначе я отрекусь от тебя. И тогда мне будет решительно все равно, что тебя постигнет, хотя бы судьба Торания. Понял?

— Я знаю это. Я готов ко всему.

— И к смерти?

— Да, и к смерти за Иисуса!

Магнус пришел в бешенство:

— Я убью тебя своими руками!

— Убивай, отец. Это в твоей власти. Я ношу еще буллу.

— Отрекись!

— Не могу.

Магнус с такой силой толкнул сына, что тот потерял равновесие и упал. И в этот момент вбежала Агриппина, которой донесли, что в таблинуме совершается какая-то ужасная сцена.

— Это что такое? — всплеснула она руками при виде сына, поднимающегося с пола.

— Боги нас покарали! — ответил ей Магнус.

— Что такое?!

Магнус подошел к ней вплотную и грубо проговорил:

— У нас нет больше сына.

Агриппина даже отшатнулась:

— Как нет? Что это значит? Что случилось?

— Альбин — христианин!

Агриппина помертвела.

— Христианин? Мой сын — христианин? Это ложь! — вскричала она.

— Если бы это была ложь! — ответил ей Магнус.

Агриппина стремительно бросилась к сыну:

— О, Альбин! Правда ли это? Я отказываюсь верить! Скажи, что это неправда! Умоляю тебя, скажи!

На лице ее было написано страшное горе. Слезы градом хлынули из ее глаз.

— Да, мама, я христианин. Об этом заявляю твердо и решительно. И от Христа я не отрекусь.

Но Магнус бешено топнул ногой:

— Замолчи! Ты одумаешься, иначе смерть тебе! Среди Магнусов не должно быть презренного христианина!

Агриппина, выслушав такой грозный окрик, в глубоком обмороке рухнула на пол.

9

Альбин бросился отыскивать сестру. Домицилла сидела в одной отдаленной комнате и занималась рисованием. В виде модели перед ней стояла прекрасная коринфская[38] ваза.

— Домицилла, все открылось, — сразу объявил он.

Девочка в испуге вскочила, краски упали на пол.

— Что открылось?

— Что я христианин.

Домицилла даже похолодела. С ее лица сбежал румянец. Она в ужасе всплеснула руками:

— Но как узнали? Ты сам сознался?

— Я должен был сознаться.

И Альбин рассказал все происшедшее. Домицилла разрыдалась:

— Что же теперь с тобой будет? Что с тобой сделает отец? О, какое несчастье!

— Никакого несчастья, Домицилла, нет. Рано или поздно отец должен был все узнать. Пусть лучше скорее, чем оставаться в неизвестности.

— Ах, я не знаю, что будет со мною, если... — она не закончила.

— Что? Если меня убьют?

— Да.

— Одно скажу: не горюй и обратись ко Христу. Он тебя утешит. А больше никто утешить не может.

Магнус в это время в величайшей тревоге шагал по перистиллю. Разыгрался, по его понятию, настоящий скандал. Что скажут римляне? Как посмотрят на это событие? А если донесут самому Марку Аврелию? Могут выйти крупные неприятности: изволь-ка там, отец, оправдываться и вывертываться. Как замять это дело, пока оно еще не получило огласки? И Магнус, не долго думая, решил отправить сына к своей сестре в Сицилию. Сестра — строгая женщина, чтящая богов, и она сумеет вытравить христианство из головы Альбина. Мальчишка поддался влиянию раба, и больше ничего. «Да, да, это лучший исход», — думал Магнус.

Он немедленно же сообщил о своем решении Агриппине. Решено было ехать завтра же. Начались деятельные приготовления к отъезду. Альбину отец сказал в двух словах о своем решении:

— Собирайся в путь! Завтра ты с матерью едешь к тетке в Сицилию.

Повернулся и ушел. Альбин глубоко задумался с тревогой о будущем. Ему была ясна цель этой поездки: отец желал избежать огласки и надеялся, что там, в Сицилии, у строгой тетушки, он забудет о своем новом учении. Но разве он может забыть? Может ли он изменить своей вере? О, нет. Этого никогда не будет. Отречься от христианства невозможно, вернуться к прежним богам — верх безумия. Но что же делать в этом случае? Альбин схватил себя за голову и замер от наплыва разных чувств. А решиться на что-нибудь нужно было сейчас. Завтра он может оказаться на дороге в Сицилию, а там мало ли что может с ним случиться? В это время в комнату вошла Маспеция.

— Слышала все, няня?

Та заплакала:

— Все знаю, но не изменяй нашему Спасителю. Он дороже всего.

— Я и не думаю...

— Завтра тебя отправят в Сицилию.

— Знаю.

Маспеция тяжело вздохнула.

— Иди к матери, она тебя зовет.

На юном лице Альбина показалось мучительное выражение.

— Я знаю, зачем она меня зовет. Будет убеждать отказаться от веры. Но это бесполезный труд.

— Иди, Альбин. И да укрепит тебя Господь.

Альбин знал, что ему придется вынести много бурь от своих домашних. Он знал, что его будут уговаривать, ему будут даже грозить. Но он был готов ко всему; вера в Иисуса Христа звала к подвигу, к борьбе, к страданиям.

Агриппина лежала разбитая, больная. При виде входящего сына она дала знак рабыням, чтобы ее оставили. Рабыни удалились тихо. Агриппина приподнялась и устремила грустный взгляд на сына:

— Альбин, что ты сделал со мной? Зачем ты изменил нашим богам?

Альбин подошел к матери, схватил ее руки и поцеловал.

— Не осуждай меня, мама! Я сделал то, что должен был сделать. Я нашел истинный Свет и пришел к нему.

— О каком свете ты говоришь?

— Я говорю о свете христианском, об истине, которая составляет основу моей веры.

— А наши боги? Ты забыл о них?

— Их, мама, не существует.

— Как нет? Неужели тебе хочется навлечь на себя гнев богов?

— Богов нет, а есть лишь истинный Бог, Творец неба и земли Господь наш Иисус Христос. Все ваши боги ложны. Вот в чем заключается свет христианства.

Агриппина смотрела изумленно на вдохновенное лицо сына. Она не узнавала его. Где был прежний тихий мальчик, который во всем слушался родителей? А теперь он тоном, не допускающим возражения, говорил так твердо и энергично, точно его подменили.

— Альбин, я не узнаю тебя! Что это значит? Неужели для тебя какая-то изуверская секта дороже, чем я с отцом? Я отказываюсь этому верить.

— О, мама! Тебе не понять меня. Ты только тогда услышала бы меня, когда сама обратилась бы ко Христу.

— Замолчи! Оставь свои речи! — вскричала Агриппина. — И слушать я тебя не хочу! Я требую от тебя, чтобы ты бросил все свои безумные мысли! Слышишь, требую! И знай, что за послушание ты можешь жестоко поплатиться. Ты знаешь, как поступят с Торанием?

— Да укрепит его Господь!

— В таком случае, ты должен знать, что если власти узнают о тебе, то тебя может ожидать очень печальная участь. И мы будем совершенно бессильными тебе помочь.

— О, мама, я знаю, что всех христиан гонят и мучают. Я готов ко всему. Иисус за нас пострадал, отчего и нам не пострадать за Него?

— Проклятие этому Торанию! — закричала со злобой Агриппина. — Это он тебя свел с ненавистной Риму сектой! Уйди теперь от меня!

Юноша молча поцеловал руку матери и вышел.

10

Альбин понял, что оставаться ему под родительским кровом невозможно. Нужно идти к своим братьям по духу, по вере и с ними нести общий тяжелый крест.

Первым делом при наступлении ночи он направился к Торанию, который накануне был подвергнут безжалостному бичеванию. Устроить эту встречу было нелегко. Но при участии Маспеции ему удалось проникнуть к смертельно израненному рабу. Тораний очень обрадовался Альбину, он позабыл свою боль и едва приподнялся со своего ложа.

— О, как я рад тебя увидеть, господин мой! Да благословит Господь твой приход!

— Тораний, ты из-за меня страдаешь.

— Не говори так, Альбин, мы не язычники. Разве не радостно пострадать за веру! Я должен хвалить и благодарить своего Искупителя, Который даровал мне счастье перенести за Него бичевание.

— Мне жаль тебя, Тораний! Ты явился моим вторым и лучшим отцом.

Альбин склонился к рабу, припал на его окровавленное плечо и заплакал. В комнате несколько мгновений царил молчание. Слышалось только всхлипывание Альбина.

— Не горюй обо мне, господин мой! Разве ты не знаешь, что лучший наш удел, высшее счастье — это пострадать за Христа? Знаю, что отец твой хочет распять меня на кресте. Помолись за меня, чтобы Господь удостоил меня этого мученичества.

— Помолись и ты за меня, Тораний, когда будешь у престола Всевышнего. Твоя молитва будет сильна.

— Если удостоит Господь предстать пред лице Его, то буду просить Его, чтобы быть нам с тобою вместе на всю вечность. А теперь мы должны с тобой проститься. В здешней жизни мы больше не увидимся.

— О, Тораний, Тораний! — только и мог прошептать юноша.

— Любимый мой господин, не плачь обо мне! Я иду ко Господу! А ведь там вечное блаженство, вечная радость. Там не страшны нам будут наши гонители. Там Сам Спаситель! Не плачь же! Скажи мне: очень гневается на тебя отец твой?

— И отец, и мать страшно озлоблены. Завтра назначен мой отъезд в Сицилию.

— Понимаю: хотят скрыть твое обращение в христианство и заставить тебя вернуться к язычеству.

— Да, это ясно, но я решил в Сицилию не ехать.

— Как же быть?

— Сегодня ночью я навсегда уйду из дома.

— Покидаешь родителей?

— Да, я не могу больше оставаться в доме, в котором хулился имя Христово и высмеивается наша вера. Со своими родителями я давно разошелся. Мы чужие друг другу. Что ж я буду делать здесь? Поэтому я решил идти к своим братьям и нести общий крест. Что ты думаешь относительно этого?

Тораний немного подумал, затем широко перекрестил голову Альбина и проговорил:

— Да благословит тебя Господь! Да благословенно будет намерение твое! Иди! Помни, что сказал Спаситель: «Если кто оставит дом или родителей Христа ради, тот получит жизнь вечную». Твои родители не бедны и не беспомощны. А там положишься во всем на волю Божию. Кто знает, быть может, в будущем они и сами обратятся ко Господу.

— О, как бы я желал этого! — от всей души проговорил Альбин и крепко обнял раба.

Тораний, в свою очередь, заплакал.

— Крепись, мужайся, Альбин! Будем верить и надеяться, что мы с тобой снова увидимся в вечном Небесном Царстве. А теперь прими от меня, недостойного, мое христианское благословение.

Они обнялись и расцеловались. Один — бледный, израненный, приговоренный к казни раб, а другой — юный аристократ римской династии Магнусов — соединились в братском поцелуе. Единая вера в Царство Христово сделало их равными.

— Куда же ты думаешь идти?

— У меня один путь — к Люцию.

— А если его не найдешь?

— Спрошу, где он.

— Слушай, Альбин, что я тебе скажу. Если не найдешь Люция, то иди на Ардейскую дорогу. Там есть дом одного вольного отпущенника Вивидия. Это мой хороший знакомый. Он тоже христианин. Он охотно даст тебе приют, а там наше общество подумает, как тебе устроиться. Но сумеешь ли ты выбраться незаметно?

— Надеюсь.

— А не боишься идти ночью?

— У меня есть ноги, они выручат меня в минуту опасности.

— А тебе не жалко оставить Домициллу?

— Ах, Тораний! — грустно вздохнул Альбин. — Это самый тяжелый вопрос. Если кого мне жаль, то именно Домициллу. Я горячо люблю ее. Но что же делать? Как поступить? Ведь не могу же я ради сестры оставить свой путь и подчиниться родителям? Правда?

— Да, ты прав! Христос должен быть выше всего и выше всех наших земных привязанностей.

— Вот и я так думаю. Однако жаль, что она еще не приняла крещения, но надеюсь, что это совершится. Пусть как-нибудь Маспеция позаботится об этом. Чтобы не огорчать сестру, я даже не хочу говорить ей о своем намерении. Да простит мне Господь мое бегство из дома.

— Да простит нам Господь грехи наши, — тихо проговорил Тораний.

Они еще немного поговорили, затем обнялись и наконец расстались. Юное лицо Альбина было мокрым от слез. Ему было до глубины души жаль верного, преданного раба, на руках которого он вырос и под охраной которого много лет безбоязненно ходил по римским улицам. Теперь он уже больше никогда не увидит Торания: завтра верный раб будет злодейски распят на кресте. От этой мысли Альбин содрогнулся все телом; глубокое человеческое сострадание несчастному рабу навсегда поселилось в его юном сердечке. «О, Боже, дай ему силы! — с верою прошептали его губы. — А мы увидимся с ним там, в вечном Царствии Небесном!»

11

Домицилла горько плакала, склоняясь к плечу брата.

— Альбин, Альбин, что будет с тобой? Ты завтра едешь в Сицилию, а меня отец оставляет здесь.

— Не грусти, дорогая моя! Будем надеяться на Христа, что Он устроит все к лучшему.

— Но я буду скучать по тебе. Почему бы мне не поехать с тобой? Зачем отец хочет разъединить нас?

— Ответ ясен: он боится, чтобы я не сделал тебя христианкой.

— О, как он ошибается. Если бы он знал, что я уже почти христианка, недостает лишь крещения.

— Вот этим я и озабочен, Домицилла. При первой же возможности я хочу, чтобы ты окрестилась.

— Это и мое искреннее желание. Куда ты идешь, Альбин? Побудь со мной еще. Ведь это последняя ночь. Завтра ты уедешь... — проговорила девочка, видя, что Альбин хочет уходить.

В тоне ее голоса было так много умоляющего, что Альбин невольно подчинился и ненадолго остался, хотя ему нужно было спешить! Он знал, что ему, быть может, предстоит сделать огромный путь на Ардейскую дорогу, если почему-либо нет дома Люция или его семейства.

— Ну, Домицилла, спи с Богом! Мне нужно кое-что собрать с собой в дальний путь.

Он подошел и горячо расцеловал сестру.

— Как мне жаль расставаться с тобой, — говорила она со слезами.

Альбин тяжело вздохнул:

— Что же делать, дорогая моя? Нужно покориться Господу. Все пути наши в Его руках, как говорил наш пресвитер.

— Верю, — согласилась Домицилла.

Когда Альбин вышел из комнаты сестры, в доме тревожно спали. Мягкий лунный свет заливал перистиль и светлыми полосами ложился на полу портиков. Таинственно стояли нимфы около двух мраморных бассейнов, окруженных зеленью. Юноша быстро ушел в свою комнату и, опустившись на колени, начал горячо молиться Богу, чтобы Он помог ему в новом пути и дал бы силы перенести все испытания. После молитвы он надел простую темную тунику, взял восковую дощечку, стиль[39] и написал следующее: «Дорогая моя сестра! Я навсегда уйду от вас. Я не могу более оставаться среди язычников и иду к своим братьям. Так хочет и требует Христос. Не сердись на меня и прости. Если же не здесь, на земле, то в вечном Царствии Небесном мы увидимся. Будем верить в это. Прости же. Горячо любящий тебя, твой Альбин».

Он осторожно прошел в комнату сестры и положил эту дощечку на стол. Затем приблизился к постели сестры. Девочка спала, свернувшись в клубочек. Долго стоял Альбин на пороге ее комнаты. «Увидимся ли мы с тобою, дорогая? Может быть, это свидание последнее? Ведь я иду к своим братьям во Христе, и нужно быть ко всему готовым! — думал он. — Спи мирно, сестра. Да благословит тебя Господь. А я... Я не мог поступить иначе. Прости меня!»

Он перекрестил Домициллу и, подавив грустный вздох, так же тихо вышел из комнаты. Из глаз его медленно катились слезинки. Он сунул под тунику все свои наличные карманные деньги, какие давал ему отец, и осторожно вышел в сад. Он шел, постоянно прислушиваясь и оглядываясь, точно вор. Его сердце усиленно колотилось от волнения. Он знал, что если бы его поймали домашние, то жестоко наказали бы и как преступника увезли в Сицилию. Приходилось поэтому принимать меры предосторожности. Но рабы крепко спали, утомленные за день, а собаки, хорошо знавшие своего хозяина, только радостно махали ему хвостами.

Альбин быстро перебежал сад, прячась под ветками садовых деревьев, затем как кошка вскарабкался на стену, отделявшую отцовский дом, и перепрыгнул в соседний переулок. Прощай, отчий дом! Прощайте, родители и сестра! Прощайте, добрый Тораний и ласковая Маспеция! Все это оставалось за стеной...

А теперь — в дорогу.

Можно себе представить изумление Люция и его родных, когда к ним далеко за полночь явился Альбин.

— Что случилось, Альбин? Почему ты один? Почему не с Торанием? — забросал его вопросами Люций.

— Если бы я не пришел сейчас, то завтра ехал бы уже в Сицилию.

— В Сицилию? Может ли это быть?

Альбин рассказал все. Его выслушали с величайшим изумлением.

— Значит, ты бросил дом и родителей из-за веры? И пришел к нам, людям бедным и отверженным? — вскричал отец Люция.

— Мне не место среди язычников, — скромно ответил Альбин.

Старик горячо обнял Альбина.

— Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, дающему силы и веру такому юному исповеднику! Иди к нам, дорогое дитя! Ты не ошибешься в нас. Если мы не можем подарить тебе роскоши, то дадим свою искреннюю любовь. А завтра в нашем собрании мы решим относительно тебя, что

делать. Мне кажется, что тебе опасно оставаться в Риме и лучше выехать куда-нибудь в другое место. Но, разумеется, не в Сицилию, — добавил он с ласковой улыбкой.

— Я всецело подчинюсь решению общины, — скромно ответил Альбин, — но мне безмерно жаль Торания.

— О Торании не горюй, — ответил старик. — Он получит за свои страдания великую награду. Он открыто исповедовал свою веру и будет мучеником Христовым. Дай, Господи, и нам получить то, что готовится этому рабу! Дай всем нам быть в Твоем вечном Небесном Царстве! Не здесь наша жизнь, а там, за видимой земной смертью... А ты, Альбин, не жалея оставленной роскоши. И не унывай при лишениях и скорбях. Будь всегда истинным учеником нашего Господа Иисуса Христа, и Он сторицей вознаградит тебя за все. Да будет же благословен твой приход!

Люций был безмерно рад бегству своего друга. Теперь они будут вместе трудиться, вместе молиться и работать в христианской общине. Совершилось то, о чем Люций даже не мог и думать.

— Дивны пути Твои, Господи, — с любовью глядя на друга, сказал Люций.

Он еще раз обнял Альбина, и тот почувствовал, что пришел в свою настоящую семью. Здесь царит истинная любовь, здесь нет ни лжи, ни лицемерия, ни обмана, здесь искренне стремятся принести один другому лишь одно только добро. Он понял, что стоит на верной дороге, ведущей в блаженную вечность.

12

Солнце только что зашло. Воздух сделался удивительно мягким и прозрачным. Светлое, глубокое небо, казалось, опустилось с беспредельной выси и повисло над веселыми дачами и виллами, приютившимися у самого моря среди апельсиновых и лимонных рощ. Вдали красиво рисовалась Этна[40], гроза Сицилии. Но и она теперь как будто отдыхала и не думала беспокоить жителей своими толчками и ударами.

В воздухе стоял аромат цветов; главным образом он шел от апельсиновых и лимонных рощ. Наступил чудный вечер. Все живущие спешили насладиться вечерней прохладой. Но, кажется, только одно прекрасное, нежное создание было далеко от какого бы то ни было отдыха и покоя. То была юная, лет пятнадцати, девушка с удивительно красивой внешностью. Но на это личико уже положила свою печать тень смерти, и, видимо, близко было то время, когда эти прекрасные, вдумчивые глаза смежата, чтобы не видеть больше Божьего мира. Заострившийся носик, бледность на щеках, отсутствие в глазах огонька жизни, восковые руки с просвечивающими сквозь тонкую кожу жилками — все говорило о том, что болезнь наложила на бедняжку свою неизбежную роковую печать.

Девушка лежала на террасе одного обширного одноэтажного дома. Прямо перед ней был разбит чудный цветник с фонтанами. Клумбы со всевозможными цветами весело пестрели на общем фоне фруктового сада. Непринужденно журчали садовые фонтаны. Но все это уже не интересовало юную деву; все земное отошло для нее на задний план. Она давно жила в прошлом и с глубокой надеждой и верой смотрела в другой мир — в мир вечности, где царствовал неземной Царь и Господь наш Иисус Христос.

Ей всего только пятнадцать лет, но как много пережито ею, особенно за последний год! Год этот стоит всей ее предыдущей жизни. Вот встали перед ней картины прошлого. Вспомнилось

то утро, когда ее любимый брат бежал от отцовского гнева. Утром в тот день она увидела какое-то смущение на лице своей верной няни Маспеции.

— Что с тобой, няня? — спросила она.

— Нигде не могут найти твоего брата Альбина.

— Как нигде? Он, вероятно, куда-нибудь ушел?

— Не знаю. Так рано ему некуда идти.

Она встревожилась и быстро встала с постели. Тут ее взгляд упал на восковую дощечку, лежавшую на столике. На дощечке было что-то написано. Предчувствуя недоброе, она схватила дощечку и быстро прочла написанное, потом еще и еще раз. Не поверила, прочла снова и... с горькими рыданиями упала Маспеции на шею. Старушка сильно перепугалась:

— Что ты прочитала? Что там написано?

Девочка, рыдая, кое-как прочла записку брата. Няня отступила на шаг и несколько раз перекрестилась.

— Как теперь быть? Сказать или нет домашним? — растерянно проговорила старушка, но сразу же решила: — Уничтожь, Домицилла, написанное. Пусть никто не знает об этом.

— Почему?

— А вот почему: если ты объявишь, что твой брат ушел к христианам, то навлечешь на них еще большее гонение. Его станут искать среди христиан и причинят им большую скорбь. Да и Альбина могут скоро найти, и тогда, конечно, ему не избежать смерти. Нет, дитя мое, лучше умолчи и поскорее сотри написанное.

Домицилла послушалась няни и быстро уничтожила записку, в чем впоследствии не раскаялась.

Альбина долго искали, но не там, где он в действительности был. Магнус, волей-неволей должен был скрыть факт обращения сына в христианство, иначе ему самому грозили бы неприятности.

Долго девушка не могла успокоиться из-за разлуки с любимым братом. Она плакала и звала его. Родители сами были в отчаянии и ничем не могли помочь дочери. Но теперь она еще более почувствовала все величие христианской веры. Она поняла, на какие жертвы способен истинный христианин, для которого заповеди Иисуса всегда будут на первом месте; именно поэтому она решила поскорее послушаться совета своего брата и принять крещение. Сделать это было трудно, но помогла главным образом Маспеция. Старушка воспользовалась одним благоприятным случаем, когда ее господа были в гостях, и при содействии христиан-рабов пригласила в дом пресвитера. И глубокой ночью в одной из уединенных комнат было совершено Таинство Крещения.

После крещения девочка словно переродилась. Дух Христов просветил ее доброе сердце светом истины, а вера сделала еще более доброй и справедливой по отношению к миру, наполнив ее сердце нелицемерной христианской любовью. Исполнившись Духа Истины, Домицилла теперь вполне понимала брата, который бежал из-под родительского крова, чтобы только не иметь общения с язычниками.

Однако скоро в доме Магнусов разразилась катастрофа, которую однажды уже пережил брат Домициллы Альбин, только исход этой трагедии был другим.

Когда родители узнали, что их дочь, Домицилла — христианка, то немедленно отправили ее в Сицилию. Альбина же горячо проклинали, считая его главным виновником их несчастья. И вот она в Сицилии, у своей тетки. Мать привезла ее сюда, но затем уехала, предоставив тетке искоренить в дочери зловредное учение. Тетка со всей суровостью принялась за дело.

Сколько пришлось Домицилле пережить горя, скорбей, волнений! Она много плакала и безутешно тосковала о брате. Никаких точных сведений о нем не имелось, и девушка даже не знала, жив он или нет. Только однажды, вскоре после бегства, Альбин известил ее, что христиане отсылают его в Малую Азию для безопасности. Но с тех пор никаких известий о нем не было. От всего пережитого Домицилла начала болеть и тосковать. Хрупкий детский организм не вынес всех перенесенных потрясений и огорчений. Она таяла у всех на глазах. И тогда ее тетка вызвала на Сицилию Агриппину. Но безутешной матери пришлось лишь убедиться в том, что ее дочь — не жилица на этом свете. Агриппина пришла в гневное отчаяние, проклиная и христиан, и сына, сгубившего ее дочь. Но этому горю уже ничем нельзя было помочь, Домицилла угасала на ее руках.

Вот и теперь она лежала обессиленная и совершенно беспомощная. Но как красноречиво пылали ее глаза! Они говорили о том, что настоящая жизнь ее не интересует и она видит уже те обители, которые уготованы всем исповедникам и страдальцам за Христа. Она не слышала и не интересовалась звуками земли, но прислушивалась к звукам неба, говорившим в ее душе. Да и что теперь могла дать ей эта жизнь? Ровно ничего. Отец и мать — язычники, они никогда не поймут ее и не простят; брат — неизвестно где. Быть может, он там, куда и она отойдет в скором времени... Юная дева тяжело перевела дыхание и простонала. На террасу вошла мать. На лице Агриппины отпечаталось страдальческое выражение. Было видно, что она много перенесла и выстрадала. Трудно было узнать в этой постаревшей женщине прежнюю гордую римскую матрону.

— Ты не спишь, дитя мое? — ласково спросила она, наклонясь к дочери.

— Нет, не сплю.

— Как ты себя чувствуешь? Тебе не хуже?

— Мне хорошо. Я чувствую себя так легко, точно сейчас куда-нибудь улечу.

Агриппина с испугом посмотрела на нее.

— Успокойся, Домицилла. Вот ты немного поправишься, и я увезу тебя в Рим. Там ты немного отвлечешься, а то здесь, кроме меня и тетушки, ты никого не видишь.

— Ах, мама! Не успокаивай себя напрасно. Если меня призовет Господь, то я готова идти к Нему. Если бы ты узнала Его! Ведь Он — наш Спаситель, Своею смертью искупивший нашу жизнь! Истина только в Нем. Когда я умру, то буду молиться, чтобы и вы с отцом poznали христианскую веру.

— Домицилла, не говори этого. Я не понимаю тебя. Ты терзаешь мне сердце.

— О, если бы ты знала, что такое христианство, то твое сердце так не терзалось бы. Да простит и вразумит тебя Господь.

Она замолчала. Грудь ее высоко поднималась и опускалась, точно ей было мало воздуха. Агриппина налила стакан холодной воды и подала его дочери... Та отпила несколько глотков.

— Не говори больше, дитя мое, тебе вредно.

Агриппина села на стул и с отчаянием взглянула на дочь. Она понимала, что положение безнадежно и что дочь доживает последние дни, а может быть, и часы. Она забыла, что Домицилла исповедует ненавистное ей христианство, зная только, что это ее единственная дочь, на которую она хотела перенести всю свою любовь, потеряв так трагически сына. Ее сердце разрывалось от невыносимого горя: она теряла последнюю радость в жизни.

Вдруг Домицилла открыла глаза. Что-то новое и неожиданное блеснуло в ее глазах и отразилось на бледном лице.

— Мама, как мне легко!

— Я рада, дитя мое, что тебе сделалось лучше.

— Нет, мама, ты меня не поняла. Мне не лучше, но как-то необъяснимо покойно сделалось на душе. Мама, ты слышишь? — Домицилла на какое-то время замерла, словно к чему-то прислушиваясь. — Неужели ты ничего не слышишь? Мне кажется, что где-то поют... Не здесь, на земле, а там... На небесах...

Агриппина с ужасом прислушивалась к словам дочери. Ее сердце замирало. Она сидела как истукан.

— Да, мама, чудесно поют... далеко-далеко. Это славят Христа... Верь мне, что Его славят. И какое чудное пение! Ах, если бы ты слышала... Мама, как мне хорошо... Я уйду от вас. И буду молиться... Ах, если бы вы обратились ко Христу! Ведь это блаженство...

Агриппина совершенно не понимала слов дочери и думала, что Домицилла бредит.

После некоторой паузы девушка продолжила:

— Мама, я видела сегодня ночью Торания. Он был веселый, радостный, на голове венец. На нем такая белая одежда. Он весь сиял как солнце. Он подошел ко мне, благословил и сказал...

Домицилла замолчала.

— Что он сказал? — невольно вырвалось у измученной Агриппины.

— Не скажу, не велел говорить. А сказал хорошее. Ах, Тораний, как он счастлив! А что было с ним на земле? Отец приказал бичевать его, а потом распять на кресте. А теперь его никто не оскорбит. Ах, мама, если бы ты могла видеть его лицо! Ты сама поклонилась бы ему до земли.

Домицилла говорила почти шепотом. Нужно было низко наклониться к ней, чтобы расслышать ее слова. Но мать слышала все, каждое слово дочери ложилось на ее сердце и запечатлевалось на нем. Она хотела плакать, но не могла: слишком велико было горе и не хватало слез.

Домицилла вдруг вытянулась. Лицо ее приняло покойно-торжественное выражение. Она скрестила руки на груди, и с губ ее слетело едва слышное:

— Прощайте... И ты, мама, прощай... Меня зовут...

Она закрыла глаза и еще раз глубоко вздохнула. И с этим вздохом испустила дух. Беспомощно вскрикнув, Агриппина как подкошенная упала на пол в глубоком обмороке.

13

После описанных событий прошло около пятнадцати лет. Однажды в тихий весенний вечер к дому Кассия Магнуса подошел мужчина лет около пятидесяти, одетый в скромную одежду. Лицо его было задумчиво и носило на себе печать особого благородства. В руке его был длинный посох. Сразу можно было сказать, что человек этот был не римлянин, а приехал издалека.

— Могу ли я видеть благородного Кассия Магнуса? — спросил он мягким, приятным голосом у притворника.

— Можно. А ты, я вижу, не здешний? И на что тебе понадобился мой господин?

— Да, ты угадал. Я прибыл из Малой Азии; что же касается дела, то о нем я лучше скажу самому вашему господину. Прошу тебя доложить обо мне, я несу ему радостную весть.

— Хорошо, я скажу.

Пройдя в атриум, незнакомец вошел и перекрестился. Кто не бывал у Магнуса несколько лет, тот удивился бы происшедшей перемене. Отсутствовали домашние лары[41] и пенаты[42]. Во всем доме не было ни одного языческого изображения богов. Но если бы посетитель прошел в сад, то его удивление выросло бы еще более. В саду была устроена прекрасная усыпальница Домициллы, над входом в которую красовался крест. Очевидно было, что хозяйева этого дома — христиане. И действительно, Магнус и Агриппина обратились ко Христу. Во время царствования Коммода[43], когда христианство наконец стало свободно распространяться, Магнус под влиянием событий, потрясших всю его семью, начал интересоваться этим учением. А вскоре, увлекшись догматами христианской религии, внезапно уверовал и принял крещение. Так в конце концов двумя христианами в местной общине стало больше. Христианское учение Магнус принял сознательно, убедившись в его истине и святости. Он ясно увидел, как велики задачи христовой веры, и был уверен, что перерождение людей к лучшему будет совершено именно верой в Спасителя.

Только теперь он оценил подвиг своего сына Альбина, который семнадцать лет тому назад покинул стены родного дома, чтобы не поклоняться языческим богам. И только теперь и Магнус и Агриппина искренне оплакивали свои попытки убить правую веру в своей дочери, ведь именно это послужило причиной ее смерти. Но возврата к прошлому уже не было...

А пока в доме Кассия Магнуса ожидал гость из Малой Азии. Но Магнус не заставил себя долго ждать. Опираясь на палку, он вышел в атриум.

— Будь благословен Господом, благородный Магнус. И прости, что я побеспокоил тебя.

— Да благословит и твой приход Господь наш, — ласково ответил хозяин. — Вот стул, сядь и скажи, какое у тебя до меня дело? Мой раб сказал, что несешь мне радостную весть. Так ли?

Незнакомец утвердительно кивнул головой.

— Да, это так.

— Но я не жду в этой жизни уже никакой радости для себя. Мое счастье в том, чтобы нести

добро своим братьям по вере. Для себя же я уже ничего не хочу и не желаю. Пусть Спаситель даст мне Свою совершенную радость уже в будущем веке.

Незнакомец ласково улыбнулся:

— Нельзя говорить так, достопочтенный Магнус. Господь и в этом веке дарует чистые, совершенно неожиданные радости.

Магнус зорко посмотрел на незнакомца и подумал: «Что же он хочет сказать мне?». Он сделал паузу и спросил:

— Позволь узнать мне, кто же ты? По одежде я вижу, что ты принадлежишь к клиру.

— Ты не ошибся. Я пресвитер из города Эфеса[44].

Магнус встал:

— Отчего же ты мне это прежде не сказал? Благослови меня, отче!

Пресвитер поднял руку и благословил его.

— А теперь прошу тебя в триклиниум, рабы приготовят что-нибудь закусить.

Но пресвитер остановил его движением руки:

— Не беспокойся, благородный Магнус. Я не голоден. Когда-нибудь в другой раз. А теперь лучше побеседуем. И все-таки я скажу тебе: я пришел с великой радостью, и ты искренне, от всего сердца возблагодаришь Бога.

Магнусом помимо воли овладело какое-то волнение. Старческое сердце невольно забилося сильнее обыкновенного.

— Возвратись назад на семнадцать лет, будь покоен и благоразумен.

Магнус быстро встал со стула:

— Назад на семнадцать лет? О, Боже мой! Господи! Начинаю догадываться, но боюсь сказать. Боюсь ошибиться.

Он весь дрожал. Руки его тряслись.

— Я вижу: ты понял. Призови же на помощь Господа и все свое благоразумие. Ты не ошибся, я хочу тебе сказать о твоём сыне, Альбине.

Магнус так и кинулся к нему:

— О сыне! Но что такое? Скажи скорее! Неужели он жив?

Пресвитер усадил Магнуса на стул, положил ему руку на плечо и ласково, но торжественно проговорил:

— Воздай славу Богу! Сын твой жив и невредим.

Вся комната пошла кругом у Магнуса; после этих слов сердце готово было от неожиданной

вести выскочить из груди.

— Неужели это правда! Может ли это быть? Где он? Скажи! Я отказываюсь верить.

— Сейчас все скажу, и рассказ мой — в двух словах. И, умоляю тебя, успокойся. Ты, конечно, помнишь, как сын твой ночью скрылся из твоего дома?

— Да как не помнить! Разве можно забыть то ужасное утро! Мы обыскали весь Рим.

— Знай же, что сын твой ушел в общину христиан. Он нашел у них приют, не желая жить в доме родителей-язычников.

— Дальше! Дальше!

— Вскоре твоего сына отправили в Малую Азию. Там он воспитывался у одного пресвитера, изучая разные науки. Теперь он сам пресвитер.

— Но где же он?

— Здесь, в Риме.

— Мой сын в Риме? О, может ли это быть? И я увижу снова своего сына!

Из глаз его хлынули слезы.

Магнус переживал исключительный момент в своей жизни. Руки и ноги его дрожали от волнения.

— Успокойся же, благородный Магнус, и возблагодари Бога за Его великую милость. Сегодня ты приготовь жену свою, а завтра утром я с Альбином буду здесь. Он и сам горит нетерпением увидеть вас. Хотел было идти со мной, но счел благоразумным сначала предупредить вас.

— Благодарю тебя. Да пошлет Господь и тебе всякого блага за такую весть. Но я отказываюсь верить! Мой сын жив! О, радость! Радость великая!

Пресвитер благословил Магнуса и удалился.

Старик все еще отказывался верить столь неожиданному счастью. «Слава Богу!» — восторженно шептали его губы.

Приготовить жену к этой встрече было нелегко. Агриппина была болезненная, немощная женщина, рано постаревшая от выпавших на ее долю страданий. Мало ли что могло с ней случиться?

Магнус начал с ней разговор издали. Но, как он осторожно ни повел разговор, однако Агриппина сразу поняла, что в словах мужа заключается какая-то загадка.

— Зачем ты все это говоришь, Кассий? Что значат твои слова? Не получил ли ты какого-то известия о сыне?

— А если получил? — спросил тот.

Агриппина кинулась к нему:

— Неужели это правда? Я не могу поверить!

— Успокойся, дорогая! Теперь моя очередь просить тебя успокоиться. Возблагодари Бога! Да! Наш сын жив.

Агриппина вскрикнула и почти без чувств повисла в объятиях мужа. Магнус уложил ее в постель и дал воды. Когда она очнулась, то в неопишемом волнении забросала его вопросами:

— От кого ты узнал о сыне? Где он? Как живет?

Магнус рассказал ей все, что знал от пресвитера. Агриппина изумлялась, не переставая вздыхать и плакать от радости.

Легко понять, с каким величайшим нетерпением ожидали Магнусы следующего дня. Минуты казались им вечностью. Они не спали всю ночь и почти все время молились. Наконец настало радостнейшее в их жизни утро, вознаградившее их за все. Агриппина от волнения едва могла дышать. Кассий то ходил, то садился рядом с женой и все время успокаивал ее. Но вот дверь отворилась и в атриум вошел сначала тот же пресвитер, а за ним появился молодой мужчина лет за тридцать, с небольшой бородкой, стройный, красивый. С трудом можно было узнать в нем Альбина. А он, лишь только увидел родителей, стремительно бросился к ним со словами:

— Отец! Мама! Вот и я! Мир вам! Как я рад!

Магнус и Агриппина, только завидев сына, одновременно простерли в нему свои старческие руки и зарыдали, не в силах сдержать волнения и эмоций. Альбин прижал к себе дорогих родителей, трепещущих и радостных от несказанного счастья.

— Сын мой, ты ли это? Ты ли, радость наша?

Агриппина едва помнила себя от избытка чувств. Ноги ее подкашивались. Она была близка к обмороку. Плакал Альбин, утирал слезы и пресвитер. Плакали и рабы, свидетели этой трогательной встречи.

— Я несказанно рад, что снова с вами! Простите меня за мой давний побег, который причинил вам столько страданий.

— Сын мой, и ты еще просишь у нас прощения! Мы виноваты, что принудили тебя к этому. Но то была власть тьмы, а теперь и мы просветились светом Христовой веры.

— Все знаю. И это мое великое счастье. Знаю, что Домицилла умерла в Сицилии с именем Иисуса на устах. И за это хвала Богу.

Родители все еще не верили своему счастью и глаз не могли отвести от любимого сына.

— Ты ли это, Альбин? — поочередно повторяли они, глядя на него. — Тебя ли видят наши старческие глаза? Какое счастье! Как благодарить нам милосердного Господа? Теперь, воистину, можно сказать: «Ныне отпускаеши раба Твоего, Владыко!».

— О нет! — с живостью возразил Альбин. — Поживите еще ради меня. Ведь я остаюсь в Риме. Наша церковь из города Эфеса разрешила мне поселиться здесь и покоить вашу старость. И я считаю своим долгом всегда теперь быть с вами.

— О, дивный Господи! Как нам благодарить Тебя за это счастье, за это утешение, которое Ты

даровал нам на старости! Приими от нас, грешных и недостойных, искреннее, от всего сердца благодарение и хвалу.

В атриуме настала тишина. Ангел мира и радости тихо осенил своими крыльями этих троих людей, переживающих счастливейшие моменты в своей непростой, но просветленной жизни.



Распни Его

Из библейских рассказов

1

Симон Кириянин[45] был богатый и уважаемый человек. Ближайшие из побережий моря, населенные рабами, составляли его неотъемлемую собственность. Его дом был переполнен золотой утварью, мраморными изделиями и предметами роскоши.

Его корабли ходили даже по водам Евксина[46], доставляли фрукты, зверей и корнеплоды во все города Старого Света[47], из чего он извлек громадную прибыль.

Отец Симона приехал в этот город, когда Симон был маленьким ребенком, искать счастья, которое здесь ему действительно улыбнулось. Поэтому он и остался на чужбине и умер вдали от родного края и своих близких.

Симон получил от отца громадное наследство и обширную торговлю. Он не думал о возвращении на родину. Его богатство росло, жил он в довольстве и забыл свое отечество. В городе Иерусалиме Симон был когда-то женат, но овдовел; он имел от брака двух сыновей, Александра и Руфа, о которых не особенно беспокоился.

Он не любил своей первой жены, на которой женился по принуждению отца потому, что она была дочь богатого купца, и похоронил ее без грусти и сожаления. После ее смерти он не женился по еврейскому обычаю на второй жене, находя это лишним, так как вел разгульную жизнь в обществе красивых кириянок и находился постоянно среди пиров, забав, песен и плясок.

Под влиянием и впечатлением всего окружающего его Симон надолго забыл о вере своих отцов, которая казалась ему не только странной, но и чересчур сложной. Убежденный последователь языческой философии, он больше всего увлекался древнегреческой философией Аристиппа[48]. Учение, которое Симон познал в Киренах, заключало в основе своей постулат: «Жить и веселиться, веселиться и жить!». Однако во время жизни Симона Кириянина школа

уже начала колебаться и расшатываться, так как последователи этого учения решили, что для человека мало этих основ, и после продолжателя учения Аристиппа Гегезия[49] учение уже не имело ни одного теоретика и эпигона[50]. Несмотря на это, молодежь пользовалась идеалами Гегезия. К таким лицам принадлежал и Симон, хотя он был уже немолодой. Богатство кириейца давало ему возможность широко жить. В счастье ему везло, и все шло как по маслу...

Но однажды к нему привезли из какой-то еврейской семьи близкую родственницу Лию, родом из Иерусалима. Она недавно осиротела, и на долю Симона как ближайшего и богатого родственника пал жребий быть ее опекуном: так требовалось по еврейским законам. Симон принял ее весьма радостно и заботился о ее устройстве, он любил разговаривать с нею, потому что она напоминала ему родину, которую он давно не видел, почти с раннего детства.

Красавице Лие исполнилось пятнадцать лет. Она была очаровательна, и поэтому, быть может, он часто беседовал с нею и отличал ее от других. Беседы эти с каждым днем делались все продолжительнее. Наконец у Симона дрогнуло сердце. Он забыл, что ему уже за сорок лет, и, почувствовав под влиянием нахлынувших чувств силу молодости, искренно полюбил Лию.

Ввиду того, что их браку ничто не препятствовало, он решил на ней жениться. Однако Лия вдруг скоро занемогла. Она жаловалась на головную боль и лихорадочное состояние, но старалась оставаться веселой и еще некоторое время выглядела счастливой. Симон не обращал внимания на ее жалобы и даже шутил и смеялся над ее болезнью и над нею самой, но прекрасная Лия делалась с каждым часом все грустнее и печальнее. Наконец она перестала говорить и ни на что уже не жаловалась. На лице у нее проявилась теперь горячка и показались красные пятна, которые очень обеспокоили Симона Кириейнина. Тогда Симон пригласил врача-грека, славившегося мудростью. Старик не замедлил прийти; он посмотрел на Лию, взял ее за руку, покачал головой, но никакого лекарства не прописал, а только обещал зайти завтра. Утром Лия уже скончалась, и его помощь не понадобилась.

2

Смерть Лии была ужасным ударом, которого Симон никак не ожидал. Счастье всегда улыбалось ему, в особенности в последнее время, и вдруг все пропало, все кончилось, все исчезло и рассеялось как дым навеки. Но он не хотел верить своему несчастью: «Не может быть, чтобы Лия умерла, ведь я еще вчера беседовал с нею. Нет, это неправда.., этого не могло случиться с нею...».

Узнав о смерти Лии, в его дом сбежались кириейцы. Каждый из них стремился удовлетворить свое любопытство, посмотреть и на покойную, и на страдавшего Симона: время от времени он закрывал лицо руками и горько плакал. На третий день показались очевидные признаки разложения умершей, поэтому Симон уже не препятствовал ее погребению.

После похорон он не решился вернуться в опустевший дом, на это у него не доставало ни сил, ни духа, ни отваги. Когда Лия поселилась у него, она всегда жизнерадостная встречала его на пороге, а сегодня... Где она? Кто его встретит? От этой тяжелой мысли он, не в силах вынести одиночества, побрел на морской берег, чувствуя в сердце полнейшее опустошение. Мир, который всегда улыбался ему, теперь сделался чуждым, и ему казалось, что в этом мире нет для него места.

Так он стоял, измученный и усталый, на морском берегу, а его истомленный взгляд бродил поочередно то по звездному небу, то по безбрежному океану, волны которого по временам шумели и как будто зализывали его рану.

С моря дул свежий ветер, но Симон не чувствовал холода; он словно окаменел и, опершись на гранитную глыбу, стоял на берегу как изваяние.

3

— Равви![\[51\]](#) — робко окликнул его один из слуг-невольников, незаметно подошедший к нему.
— Твой корабль сегодня отходит в Сирию, и некоторые из твоих слуг желают поехать на нем в Иерусалим на Пасху. Не будет ли каких распоряжений или приказаний?

Симон повернулся к нему и спросил:

— В Иерусалим? Ведь на этом корабле приехала к нам Лия!

— Да, господин!

— Пусть капитан бережет этот корабль, он дорог мне воспоминаниями. Ступай, других распоряжений не будет.

Управляющий-невольник сочувственно посмотрел на хозяина, постоял немного, вздохнул и ушел. Он был уже далеко, как вдруг послышался голос Симона. Очевидно, он принял какое-то решение:

— Пойди и приготовь все, что нужно в дорогу, а когда все будет готово, проводи меня на корабль, я тоже еду в Иерусалим. Ведь это ее и моя родина. Теперь для меня все здесь неинтересно. Все погибло, и все кончено.

Слуга кротко посмотрел на своего господина и, не посмев возразить, удалился.

Через несколько часов Симон, стоя уже на палубе корабля, заметно волновался.

Над его головой был все тот же небесный свод, который он созерцал недавно, стоя на берегу, и те же волны шумели у его ног. Но если бы они поглотили его, то и тогда ему едва ли стало бы легче.

Глядя по направлению главного города Ливии Кирен, который когда-то был для него прекрасным и веселым, он вдруг призадумался. Он смотрел в сторону кладбища, на котором похоронил ту, которая была ему бесконечно дорога, и начал упрекать себя в том, что так скоро покидает эту местность. Поднимая свои измученные глаза к небу и пронизывая ими звездный небосклон, он думал о том, как бы ему не забыть Лию.

Перед утром сон смежил его глаза, объял дремотой все члены, и ему казалось в это время, что все случившееся с ним — ложь и он по прежнему счастлив.

4

Так проходили дни за днями, и вот однажды матросы оповестили его, что уже видна земля — конечный пункт их путешествия. Симон несколько не обрадовался, напротив, очень опечалился. Ему хотелось плыть и плыть неизвестно куда, только бы не к берегу.

В Иерусалиме Симон чувствовал себя совершенно чужим, он не знал здесь никого, кроме Никодима[\[52\]](#), с которым был дружен, имел дела и вел переписку как с богатым купцом, своим родственником и членом синедриона[\[53\]](#).

Действительно, Никодим был далеким родственником Симону и навещал его по временам в Киренах. Поэтому Симон направился к нему. Никодим принял его с распростертыми объятиями и, когда Симон поведал ему свое беспредельное горе, утешал его, уговаривая подчиниться воле Божией и быть рассудительным...

В ходе разговора между прочим Никодим упомянул о будущей счастливой жизни, без страдания и печали, когда душа наша явится перед Ликом великого Иеговы[54] — Бога. Симон слушал его внимательно. Нужна ли была ему эта проповедь? Ему, Симону, пропитанному до костей философией язычества? Но Симон слушал. Далее Никодим сообщил ему то, что окончательно поставило Симона в тупик. Никодим сказал Симону, что в Иерусалиме явился обещанный Пророк, Мессия, и что скоро настанет время царства Израиля, которое будет бесконечным. Весь город говорил о Назарянине и о том, какое чудо совершил Он в Вифании: воскресил Лазаря. «Иисус, — рассказывал Никодим Симону, — навестил сестер покойного, и одна из них сказала Ему: “Господи, если бы Ты был здесь, то не умер бы брат мой”. Христос заплакал, ибо Он любил покойного, и тогда в присутствии многочисленного народа, который шел за Ним, воскресил мертвого Лазаря из гроба и возвратил его сестрам».

Симон превратился весь в слух.

— Это неслыханное, невиданное чудо! — прибавил Никодим. — Ни один из пророков не сделал ничего подобного — ни Илия[55], ни Елисей[56], — ведь тело уже разложилось. А до этого совершилось еще одно чудо: Он заставил прозреть слепого от рождения. Поэтому неудивительно, что в Иерусалиме все закипело и заволновалось, народ во всеуслышание называет Его Мессией и Царем Иудейским. А синедрион настолько обеспокоен, что первосвященник Каиафа уже предложил синедриону арестовать Его и убить. Но едва ли это удастся.

Так говорил Никодим. Однако последние слова Симон уже не слышал: он был поглощен мыслью о том, что если Христос воскресил Лазаря, то, может быть, возвратил бы ему Лию. Наверное, именно поэтому великий Бог Иегова направил Симона в Иерусалим.

5

Глаза Симона загорелись, и он весь залился краской. После некоторого колебания он открыл свою душу Никодиму и высказал ему свои мысли. Никодим смотрел на него с состраданием.

— О, если бы Он только пожелал, то возвратил бы мне Лию, — простонал Симон.

— Да! — воскликнул Никодим. — Господь — Всемогущ и для Него все возможно! Христос воскресил не одного Лазаря. Проникнутый сожалением к бедной вдове, Он воскресил и ее сына.

Лицо Симона горело как огонь.

— Умоляю тебя, Никодим, — воскликнул он, — я очень любил мою Лию, помоги мне, я не смею пасть к ногам Мессии.

— Слушай, Симон, — ответил Никодим, — ты веришь, что Христос — обещанный нам Мессия и что Он — воплощенный Бог? Ведь если Он — воплощенный Бог, значит, всемогущ и может возвратить тебе твою Лию одним Своим Божественным словом...

Глаза Симона заискрились дивным огнем; он был счастлив, и сердце его преисполнилось надеждой. Казалось, он уже видит подле себя свою любимую Лию.

— Хотя теперь уже поздно, — произнес Симон, — но, пожалуйста, своди меня к Назарянину.

В этот момент дверь скрипнула и на пороге появился невольник Никодима.

— Равви, — сказал он, — случилось нечто необыкновенное: час тому назад схватили Иисуса, называемого Христом, когда Он молился в Гефсиманском саду. Римские солдаты повели Его во двор первосвященника. Его, как говорят, продал один из учеников, и старейшины сегодня же ночью будут судить его из опасения беспорядков.

Никодим онемел; он стоял неподвижно, как будто пораженный громом; в данную минуту он не допускал и мысли получить такое внезапное известие.

— Судить? Ночью? — произнес он и, приходя в себя, сказал: — еврейский закон не допускает этого.

Так как Никодим был членом Верховного суда, он решил немедленно отправиться в собрание.

— Желаете пойти со мной, Симон? — спросил он, бледный как полотно, не смея, в страшном волнении, даже взглянуть на друга.

6

Дом Никодима находился неподалеку от дворца первосвященника Каиафы. Дворец был громадным зданием с двумя флигелями, разделенными просторным двором: с одной стороны жил Каиафа, бывший в этом году первосвященником, а с другой — его тесть Анна^[57]. Оба они горячо желали погубить Иисуса, и Каиафа первым предложил это синедриону; они не верили в Божественное посланничество Иисуса.

Никодим с Симоном быстро прошли через двор. Слуга, стоявший на карауле, объявил им, что суд уже начался. Оба они спешно вошли внутрь. В конце залы на возвышенном месте сидели Анна и Каиафа, у стен возлежали на подушках члены Верховного суда, фарисеи, доктора и священники. С обеих сторон сидели судебские писцы: один, с левой стороны, записывал обвинения и показания свидетелей, а другой, с правой стороны, только сидел и слушал в ожидании особенных записей. Далее стояла толпа фиктивных свидетелей и обвинителей с оплывшими и обрюзглыми лицами негодяев, которых суд охотно расспрашивал.

Христос стоял посреди залы. Симон с жадностью стремился увидеть Его Божественный Лик. И когда увидел, то не мог оторвать от Него взгляда. В этот именно момент он забыл даже о своей Лие.

Ввиду того, что свидетельские показания были не согласны между собой, суд беспокоился.

Христос молчал... Наконец явились еще двое свидетелей, которые сказали:

— Сей Человек изрек, что Он может разрушить храм и через три дня восстановить его.

После этого Каиафа встал и обратился ко Христу:

— Заклинаю Тебя, скажи нам: Ты ли Христос, Сын Божий?

— Аз есмь, — ответил Иисус. — Узрите Сына Человеческого, сидящего по правой стороне десницы Господа, грядущего в облаках небесных.

В конце концов и судьи замолчали, и все свидетели были переспрошены и выслушаны, но дело

не подвигалось вперед. Свидетели лгали, и нельзя было вынести приговор на основании их слов. Каиафа понимал это, но хотел настоять на своем и на виду у всех разорвал на себе ризы, что по обычаю евреев означало печаль.

— Он богохульник, и нам больше не нужно никаких свидетелей! — воскликнул он.

— Да, Он заслуживает наказания, — ответили в угоду ему некоторые члены синедриона.

На лице Анны и нескольких судей выразилась дикая радость. Тут Никодим закрыл лицо руками, но промолчал. Симон сильно возмущился. Несмотря на свою прошлую разнузданную жизнь среди роскоши и разных удовольствий, его натура, однако же, осталась впечатлительной и преисполненной чувством справедливости, и то, что теперь произошло на его глазах, ужасно тронуло и взволновало его.

«Как же это так? — думал он. — Ведь Христос ясно сказал, что Он Мессия. В подтверждение этого Он совершил много чудес, и за это вдруг Его приговаривают к смертной казни!

И кто же? — Суд первосвященников и старейшин.

Во имя чего? По какому праву? Разве Израиль для этого ожидал столько лет обещанного ему Спасителя?»

Несправедливость, односторонность и пристрастие судей были чересчур очевидными. Никодим молчал, а Симон продолжал волноваться и кипеть гневом. Ему хотелось что-либо сделать для Назарянина, но он не знал, как поступить. Наконец ему пришла в голову мысль. Он выпрямился во весь свой рост и крикнул громким голосом:

— Прочь с несправедливым приговором! Это — Мессия! Вы приговариваете к смертной казни Бога-Человека, не находя в Нем ни малейшей вины, и делаете это не днем, а ночью, когда закон запрещает нам судить, ибо и солнце скрыто перед лицом земли!

Упрек был неожиданный, но вполне правильный. Никодим с удивлением посмотрел на Симона. Анна пронзил своим взглядом незнакомца, его посинелые губы задрожали. Он хотел что-то сказать, но его перебил Каиафа:

— Еще Он не приговорен, но сегодня же перед рассветом состоится приговор над Человеком, называющим Себя Христом, Сыном Божиим, а потому приглашаю всех членов синедриона принять в этом участие и прийти в мой дом.

Слова эти успокоили собравшихся в суде. Таким образом первосвященник спасал своей находчивостью «честь» всем присутствующим судьям и членам суда. Народ начал расходиться. Страже и слугам было приказано, чтобы на следующее утро на заседание синедриона не впускали никого из посторонних.

Симон возвращался вместе с Никодимом с чувством величайшей радости оттого, что он высказал свой протест. Большого он, конечно, ничего не мог сделать для Христа, и Тот наградил его за это каким-то особенным душевным спокойствием, какого он никогда прежде не знал. Это умиротворение после смерти Лии Симон испытал в первый раз. Придя домой, он заснул тихим и, казалось, безмятежным сном.

Когда Симон проснулся, солнце уже было высоко, а хозяин давно ушел из дому. Никодим,

обеспокоенный происшествием минувшей ночи, едва дождался рассвета и пошел во дворец первосвященника. Он твердо верил в Божественную сущность Христа и ожидал, что Он скоро проявит Свое могущество как Царь Иудейский, но застал Его в узах, стоящего перед Каиафой, который стремился во что бы то ни стало погубить Его. Но Никодим не понимал, за что. Притом упрекал себя за то, что ничего не сделал, чтобы защитить Христа, хотя и был учеником Его, тогда как Симон, будучи совсем посторонним, заступился за Мессию. В свою очередь Симон, как только проснулся, решил разыскать и увидеть так запавшего ему в душу Назарянина. «О, если бы я мог оказать Ему какую-то помощь или услугу, — подумал он. — Хотелось бы мне приблизиться к Нему и сказать, что моя Лия умерла...»

Симон представил, что его не впустят во дворец первосвященника; к тому же было уже поздно. Тем не менее он был уверен, что хотя приговор уже и был произнесен, но не может быть исполнен над приговоренным без утверждения его римским наместником, а следовательно, он, Симон, мог пойти прямо в преторию[58]; и он не ошибся в своем мнении. Подходя к претории, Симон заметил, что на дворе ее творится нечто необыкновенное. Он с трудом протиснулся в многочисленной толпе и остановился перед широкою лестницею, которая вела в здание претора[59].

На верхней площадке лестницы стоял человек средних лет, на женственном лице которого виднелась заметная озабоченность.

Это был Пилат[60]. Очевидно, его беспокоила и угнетала какая-то мысль; он производил впечатление человека, который желает чего-то, но не может настоять на своем. Пред ним гудела и волновалась толпа евреев.

Но где Христос?

— Где Христос Назарянин? — кротко спросил Симон у стоявшего вблизи человека, который показался ему более спокойным, нежели другие.

— Претор приговорил Его к бичеванию, — объяснил спрошенный. — Римские солдаты повели Его, чтобы исполнить приговор.

Симон опечалился и нахмурился. Он знал, что по римскому закону число ударов плетью, заканчивающихся железными наконечниками, не ограничивалось известным счетом и таковое наказание было равно смерти.

— Разве Пилат признал Его виновным? — спросил он.

— Напротив, он громко сказал, что не находит Его виновным, и потому народ волнуется.

От праведного гнева лицо Симона залилось алой краской. «Как же это так? — думал он. — Представитель римской власти, который должен наблюдать за порядком и быть справедливым, поддался голосу толпы и приговорил невиновного к такой жестокой каре?!» Симон с презрением взглянул на Пилата: теперь он понял его ложное беспокойство.

В этот момент в открытых воротах, ведущих во двор претории, появилась фигура Христа, окруженная солдатами. Евреи расступились из опасения обесчестить себя прикосновением к осужденному.

Ввиду многолюдности ворота в преторию оставались открытыми, и шествие Иисуса было хорошо видно. Симон, недолго думая, протиснулся в ворота, расталкивая праздных зевак, и пошел за солдатами. Однако по причине тесноты и давки Симон все же опоздал на место

бичевания. Пока он прошел громадный двор претории, солдаты успели скрыться со своей жертвой в подвале, и дверь в него была уже закрыта. Симон лихорадочно прижался к двери. Внутри подвала раздавались голоса и смех разнузданных солдат, очевидно, приготавливавшихся к пытке. Вслед за тем послышался свист плетей, доказывающий, что истязания начались...

8

Симон за всю свою весело и беспечно проведенную жизнь никогда не был свидетелем таких мучений. Он чувствовал отвращение к ним, избегал даже мыслей о страданиях человеческих и всему предпочитал веселье.

Но Христос произвел на него неизгладимое впечатление. Симон сразу и безоглядно полюбил Назарянина — какая-то необыкновенная и необъяснимая сила влекла его к Страдальцу. Симон был недоволен поведением Никодима, ведь он не встретил его подле осужденного Христа, хотя, как говорили, у Иисуса было много учеников. Однако Симон не увидел здесь ни одного. Симон с презрением осуждал евреев и их первосвященников, возмущаясь действиями Пилата в отношении Назарянина. Кроме того, Симона раздражали откровенная несправедливость властей и попираемые ими закон; тем не менее он был бессилён в своем желании защитить Невинного и в душе тайно изливал свою злобу на судей.

Жестокие палачи били Христа, сопровождая свои удары смехом и язвительными замечаниями. С каждым таким ударом Симон болезненно содрогался; им овладело обманчивое чувство, что эти удары сыплются на него. Он чувствовал жгучий жар по всему телу и все сильнее прижимал свою голову к двери. Ему казалось, что он слышит тихий плеск струящейся на землю Крови, и видел своею душою Христа, привязанного к каменному столбу, но не слышал ни одного Его стоны, ни одного мученического вздоха. Вскоре Симон потерял счет времени и не мог дать себе отчет, как долго продолжалась эта нечеловеческая пытка... как вдруг его толкнул сотник, посланный Пилатом для надзора за исполнением приговора. Удивленный, что он застал здесь постороннего человека, и тем более еврея, он приказал шедшему за ним солдату вытолкнуть его на улицу. Через минуту Симон, взятый римлянином за шиворот, был вытолкнут за ворота в толпу, которую он только что оставил и которая встретила его смехом, а некоторые из римлян, более запальчивые и дерзкие, даже открыто возмутились, что он переступил порог язычников-римлян, и стали побивать его и толкать в спину. В конце концов Симон очутился позади всей толпы, которая вскоре оставила его в покое, потому что на крыльце показался окровавленный Христос, выведенный после бичевания из подвала...

9

Если бы не крики народа, Симон не узнал бы Христа, до того Он был окровавлен... Тело Его было покрыто багряною пеленою вроде длинной рубашки. От страха и переживания Симон закрыл лицо руками.

— Се, Человек! — сказал Пилат глухим голосом.

— Распни Его, распни Его! — послышалось со всех сторон.

Угрозы усиливались с каждой секундой, и лица собравшихся здесь делались все страшнее и ожесточеннее, а глаза горели каким-то диким, ненавидящим огнем.

Пилат молчал...

— Распни Его, — гудела вся толпа на площади, и волнение все увеличивалось.

Вдруг Симон заметил стоящие недалеко три огромных свежесрубленных креста, на которых обыкновенно вешали или прибывали преступников. Он вздрогнул: очевидно, враги Христа были уверены, что они достигнут своей кровавой цели и настоят на своем...

Но Пилат все еще колебался и молчал.

В это время Симон увидел Анну, который давал отдельной группе людей какое-то поручение, после чего та разошлась в разные стороны и смешалась с народом. Анна до того был занят своими делами, что даже не услышал того, что Симон отчаянно закричал:

— Распять нашего Мессию?!

— Нет Мессии, есть царь! — раздались голоса с разных сторон из народа.

Симон догадался, что это кричали клеветы[61].

Анна подстрекал префекта:

— Ты не друг царя!

Пилат побледнел... и неуверенно произнес:

— Невиновен я в Крови Сего Праведника... Смотрите вы!

И слова были равносильны приговору. Народ понял смысл слов, но дико кричал:

— Кровь Его на нас и на сыновьях наших! Распни Его!

Христос был приговорен!.. В тот же момент солдаты свели Его по мраморным ступенькам с крыльца. Он шел медленно и смиренно, оставляя следы Божественной Крови по дороге смерти. Как только Он сошел с лестницы, на Его невинные плечи взвалили тяжелый крест. И в то же время откуда-то появились двое других преступников, которых тоже нагрузили крестами, и толпа двинулась в скорбный путь...

10

Симон пошел за Христом. Он был бледен, душа его была истерзана. Симон никогда не мог ожидать, что будет свидетелем такого ужасного позора. Пройдя некоторое расстояние по направлению к Голгофе, он встретил Каиафу с его тестем Анной. Они шли с видом триумфаторов и время от времени оглядывались во все стороны, как будто боясь, чтобы их жертва не ускользнула от них.

Симон шел молча. Им овладевали разные чувства. Все его прошлое предстало перед его глазами. При этих воспоминаниях ему сделалось стыдно, его совесть проснулась и он стал, неожиданно для самого себя, упрекать себя в разгульной, ничтожной, праздной и бесцельно проведенной жизни среди шума, забав, расточительности и роскоши. Подняв голову, он вдруг встретил взгляд Иисуса. Христос внимательно посмотрел на него и как будто шепотом, тихо и призывно произнес: «Гряди за Мной». Слова Невинного Страдальца так пронзили душу Симона, что он готов был теперь сам умереть на кресте, который видел перед собой, заменив Христа, или, по крайней мере, умереть вместе с Ним. Он позавидовал даже участи двух преступников, приговоренных к казни одновременно с Иисусом.

Вдруг кортеж остановился: улица начала сужаться; на углу ее Симон увидел группу женщин;

кто-то в толпе произнес, что среди них находится Мария, Мать Иисуса Христа. Симон едва взглянул на Нее и в ужасе закрыл глаза. Он прочел на лице Марии такое невыразимое человеческое страдание, от которого у него на несколько минут перехватило дыхание и затмило ум, так что он не посмел бы более смотреть на Нее. Ему вспомнилась хрупкая Лия — и его страдания показались ему такими ничтожными и мелочными, что ему сделалось совестно за них.

Толпа опять загудела и двинулась вперед, но Христос, пройдя всего несколько шагов, упал вдруг под тяжестью огромного креста. Он ударился головой о землю. Его Божественный Лик вновь обагрился Кровью — из растерзанных терновым венцом ран Его сочились и стекали на землю кровавые слезы.

В этот момент одна из немолодых женщин, сопровождавших Марию, быстро подошла ко Христу и, сорвав чадру из тонкого египетского полотна со своего лица, отерла им Божественный Лик, так быстро, что солдаты даже не успели воспрепятствовать ей. Это была Фаустина[62] — кормилица императора Тиверия — беспощадного и жестокого правителя Рима...

Анна, увидев это, грозно нахмурил брови, а римские воины грубо оттолкнули женщину, бросились на Христа и стали пинать Его ногами, чтобы Он встал. Но Каиафа охладил их усердие; он боялся, как бы Иисус не умер по дороге и не избегнул страданий на кресте.

Вдруг Каиафа увидел стоявшего подле Христа Симона и моментально воспылал желанием отомстить ему за ночное заступничество в синедрионе:

— Вот человек, который охотно понесет за Него крест! — сказал с иронией первосвященник, указывая на Симона. — Положите ему крест Назарянина на плечи!

Взоры всех обратились на киринецца, и не успел он оглянуться, как почувствовал на своих плечах тяжелый окровавленный крест. Каиафа торжествовал.

Симон не смел даже взглянуть на окружавших его людей; ему казалось, что тысячная толпа жадно пожирает его своими глазами и эти взгляды испепеляют его ненавидящим огнем. Он шел тяжелою поступью, поддерживая голгофский крест руками, чтобы облегчить своему плечу невыносимую тяжесть. Так он шел какое-то время по дороге, пока опять не встретился глазами со Христом, Который обернулся к нему. И в этом взгляде Симон увидел столько невыразимой любви и сострадания, что забыл о своем позоре; он с вызовом посмотрел на толпу и почувствовал себя счастливым, оттого что смог помочь несчастному Назарянину. И опять ему показалось, что он слышит Его слова: «Гряди за Мной!».

Наконец шествие закончилось. Когда палачи сняли с плеч Симона крест и приступили к приуготовлению распятия Сына Божия, Симон в бессилии упал лицом на землю и горько и безутешно зарыдал. Через минуту он услышал беспощадный стук молотков, доказывавший, что Жертва прибавалась ко кресту. Еще через минуту раздалась перебранка солдат, за нею глухой стук подножия креста, опускаемого в заранее приготовленную яму, и громкий, бешеный рев многотысячной толпы. И в этом крике Симону послышались те же слова, которые он уже слышал у крыльца Пилата: «Кровь Его на нас и на сынах наших»[63]. Христос был прибит и поднят на кресте...

кресту белую доску с надписью: «Иисус Назарянин, Царь Иудейский».

«Ах! Вот какой Царь Иудейский и вот какой Его престол!» — подумал Симон, ведь он представлял себе величие царя Израиля в блеске земной славы!.. Он сам всегда пировал в венке из цветов на голове, а здесь... стоял на коленях перед обнаженным Царем, распятым на кресте в терновом венце. «Значит, это признак Его царственности?! Но если Он Царь, то где же Его двор и Его свита?.. Где подданные? Не евреи же, которые и теперь еще бросают в Него грязью и камнями и оскорбляют Его даже умирающего на кресте! Разве только эта маленькая группа женщин и один из учеников, которые стоят у креста в глубокой жалости, отчаянии и скорби?»

Симону пронзительно захотелось тоже принадлежать к этой скорбной группе, а если этому быть, то стоило ли ему и дальше вести свою беззаботную и никчемную жизнь? Ему, верноподданному Царя, коронованного терновым венцом?.. Да, надо жить, чтобы доказать этой разъяренной толпе, ликующей у подножия креста, что Христос — поистине Царь и Своими страданиями исполняет волю пославшего Его Отца. Надо научиться чтить и прославлять Этого невинного Мученика, найти поборников Его идей и быть последователем Его учения — по примеру, который Он преподавал народу, и из любви к Нему служить своим ближним и всем людям.

С особой отчетливостью и ясным сознанием Симон понял, что был свидетелем казни Христа — не просто Человека, а Царя и Бога!

С шестого до девятого часа все померкло на этой земле — содрогнулись скалы и открылись гробы...

И толпы народа, стоявшие здесь и смотревшие на это страшное зрелище, обращались на путь истинный со словами «Истинно, Это Сын Божий!».



Сказание о жизни святой Моники и «сыне слез» ее, блаженном Августине

Так рассказывал нам старый монах-августинец в белой галерее над морем, в тихий час заходящего солнца...

Сегодня я буду повествовать вам о страданиях и скорби святой Моники.

Однако мне не придется говорить вам о том, как претерпевала она мучения и пытки от руки жестокого палача или как томилась голодом и жаждою в мрачных подземельях темницы... Ибо Моника жила в то время, когда уже воссиял свет Правды и более трех веков все громче и громче повторялось целым миром имя Христа, а десница гонителей ослабела от своих бесплодных усилий.

Но поведаю я вам о горших муках, какие терпело сердце матери, видя гибнущую душу возлюбленного сына своего и не имея, как ей казалось, сил спасти его.

Чистые источники материнских слез омыли мятущуюся душу ее сына Августина. Чтобы возродить его к жизни истинной, святая Моника испытала гораздо больше мук, нежели когда в

мучениях рожала его.

На северном берегу Африки, там, где морской ветер умеряет жар пустыни, среди лимонных, оливковых и пальмовых рощ, на почве плодородной, подобной той, что воспевал Вергилий[64], говоря, что там люди так же прекрасны, как прекрасны пышные жатвы, в городе Тагасте и родилась Моника.

Не очень богато, но с достатком жили родители Моника. Они не утомляли себя излишним рвением к вере Христовой и думали о мирских радостях. Дочь свою они любили и нежили главным образом потому, что красотой она затмила всех своих сверстниц. С раннего детства утешались родители необыкновенной красотой дочери и гадали о ее будущем.

Заботливая мать не оставляла опочивальни ребенка, прежде чем сама не развесит у всех входов пахучей белой мяты, чтобы, по поверью, завистливый вампир не выпил красоты Моника и не согнал нежного румянца с ее щек. Мать всячески пеклась о здоровье малютки.

В этой семье жила старая служанка, вскормившая еще отца Моника. В молодости она, по обычаю женщин Тагаста, носила своего питомца за спиной, кормила, лелеяла его и вырастила на славу всем. Ныне же она была стара; ослабли ее руки и плечи, уже не могла она носить маленькую Моника, но носила ее в своей душе. И не молоком своим поила ее, но добротой и благотворной строгостью. Млеком и медом речей своих питала старая няня душу ребенка.

Тихо возрастала Моника среди розовых кустов и виноградников Тагаста, внимательно прислушиваясь к великой тайне, разлитой вокруг нее, и по мере того, как открывались ее глаза, все больше видела она правды.

Сердце ребенка было полно искренней доброты и любви к миру и людям.

Мать кормила ее своим молоком до двухлетнего возраста, и еще не лепетала Моника, а уже приносила матери своих кукол из слоновой кости и глины и знаками просила, чтобы их накормили...

Когда же подросла она, старая служанка внушила детскому сердцу горячую любовь к бедным и обездоленным. Лучшей радостью для Моника было тайно накормить голодного. По праздникам же, когда нищих и убогих созывали на трапезу в их дом, она сама омывала им ноги и со смирением прислуживала им так же, как на знатных пирах товарищам ее отца.

Во всем повиновалась Моника своим родителям, только к одному они не могли приучить ее: к нарядам, благовониям и ценным украшениям. Тщетно приходили торговцы в длинных одеждах и развешивали свои товары во дворе их дома. Когда другие девушки спешили к ним, подобно пчелкам, слетающим на цветы, и восхищались златоткаными шелками из Тира[65] и Антиохии[66] и восточными воздушными покрывалами, цвета которых напоминали то молодые побеги мирты, то солнечные краски шафрана, то голубые волны Эгейского[67] моря, — Моника отказывалась от обновок, качая своей прекрасной головкой.

Понимала она, что под роскошной одеждой труднее сохранить сердце, способное к молитве и тоске.

Ее постоянным облачением была просторная одежда из простой белой ткани, которую сама она пряла и ткала, в то время как старая няня ее, суча нитку сморщенными руками, рассказывала ей под стук веретена чудесные истории.

Но не волшебные сказки о царских дочерях, о смелых воинах и дышащих огнем драконах рассказывала она: речи ее были — слова Господни, слова — чистое серебро, очищенное у земли, семикратно переплавленное. Поучения святого Киприана[68] или Тертуллиана[69] повторяла она и сказания о судьбе блаженных дев-великомучениц. Особенно любила Моника слушать о святой Агнессе — отроковице, которую в самом нежном возрасте оторвали от родной семьи и привели к римскому консулу и там сначала просьбами и соблазнами, а потом угрозами и пытками принуждали отречься от Единого Бога и хотя бы только одну жертву принести идолу. Но блаженная Агнесса поднимала руку лишь для того, чтобы сотворить знамение креста, и так к белым лилиям своей непорочности прибавляла колючие терновые ветви своего мученического венца.

Вздыхала Моника, слушая эти рассказы, и слезы падали из ее глаз на пряжу. А в глубине души она завидовала невесте Христовой, пострадавшей и принявшей смерть за своего возлюбленного Христа, и любовь юной Моника жаждала скорого подвига. Но иной подвиг ждал ее: медленный подвиг всей ее жизни.

Долго удавалось Монике отказываться от искательства женихов, долго соглашались любящие родители лелеять ее под кровом родным, но наконец терпение матери истощилось. Монике исполнилось двадцать лет, и соседние матроны начали посмеиваться над благородной Факуидой, что она так долго не отдает дочь свою замуж и, видимо, ожидает посла от цезаря[70]. И раздосадованная Факуида решила больше не попускать настояниям Моника, ибо девице уже подобало много раньше стать хозяйкой в своем доме и познать радость материнства.

В это время за Моника посватался Патриций, который был вдвое старше ее, и притом — язычник. Он был друг отца Моника и происхождения весьма благородного. Твердо заявила Факуида о своем намерении отдать свою дочь за Патриция. Моника побледнела смертельно и только, подобно святой Петронилле, попросила три дня на размышление.

Петронилла была девой-христианкой, жившей двумя веками раньше. Ее полюбил богатый юноша Флакк. Родители хотели принудить ее к браку. Она же мечтала сохранить девство и верность Христу. Испросив себе три дня на размышление, она удалилась в свою светлицу и там три дня и три ночи молилась, чтобы Господь указал ей путь и, если возможно, сохранил от земной любви. Наутро же четвертого дня, придя к ней, домашние увидели ее мертвой, но с улыбкой небесного блаженства на лице.

Так ушла к себе и Моника и твердо верила, что если молитва ее угодна Богу, то Он ниспошлет ей ласковую смерть. Но видя, что ни слезы, ни молитвы не спасают ее, она подчинилась своей участи и решила, что ее замужество — это испытание, которое она должна снести покорно. Старая служанка и подруги Моника трепетали при мысли о ее судьбе и плакали о ней, зная буйный нрав и развратное поведение Патриция. Однако Моника пошла под венец с сиянием чистой радости на челе, и все кругом дивились, не подозревая, что это та же радость, которая сияла на челе святой Агаты[71], когда она бросилась на раскаленные угли. В надежде привести Патриция на путь правды Моника отдавала свою чистоту, свои одинокие ночи, свои девичьи молитвы... Она оставила свою мечту быть невестою Христовой и вступила в супружеский союз с человеком грубым, властным и развратным...

Не успели погаснуть свадебные факелы, не успели завянуть зеленые ветви, украшавшие жилище новобрачных, как Патриций вернулся к своей прежней жизни.

Мать его, как и он сам, была язычницей. Язычниками были также и все слуги в этом доме. Среди них Монике приходилось через борьбу отстаивать привычный для нее образ жизни.

Патриций смеялся над ее молитвами, милостыню творить запрещал. Кроткое обхождение Моники с рабами раздражало его.

Как христианке служить Богу рядом с неверующим супругом? Если надо ей идти в храм, он ранее обыкновенного прикажет ей идти в купальни; если она должна поститься, он умышленно в этот день устроит пир; надо ли ей выйти из дому — все рабы будут заняты. Позволит ли язычник своей супруге посещать по бедным кварталам нуждающихся братьев? Потерпит ли он, чтобы она покинула его ночью для присутствия на торжественном Пасхальном Богослужении? Пустит ли он ее к Святой Трапезе? Найдет ли возможным, чтобы она крадучись посещала темницы и там целовала цепи заключенных и обмывала ноги несчастным? Откроет ли он погреб, чтобы раздать подаяние путникам?

Так жила Моника в доме своего мужа, оторванная от всего того, что так любила и к чему привыкла в доме своих родителей-христиан.

Однако, несмотря ни на что, скоро все заметили, что чело Моники все так же ясно, как в те светлые дни, когда еще девушкой пряла она в родительском саду ткани и слушала умильные рассказы своей старой служанки-няни о блаженных девах.

К изумлению окружающих, никогда не появлялась она на людях со следами побоев на лице, как большинство ее замужних подруг, ибо нравы тогда были грубы и считалось, что муж должен бить (то есть учить) свою жену. Да и не за что было Патрицию бить свою молодую жену — никогда не слышал он от нее резкого слова. Смиренной просьбой о прощении, умильным взглядом отвечала Моника на гнев и раздражение своего супруга, и грозная рука его опускалась сама собою, не в силах нанести удар по кроткому созданию. Молча терпела она его отлучки, безропотно сносила его неверность и небрежение.

И вот Господь послал ей награду — она стала матерью. Любимец и надежда ее — Августин — был сыном радости. В его детскую, еще непорочную душу старалась Моника перелить все то, что сберегла у себя в душе. Вместо колыбельных песен она говорила ему слова истины, вместо детских сказок учила любить Христа и с радостью видела, как его пылкая, живая душа принимает в себя семена правды. Но увы! Не скоро суждено было дать этим семенам пышный цвет!

А пока, опасно заболев, ребенок сам попросил мать, чтобы его окрестили, однако сделать это было невозможно, потому что в то время не крестили до момента достижения человеком сознательного возраста. Августина внесли только в разряд чающих крещения.

Когда же Августин оправился от тяжелой болезни, его взяли из нежных материнских объятий, чтобы начать обучение...

И уже вскоре Моника поняла, что ее «сын радости» стал для нее «сыном слез».

Одаренный пылкой душой и вопрошающим умом, с раннего юношеского возраста Августин стал изучать древних философов. Их учения поколебали его в искании истины, казавшейся ему слишком простой в устах матери.

В своих колебаниях и поисках истины он не мог найти отцовской поддержки. Патриций только гордился красотой юноши, его умом и редкими дарованиями и мечтал сделать из Августина великого оратора. Поэтому он решил отправить сына в Карфаген^[72], чтобы там довершить его образование.

Африканский Рим — Карфаген с белыми стенами, неоднократно разрушаемый и возникающий,

подобно Фениксу[73], из пепла в новой красоте — блистал не только ученостью, но и пышностью и веселием. Словно вырезанный из слоновой кости на финикийской синей эмали, стоял он над синим морем и не уступал по красоте ни Антиохии, ни Александрии[74].

В прекрасную гавань Карфагена стекались корабли со всего мира. Набережные города были широки и хорошо вымощены, на улицах били фонтаны, насыщая воздух алмазной пылью, осаждающейся как роса на цветах садов.

Житница Африки поставляла в другие города хлеб и скот. Караваны привозили сюда драгоценные товары, и на рынках города свершались выгодные торговые сделки. Дома банкиров сверкали мрамором и золотом. По улицам и площадям Карфагена под звуки музыки проходили процессии языческих богослужений.

Августин быстро стал звездой школы, гордостью товарищей, надеждой учителей. Но, юный и красивый, он быстро попал под влияние земных наслаждений. В вихре страсти закружился юноша, как сухой лист в потоке ветра. Он был воспитан благочестивой матерью, возвращен ее неусыпным бдением, одарен от природы добротой и умом. Как надеялась Моника, что сын ее будет иметь чистую совесть и чистую юность!

Но... отец его думал иначе.

Патриций хотел видеть в Августине блестящего сына века и одобрял его пороки, сам наталкивая на них юношу, гордясь его мужественной красотой и тем восхищением, которое вызывал его сын у женщин. Все гнусные пороки, к которым отец толкал своего сына, он считал его мужской доблестью. Когда же Патриций увидел, что Августин со свойственной ему пылкостью безудержно вступил на опасный путь, он понял, что вернуть сына уже невозможно.

Из одной ошибки юноша впадал в другую. Он рано изведal всю бурю человеческих страстей: любви, ненависти, отчаяния, ревности — всего того, что ведет за собою, как губительный кортеж, земная любовь. Надолго остался Августин ее пленником.

Душевный беспорядок наказуется помрачением ума, и однажды Августин публично отрекся от веры своего детства. Как челн, колеблемый ветром, кинуло его в пучину сомнений и безверия.

Тем временем умер его отец. Перед смертью Патриций пожелал обратиться в христианство. Так не бесплодной оказалась жертва Моника, когда она согласилась стать женой язычника. В свои предсмертные дни, когда человек становится ближе к правде, Патриций наконец понял, что одушевляло его все эти долгие годы. Он призвал к себе свою верную подругу и, целуя ее руку, сказал:

— Я отяготил тебе жизнь, Моника, а за это ты облегчила мне смерть. Ты всегда платила мне ласкою за жестокость, добром за зло. Благослови тебя Бог!

Эти слова утешили Моника. Прощаясь, супруги сплели в нежных объятиях свои руки и смешали слезы. Они плакали о том времени, когда были еще зелены свадебные ветви, украшавшие их жилище.

Моника погребла Патриция и приготовила себе место с ним рядом, чтобы после смерти лежать возле того, кому теперь суждено было быть с нею вместе в загробной жизни.

Сама же она, как лань, жаждущая найти водные источники, вернулась к той открытой благочестивой жизни, какой давно жаждала ее душа.

Она кормила, лечила и учила сирот. Ночи напролет проводила Моника у изголовья больных, напутствовала умирающих. Где было горе, где была нужда, всюду спешила она в своих вдовьих белых одеждах, окаймленных пурпурной полосой, и всюду несла утешение и свет. Свободные же часы она простаивала на коленях в том храме, куда ребенком ходила молиться со своей старой служанкой.

Моника тайно, как о недоступном счастье, мечтала о тихой жизни отшельницы в Фиваиде[75], но не могла уйти от мира, так как у нее был сын. Все взоры своей христианской души обратила она на Августина, но с ужасом видела, как он погрязает все глубже и глубже в пучине житейских пороков и страстей.

О, сколько раз завидовала она судьбам святой Симфорозы[76] и святой Филицаты[77], видевших телесную смерть своих сыновей, но спасших их от вечной гибели! Охотно пошла бы она на мученическую смерть за Августина и подставила бы свою голову под секиру палача. Она молила Бога о подвиге, чтобы спасти сына... Но возможности подвига не было.

Как-то раз, узнав о нездоровье Августина, Моника решила отправиться к нему. С холмов Тагаста, из тихого белого дома спустилась она к морю, чтобы попасть в блистательный Карфаген.

Шум и пышность городских улиц оглушили и ослепили Монику, привыкшую к тишине полей, к спокойствию храма в Тагасте, к обществу бедных и больных. Робкой чужестранкой пробиралась она по темнеющим улицам Карфагена, пытаясь найти дом, где жил ее сын.

С просьбой указать, где живет Августин, она обратилась к каким-то юношам, вышедшим из роскошной виллы. Молодые люди оказались из числа тех дерзких и распутных молодых людей, которые приезжали в Карфаген не столько для учения, сколько ради того, чтобы заставить весь город говорить о себе, подражая Алкивиаду[78]. Сами себя они называли «разрушители».

Увидев Монику, еще прекрасную лицом и станом, в белых одеждах, похожую на статую весталки[79] с римского форума, они окружили ее с шумом и хохотом.

— К Августину? Мы сведем тебя к Августину, — и с хохотом они повлекли ее в ближайшую виллу.

Напрасно отбивалась Моника от разбушевавшихся юношей. Почти с силой они втолкнули ее в ярко освещенный зал, где за остатками пира возлежали хозяин дома и его гости. И посреди полупьяных гостей и танцовщиц увидела Моника на ложе своего сына в обнимку с обнаженной женщиной, увенчанной фиалками. Шумная толпа молодежи восклицала:

— Мы привели к тебе живую статую, Августин!

Толпа расступилась, и Августин увидел Монику.

— Это моя мать! Оставьте ее! — с гневом воскликнул он и бросился к матери. Но Моника тихо отстранила его и, заплакав, ушла, не поднимая опущенных глаз на смущенных и примолкнувших гостей.

Больше она ни разу не была в Карфагене, и только смутные вести об Августине изредка доходили до нее.

И вот наконец до матери дошло ужасное известие — ее сын Августин поддался грубой ереси манихеев[80].

Моника не хотела верить этому и ждала возвращения Августина в Тагаст, чтобы самой узнать о нем всю правду. Когда сын приехал в дом к матери, она с первых слов их свидания поняла, что сын ее не только не христианин, но поклонник ереси манихеев. Члены секты, в которую вступил Августин, под видом религии предавались разврату и кощунству.

Дрожа от негодования, указав сыну рукой на дверь, Моника сказала:

— Не входи более в дом матери твоей! — а сама удалилась к себе и рыдала, пока не заснула.

И тут Моника увидела сон, будто сидит она на узкой ступеньке и продолжает горько оплакивать своего сына. В это время к ней подходит светлый юноша и спрашивает:

— О чем плачешь?

— О сыне! — отвечает она.

— Не скорби! Где ты ныне, там и он будет! — успокаивая, утешал ее юноша.

И действительно, оглянувшись, она увидела, что ее сын рядом с ней.

Когда Моника пробудилась, душа ее была полна горячей надежды и любви к заблудшему сыну. И, невзирая на то, что едва еще первые лучи солнца озарили землю, кинулась Моника в дом, где жил Августин, и сказала ему:

— Кем бы ты ни был, я не уйду от тебя, ибо знаю: где я ныне, там и ты будешь!

Августин поселился в Тагасте, но не у матери. Жил он со своей возлюбленной, вольноотпущенницей, которую привез из Карфагена. Звали ее Амата, что значит «любимая». Жениться на ней он не мог, но связь эту считал нерасторжимой и сына греха своего назвал Адеодат, что значит «Богом данный». И Моника не противилась этому, ибо не могла она (после своего сна) и дня прожить, не видя сына. Часто тайно навещала она грешную женщину, державшую Августина в плену своих объятий, и старалась научить ее правде.

Как-то один святой старец сказал Монике:

— Не скорби о сыне, сын от стольких слез не погибнет!

Этой верой и жила Моника. Она часами со слезами на глазах молилась в городском храме, не переставая надеяться, что вымолит сына.

А Августин предавался радостям земной жизни, как будто эта жизнь никогда не должна была прекратиться. Философские беседы, чтение поэтов, прогулки в пригородных рощах, банкеты, бани, игры с друзьями, ласки женщин — все это сменялось одно другим. Легким роем, гирляндой наслаждений и веселым хороводом шли дни молодого человека, пока не постигло его истинное горе: смерть самого любимого друга.

Отчаяние от этой потери наполнило его сердце мраком. Все, что он видел вокруг: родной дом, мать, близких, — было для него страданием. Все, что нравилось ему в присутствии друга, стало пыткой после его смерти. И сам себе он стал в тягость. Одни слезы еще услаждали его.

Банкеты, песни и игры, даже солнечный свет казались ему беспросветным мраком. Он устрасился того, что увидел после смерти дорогого друга, которого считал половинкой своей души. Он удивился, как живут другие люди после смерти своих близких. Он не мог больше

работать, забросил занятия. Тоска съедала его и гнала из родных мест.

Он снова покинул Тагаст и вернулся в Карфаген, но был уже не в силах предаваться наслаждениям. Он стал писать. Думая о своем друге, он написал трактат «О прекрасном». Думая о прекрасном, он не мог не думать о вечном. И тут с особой силой разгорелась в нем жажда истины. Приверженность его к манихейству давно уже пошатнулась под влиянием изучения математики, указавшей ему всю грубую ложь, которой украсил Мани свое учение. Но еще в страстном желании услышать ответы на свои «зачем» Августин пошел к епископу манихеев, многопрославленному Фавсту. Фавст мог дать ему только пустые, хотя и красивые, слова, в которых молодой человек тщетно искал утоления жажды истины.

Разочарованный Августин порвал с манихеями и остался в полном мраке сомнения, даже без блуждающего огня ложной истины. Было разрушено все старое. Нового не было ничего.

Тогда, гонимый вихрем сомнений своих, думая, что, может быть, найдет истину в Риме, считавшемся тогда светочем мира, Августин решил уехать из Карфагена.

Когда Моника узнала, что сын ее думает искать правды в Риме, она с горечью ужаснулась. Для нее языческий Рим был тем страшным городом, где гонители Христа до сих пор еще водружали свои знамена, где волны христианской крови сделали навеки мутными воды Тибра[81]. Она боялась, что в Риме сын порвет с нею всякую связь. И снова бросилась она в Карфаген, нашла Августина и со слезами, с отчаянием обхватывая руками колени сына, молила его не уезжать, не покидать ее или уж взять с собою. Она готова была все покинуть для него; подобно орлице, защищающей птенца крыльями от стрел, она хотела защитить его своей любовью.

Боясь ее скорби и слез, Августин для виду согласился не уезжать. К тому же сильная буря задерживала судно в гавани. Он сказал матери, что проводит только своего друга Алипия, уезжающего этим кораблем, но мать не отступала от них и до ночного мрака под дождем, под порывами ветра в тревоге не покидала их.

Наконец Августин убедил мать отдохнуть хоть немного до утра. Но спать она была не в силах, лишь только вошла помолиться в стоявшую на берегу часовню во имя святого Куприяна[82].

Августин обещал прийти за ней через некоторое время, подкрепившись сном, и она отпустила его, жалея его слабость, как в детстве, и желая ему счастливого сна, а сама долго лежала на каменном полу и молилась за своего сына.

Когда же первые розовые лучи солнца осияли стены часовни и немного успокоившееся море заалелось после бури, удивляясь, что сын не идет за ней, вышла Моника из часовни и узнала, что корабль отплыл и на нем отплыл Августин.

Долго предавалась отчаянию Моника, покинутая сыном на берегу моря. Ветер развеивал ее волосы, крутил ее покрывало. Волны пенясь забрызгивали ее ноги. Но она не замечала ничего вокруг, подобно обезумевшей, а простирала и простирала руки вслед исчезнувшему вдали кораблю, звала сына теми нежными именами, какими звала его в детстве, пока в изнеможении не упала на камни.

Прошел год одинокой жизни в Тагасте, пока Моника не узнала о тяжелой болезни ее сына. Сердце матери не выдержало: все простила она обманувшему ее сыну, продала то небольшое, что у нее было, простилась с гробницей мужа, в последний раз преклонила колена в родном храме и навсегда покинула цветущие рощи Тагаста.

Тяжел и труден был переезд до Италии. Сильная буря свирепствовала на море, и на корабле царили смятение и страх. Даже закаленные моряки думали, что пришел их последний час: одни молились, другие проклинали жизнь. Одна мать знала, что им не суждено погибнуть и что Господь даст ей возможность насытить ее очи обликом сына. Подобная белому ангелу в своих белых одеждах, ободряла она моряков, наклонялась над страждущими и долго-долго молилась, воздев руки к небу, пока другая Мать — Звезда морей Пречистая Мария — не отвратила от них гнева бури и не ввела их корабль в тихую пристань.

Не кончились этим скитания Моники. В Риме она узнала, что сын ее отбыл в Милан. Моника последовала за ним в Милан и уже там наконец обняла Августина.

В Милане в это время жил великий и святой человек — епископ Амвросий[83]. На него бедная мать возложила все упование и надежды на спасение сына.

Бросив чтение книг Платона[84], долгое время наполнявшее ум, Августин принялся за изучение других книг. Уже читая Платона, проникся он духовной сущностью Бога и бытием Его глагола, но не мог еще постичь ни любви, ни самопожертвования Воплощенного Глагола. Философские книги Платона провидели свет, но не смогли показать Августину Бога, Коего сам Платон не знал. Не мог по книгам этого философа Августин увидеть Бога таким, каким потом полюбил Его — бедным, смиренным, любящим человека до того, чтобы жизнь Свою отдать за него. Не познал еще Августин высшее воплощение Бога на земле — Бога, имя Которому — Любовь!

Другого вождя надо было Августину.

И невидимая рука заставила его открыть Послания Павла. «Не быть медью звенящею» (ср. 1 Кор.13:1) жаждал он, но, как достичь этого, еще не знал.

В это время рядом с Августином совершилось чудо, которого он не заметил. В душе его подруги пробуждалось сознание своей греховности — греховности той жизни, какую они вели. Неоднократно прокрадывалась она за Моникой в церковь и слушала великие слова Амвросия, призывающие к чистоте и небесной радости? — слова, подобно солнечным лучам озаряющие мрак ее души.

За Моникой робкими устами повторяла она слова псалмов, воспеваемых Амвросием так сладостно, что враги его, ариане[85], утверждали, что он околдовывал людей волшебными песнями... Завидуя Монике, носила Амата тайком подавание бедным. Она тайно дивилась кроткой ясности, которой полны были глаза Моники, несмотря на ее горькие материнские слезы, пролитые на ночных молитвах. Амата видела рядом с собой мятущуюся душу Августина, которой не было покоя, не было ответа; она видела его бессонные ночи, его отчаяние, которое не могли прогнать ее ласки, и понимала, что она не может дать ему счастья. Она пришла к Монике, в первый раз назвала ее матерью:

— Мать моя! Я хочу посвятить остаток дней моих тому, чтобы вымолить покой душе моего возлюбленного. Я столько лет держала его в плену земной любви; пора узнать ему любовь небесную, о которой я услышала. Я уйду в монастырь, ты же воспитай моего сына Адеодата так, как не может воспитать грешная мать.

И с этими словами Амата упала на колени перед Моникой, прося прощения, что отнимала сына у нее и у добродетели, которой алчет его мятущееся сердце.

Но Моника сама поцеловала ее руки и проводила в святую обитель, как провожают детей. В

монастыре Амата окончила свои дни, и за ее любовь ко Христу и искреннее покаяние простились ей все грехи.

Уход ее для Августина был потрясением и горестью. Но, думая, что голод душевный можно обмануть земными наслаждениями, он кинулся снова в водоворот кипучей жизни и хоть земную, но верную любовь своей подруги заменил продажными ласками. Но от этого он скоро очнулся, полный ужаса и отвращения к себе самому, и тут, задыхаясь во мраке собственного отчаяния, был он ближе, чем когда-либо, к полной смерти души.

На крыльях любви возносилась за него молитва матери... Раз Августин сидел с другом своим Алипием в небольшом саду, прилегавшим к его дому, и оба молчали в том единении дружбы, когда слова излишни. Но у обоих было тяжело на душе. В это время пришел к ним старый товарищ их Виндициан, которого они не видели несколько лет. Он много путешествовал и видел много людей; начал он рассказывать Августину о многом, чего тот не знал в своей светской жизни. Именно о том начал говорить он, чего жаждала и искала душа Августина, как часто это бывает, когда Провидение направляет нить разговора с тем, чтобы дать нам ее в руки, подобно путеводному клубку Ариадны[86]. Когда Августин сказал, что стремится он к делу правды, хочет подвизаться, но кругом себя видит одно тление, — тогда ответил ему Виндициан: «Не туда смотришь, друг». И стал говорить о том, что много кругом подвижников и людей веры, не менее, чем во времена Павла, что не видят этого только добровольно закрывающие глаза.

Товарищ рассказывал об отшельниках Фиваиды; о блестящих юношах, удаляющихся от мира, чтобы из друзей цезаря стать друзьями Господа, о храбрых воинах, идущих служить бедным и страждущим, о прекрасных юных девах, с улыбкой отрекающихся от земных радостей, чтобы посвятить себя младшим братьям, и о чистой радости служения Богу и общения с Ним, о радости, которая ждет всякого совлекшего с себя ветхую одежду страстей и пороков, чтобы одеться в нетленный виссон[87] непорочности и мудрости. Много говорил он, а когда ушел, дело его было сделано, подобно делу пахаря, взрыхлившего землю для чудесной жатвы; поднялся Августин и обратился к Алипию в волнении:

— Что мы делаем? — сказал он. — Слышишь ты, что мы делаем? Нищие наследуют Царствие Божие, а мы, мы, с нашими познаниями, с нашей мудростью — мы стыдимся последовать за ними?!

Сердце его было переполнено. Слова Виндициана вызвали в нем жгучее сожаление о даром протекших годах с той самой минуты, когда впервые от прочтенной книги Цицерона[88] пробудилась в нем жажда истины, о годах, которые проблуждал он в зыбучих песках неверия и ложных учений.

И настала для него минута решительная, последняя минута борьбы с Богом — подобно Иаковлевой[89].

Вся сила его души толкала его к истине, кричала ему «смелей», и казалось ему, что вот-вот порвется цепь, приковавшая его к прежней жизни; но одно звено еще оставалось и не пускало его, и страх наполнил его сердце.

Подобно улыбающимся теням, обступали его видения прежних наслаждений, все то, от чего он должен был отречься, вступая на новый путь. В бьющихся висках его звенела нежная музыка, лепестки роз касались пылающего чела, и легкие руки ласкали его, и благовония веяли на него, и тысячи голосов спрашивали его:

— Сможешь ли ты жить без нас?

Но тут же чистые и белые, как Божье войско, выступали другие образы: дети, юные девушки, женщины во цвете лет, отдавшие себя смирению, чистоте и бедности.

И образ матери его, непорочной и сильной духом, встал ближе всех и сказал:

— Или ты не в силах сделать то, что делают улыбаясь эти девушки, эти слабые дети?

И стыдно стало ему. И он удалился от Алипия, и, закрыв лицо руками, упал на землю под фиговым деревом в тени его звездчатых листьев, и заплакал:

— Доколе, Господи? Доколе! Отчего не сейчас?

В это время нежный детский голос над самым его ухом явственно произнес:

— Возьми и прочти! Возьми и прочти!

Словно повинувшись нездешнему приказанию, невольно схватился Августин за книгу, лежавшую рядом с ним, и вот что он прочитал, на чем остановился его взгляд:

«Не живите в пиршествах и разврате, в наслаждениях нечистых, в ревностях и ссорах, а облекитесь во Христа и больше не пещитесь о теле своем, чтобы удовлетворять жажду пороков своих...» (ср. Рим.13:13-14. — Ред.).

Больше не надо было читать Августину. Он только показал книгу другу своему, и бросился к матери, и ей первой поведал о своем духовном перерождении, о решении стать христианином и отречься от мирской суеты. Ни слова не сказала ему Моника, только в немом объятии прижала к груди своей дважды обретенного сына.

Покинув городской шум, оставив свою кафедру и толпу учеников, Августин удалился в тихое убежище Кассициака (поместье одного из своих друзей), чтобы в уединении и созерцании приготовить к тому, что поистине было для него великим таинством.

Посреди виноградников, над голубым озером с жемчужной цепью гор вдали стоял тихий дом, как бы созданный для того, чтобы в нем протекали, подобно счастливому сну, дни самоуглубления и познания истины.

Несколько верных друзей и учеников разделяли с Августиним уединение. В дружеских беседах и чтении и толковании святых книг открывались им все новые и новые пути света. И благословением для них было присутствие Моника, которая пеклась о каждом из них, как если бы он был ее сын, и служила каждому, как если бы он был ее отец. Она делила с ними не только пищу телесную, а и духовную, участвовала в беседах их и мудростью и крепостью своею, как тихим лунным светом, озаряла их вечера.

В сладком одиночестве Кассициака Августин бродил под тенью деревьев, упиваясь новым открывшимся ему чувством, и мысленно рассуждал:

«Что же люблю я, возлюбив Бога?

Я спросил землю, и она ответила:

“Не меня любишь ты”.

И все, что она носит в себе, дало мне тот же ответ.

Тогда спросил я море, и пропасти его, и всякое живое творение, скользящее под водами, и все это отвечало мне: “Не мы твой Бог, ищи выше!”.

И воздух спросил я, коим дышу, и все, что в нем обитает, и воздух ответил мне:

“Ошибся, я не Бог!”.

И спросил я небо, солнце, луну и звезды, и от них услышал тот же ответ:

“Не мы Тот Бог, Которого ты ищешь!”.

И всем предметам, теснившимся у врат моих чувств, крикнул я: “Если вы не Бог мой, — говорите же мне о Нем, скажите, где Он?”.

И ответили мне тысячеголосным хором:

“Он создал нас!”».

Наступила весна, и после долгого поста в Пасхальную ночь Августин крестился. Святой Амвросий сам крестил его и облек в белую одежду, которую выткала для него Моника.

Сколько горьких слез падало когда-то на ее работу, пока прилежные руки пряли и ткали белую шерсть, и вот им суждено было стать слезами радости; так капли росы животворящим солнцем претворяются в блестящие алмазы и красотой облачают мир.

Ангельские слова нужны были бы для того, чтобы описать, как в конце обряда престарелый Амвросий воздел руки к небу и, вдохновившись, начал славить Бога, и как стал вторить ему Августин, и как родился тогда гимн величия и сладости, и как неизреченная песнь звучала в их устах.

Были они в это время подобны заходящему солнцу и восходящему месяцу, когда оба светила блистают на закатном небе одинаковым сиянием.

Вскоре после крещения Августин и присные его решили покинуть Италию и вернуться на родину, чтобы там основать общину и жить так, как мечтала его душа, — отрешившись от утех земных, посвятив себя служению Богу и страждущим людям.

В осенние дни простились они с Миланом и направились в Остию^[90], чтобы оттуда переправиться в Африку. Первый снег уже выпал на Апеннинах^[91], когда они прибыли в Остию. Там пришлось им подождать несколько дней корабля, который отплывал в Африку. Но не знали они, что на иных парусах отплывает от них Моника в страну, куда давно рвалась ее душа, — в ее небесную родину.

На закате тихого дня сидела Моника у окна на берегу моря. Последними огнями сверкали волны морские, и белые чайки летели подобно серебряным стрелам, купаясь в розовом воздухе. И, как в детстве, пришел и сел Августин у ее ног. У ног своей матери.

Молчание ветра, бездонность небес, безбрежность морская — все говорило о вечности; и облака громоздились на западе, и переливы янтарей, топазов, рубинов, золота казались входом в небесный город. Шепчущий плеск, подобно струнам арфы, славил красоту вселенной, и в души матери и сына снова снизошла тишина полного счастья.

Они перед лицом моря и неба повели сладкую, тихую беседу. Забыв прошлое, чтобы думать только о грядущем, вопрошали они друг друга: «Какое же будет в вечной жизни счастье, ожидающее души праведных? То счастье, которое не видели земные очи и не слышал земной слух, не вместило человеческое сердце?».

Устами души проникали они к Источнику высшей любви в жажде хотя бы отчасти проникнуть, отчасти постигнуть это блаженство. И ясно им стало, что все наслаждения земные, и блеск красоты, и дары роскоши — недостойны даже быть рядом упомянуты с блаженством небесным. И высокий порыв увлек их мысли к тому незыблемому блаженству. Словно на крыльях в мощном полете, поднялись они, минуя одну за другой все телесные и видимые вещи, даже небо, озаренное огнями исчезающего солнца и загорающихся звезд: выше, выше, мыслью и словом проникая в творение Бога, дошли они до создания душ и тут не остановились, но миновали, чтобы достичь той области, где жизнь настоящая, неистощимая, вечная. И, когда она открылась их внутренним очам, ослепленным светом несказанным, их наполнило такое чувство, что показалось обоим, что они сердцами на миг коснулись Вечности и познали Небо на земле. И оба замолкли.

Не знали они, сколько времени молчали, но очнулись и поняли, что надо спуститься на землю, и со вздохом вернулись туда, где раздавался звук голосов земли, где звучало слово, имеющее начало и конец.

И первым заговорил Августин:

— Что если в душе будут сразу все молчания: молчание страстей, молчание тщетных звуков и голосов земли, моря, неба, воздуха? Молчание всякой мечты, воображения, слов, знаков — всего, что происходит? Если смолкнет даже голос вещей и творений Бога, учащих нас Его Величию словами: «Он создал нас», — и только Бог будет говорить... не смертным языком, не гласом Ангела, не раскатами грома, не символами, не через Свои создания, но Сам, как мы слышим Его сейчас в одно незабываемое мгновение, когда мы ощутили присутствие вечности и любви? И жизнь будет вечно подобна этому беглому мгновению восторга?.. Может быть, это и есть настоящая радость!

И нежно и тихо ответила ему Моника:

— Сын мой! Мое счастье уже осенило меня. Желание жизни моей совершилось. Что мне больше здесь делать? Больше ничего не удерживает меня на земле!..

Это была последняя беседа между матерью и сыном. Несколько дней спустя она сказала своему сыну:

— Ты похоронишь меня где хочешь. Думала я умереть на родине и лежать рядом с твоим отцом, но вижу ныне, что все равно, где будет покоиться мой прах, мой Господь везде найдет Свою рабу! И везде одинаково близко к Нему. Не скорби о том, что оставишь меня здесь; об одном прошу тебя: когда бы ты ни приблизился к Алтарю Господню — вспомни о своей матери!

И облобызала она Августина, и назвала его добрым сыном и радостью своею. Потом долго лежала, сжимая Распятые в своих руках, и вдруг воскликнула:

— К небу, летим к небу!

Это были последние слова Моника. Она умерла, устремив взор любви на своего сына, а когда юный Адеодат с воплем и рыданием бросился к ней — все невольно заставили его умолкнуть: лицо Моника сияло таким счастьем, что кощунственно было бы оскорблять слезами и

стенаниями красоту и тишину этой смерти.

Подобно пылающему факелу, дух Августина возгорелся и осиял христианство; и первое, святое это пламя возожгла рука Моники. Кто вспоминает теперь о вожде сердец и глашатае Бога, святом Августине, неразрывно рядом с ним видит и воплощение материнской любви, Монику, мать великих слез.

* * *

Так кончил повествование свое старый монах-августинец, и к этому времени солнце совсем погрузилось в воды моря.

Т. Л. Щепкина-Куперник



Сказание о житии преподобного Онуфрия, великого пустынножителя

Преподобный Онуфрий родился около 320 года по Рождестве Христове и был одним из тех славных пустынножителей, укрывавшихся в далекой дикой, но живоносной пустыне, что в Египте, которые в IV веке, во времена императоров Констанция[92] и Валентиниана[93], пламенную молитвою, постом и покаянием защищали святую христианскую веру, гонимую еретиками-арианами и ревностно в то время защищаемую святым [Афанасием Великим](#)[94].

Онуфрий был сыном персидского царя. Отец его, не имея долгое время потомства, часто обращался с пламенной молитвою ко Всевышнему, прося благословить его сыном. И Бог услышал его моления. Но еще до рождения Онуфрия к его отцу однажды пришел какой-то странник, выдававший себя за богомольца.

— Царь! — сказал он. — Жена твоя родит сына, но не от тебя, а от одного из слуг твоих. Если же тебе угодно будет удостовериться в справедливости моих слов, прикажи новорожденного бросить в огонь: если я говорю ложь, Бог сохранит ребенка целым и невредимым.

Царь поверил злым наветам диавола, говорившего устами мнимого богомольца, и, лишь только родился у него сын, приказал немедленно бросить его в огонь.

И — о чудо! — ребенок протянул маленькие ручонки к небу, как бы моля Создателя о спасении... Бог сохранил его невредимым: пламя разделилось на две стороны и даже не коснулось малютки.

Удивился и вместе с тем обрадовался царь и приказал немедленно вынуть ребенка из пламени. Вскоре после этого явился к отцу Онуфрия Ангел Божий. Изобличив царя в том, что он послушался злых наветов диавола и хотел погубить свое единственное дитя, Ангел сказал ему:

— Возьми сына и иди туда, куда укажет тебе Бог. В крещении же назови своего сына

Онуфрием.

В то же время отец Онуфрия, к величайшему своему огорчению, заметил, что его сын не хочет питаться ни грудью матери своей, ни грудью кормилицы. Опасаясь за жизнь своего единственного дитяти и помня слова Ангела, царь отправился в путешествие вместе со своим малюткой-сыном, названным в крещении Онуфрием.

Лишь только выехали они из города, появилась белая лань, которая, накормив ребенка, побежала вперед, как бы указывая путь, и проводила таким образом наших путешественников до монастыря, находившегося вблизи египетского города Гермополь[95].

Игумен этого монастыря, будучи наперед извещен свыше в сновидении о прибытии царя с малюткой-сыном, встретил путешественников в монастырских воротах, угостил их весьма радушно и, узнавши от отца Онуфрия про дивные судьбы Божии, совершившиеся над его сыном, охотно принял Онуфрия на воспитание.

Пробывши здесь некоторое время, царь попрощался с игуменом и, со слезами оставивши обитель, впоследствии до конца своей жизни не переставал посещать своего сына. Лань же питала Онуфрия до трехлетнего возраста, после чего ушла в пустыню и уже больше не возвращалась.

«Когда мне исполнилось семь лет, — рассказывал впоследствии Онуфрий, — ключарь[96] монастыря давал мне ежедневно кусочек хлеба, я же, посещая ежедневно церковь, где находилась икона Богородицы со Христом в объятиях, говаривал, обращаясь ко Младенцу Иисусу:

— Ты такой же Младенец, как и я, но Тебе ключарь не дает хлеба, а мне он дает, а потому возьми мой хлеб и ешь, — и мне казалось, что Младенец Иисус действительно протягивал Свои ручки, брал подносимый мною хлеб и ел.

Ключарь, будучи однажды свидетелем этого чуда, сообщил обо всем им виденном игумену, который сказал ключарю, что если я приду к нему за получением хлеба, то пусть он отошлет меня за получением одного ко Младенцу Иисусу. Ключарь так и сделал. Тогда я, не получив хлеба и почувствовав сильный голод, пошел в церковь и, преклонив колени перед иконою, сказал, обращаясь ко Младенцу Иисусу:

— Ключарь не дал мне хлеба, а предложил обратиться за получением одного к Тебе. Дай мне хотя бы кусочек, потому что я сильно проголодался.

И — чудо! — Младенец Иисус подал мне великолепный хлеб, и при этом столь большой, что я еле снес его к игумену. Он и вся монастырская братия, видя это, дивились чуду и единодушно прославили Бога».

Иноки научили Онуфрия Святому Писанию, святой вере и страху Божию. Они часто рассказывали ему о жизни в пустыне святого Илии[97] и святого Иоанна Предтечи[98], и эти рассказы зажгли в мальчике мысль стать пустынножителем.

— Скажите мне, отцы святые, — сказал однажды Онуфрий инокам, — неужели те, которые пустынножительствоуют, совершают больший подвиг, чем живущие в монастыре?

— Несомненно, так! — отвечали иноки. — Мы ежедневно видим друг друга, и нам это отраднo; мы собираемся по временам побеседовать друг с другом, нам есть чем утолить голод и жажду,

есть кому утешить и подать помощь при болезни; но те, которые живут в дикой и безлюдной пустыне, лишены всего этого; если они подверглись искушениям, их некому утешить добрым советом; им трудно добыть пищу или воду. А потому заслуги их перед Богом имеют большую цену.

Однако же, кто всецело посвятил себя служению Богу и, отправившись в пустыню, терпеливо и безропотно переносит и голод, и холод, жажду, ненастье, искушение диавола, проводит время в молитве, посте, покаянии, в благочестивых размышлениях о Боге, — того и Бог не оставляет и посылает им на служение Ангелов Своих, которые кормят их, делая корни и травы слаще меда, из камня извлекают источники воды и защищают пустынножителей в борьбе с дьявольскими наветами и искушениями. Слова эти глубоко запали в душу Онуфрия, и он окончательно решил стать пустынножителем.

Вскоре исполнилось ему 10 лет, и он, запасшись малою толикой хлеба, тайно оставил ночью монастырь, в котором столь приятно провел младенческие годы, и отправился на подвиг в пустыню.

Но, лишь только Онуфрий вышел за монастырские ворота, как увидел перед собой огненный столб, отчего напугался и решил вернуться. Но вдруг из столба вышел светлый муж величественного вида и сказал: «Радуйся, Онуфрий! Мир тебе! Не бойся меня, я — Ангел Господень, данный тебе от рождения в Ангелы Хранители, который охранял и будет тебя охранять до конца твоей жизни; ныне же я явился к тебе, чтобы по велению Божию проводить тебя в пустыню!».

После этих слов Онуфрий с Ангелом отправились в путь. На пути Ангел рассказал о чудесном рождении мальчика, о чем Онуфрий до того времени не знал. Они уже прошли семь миль по безлюдной Фиваидской[99] пустыне, и Ангел, подведя его к пещере, стал невидим.

Подойдя к двери, Онуфрий по обычаю иноков-христоролюбцев сказал:

— Благослови!

Из пещеры вышел величественный старец, к ногам которого повергся Онуфрий. Старец с любовью и лаской поднял Онуфрия.

— Ты, во Христе брат Онуфрий! — сказал он. — Тебе суждено принять удел пустынножительства. Войди с миром в эту пещеру. Бог да подаст тебе силу и крепость в этом новом для тебя служении Всевышнему, к которому призвал тебя Сам Бог!

В течение нескольких дней оставался Онуфрий в этой пещере, слушая со вниманием спасительные наставления благочестивого подвижника, который, видя, что Онуфрий крепок верою в Бога и решимостью посвятить себя пустынножительству, несмотря на все трудности, сопряженные с оным, сказал ему:

— Сын мой! Иди за мной, я укажу тебе пещеру, где ты, согласно воле Божией, будешь жить и подвизаться один!

Все более и более проникая вглубь пустыни, на пятый день старец и Онуфрий достигли пещеры, около которой росла величественная финиковая пальма. Тогда пустынножитель, обратясь к Онуфрию, сказал:

— Вот место, которое Господь предназначил для твоего пребывания и для твоих подвигов!

Пробывши с Онуфрием 30 дней и давши ему немало душеспасительных наставлений, пустынножитель благословил его на подвиг добрый и, простившись с ним, отправился обратно в свою пещеру.

Пустынножитель назывался Ермий, так он назвал себя Онуфрию. Ермий ежегодно после той первой встречи посещал Онуфрия, но спустя несколько лет во время одного из таких посещений Ермий занемог и мирно на руках Онуфрия предал свой дух Богу. Онуфрий со слезами отдал ему последний христианский долг и похоронил мощи святого подвижника вблизи своей пещеры.

Прошло 60 лет. По той же дикой и безлюдной пустыне Фиваидской проходил какой-то инок, искавший, очевидно, место для подвигов пустынножительства или, может быть, желавший увидеть кого-либо из святых пустынножителей, чтобы получить благословение и душеспасительное наставление.

То был святой Пафнутий[100] — инок одного из египетских монастырей. Уже четыре дня он шел пустыней, ничего не евши и не пивши. Наконец Пафнутий увидел пещеру и, подошедши к ней, постучался в небольшую дверь, закрывавшую вход в пещеру.

Целый час простоял он, дожидаясь, не выйдет ли кто из пещеры: никто, однако, не вышел. Тогда Пафнутий отворил дверь и вошел внутрь пещеры. Увидевши сидящего на камне и прислонившегося к стене пещеры старца, Пафнутий, благоговейно повергшись перед ним, произнес:

— Благослови!

Ответа не последовало. Старец сидел не шевелясь. Когда же Пафнутий дотронулся до головы старца, то уразумел, что перед ним бездыханные останки давно почившего подвижника.

Власяница[101], покрывающая почившего, от прикосновения рассыпалась в прах. Тогда Пафнутий, выкопав руками могилу в песке, похоронил в ней останки почившего пустынножителя и затем отправился в дальний путь.

Углубляясь все более и более в пустыню и пройдя довольно значительное пространство, Пафнутий вдаль увидел совершенно обнаженного человека, покрытого с головы до ног белыми как лунь волосами и препоясанного по бедрам широкими пальмовыми листьями.

Испугался Пафнутий и, думая, не разбойник ли это, взобрался на находившуюся вблизи его скалу и укрылся на вершине ее. Между тем величественный старец, утомленный полуденным зноем, прилег у подножия той же самой скалы, на верхушке которой укрылся Пафнутий, и, заметивши последнего, сказал:

— Человек Божий, не страшись меня и сойди со скалы, ибо я такой же грешный человек, как и ты, ради своего спасения работаю здесь Господу.

Услышав эти слова, Пафнутий немедленно сошел со скалы и, повергнувшись с благоговением перед святым старцем, просил у него благословения.

Получивши просимое, он присел около пустынножителя; разговаривая со святым мужем, Пафнутий просил того рассказать про его житие.

— Я — Онуфрий! — начал пустынножитель. — Отроду мне 70 лет. Уже 60 лет пребываю в этой пустыне и в течение всего этого времени не видел ни одного человека.

Затем преподобный Онуфрий рассказал Пафнутию всю свою жизнь. Внимательно слушая речи старца, Пафнутий обратился к нему со следующими словами:

— Отец святой! В этой дикой, безлюдной пустыне ты, конечно, во время своего пребывания переносил великие тяжести?

— Да! — ответил Онуфрий. — Со многими искушениями я должен был бороться и много трудиться. По временам казалось, что уже приходит мой конец, что искушения осият меня, но милосердный Бог, видя мои страдания, дал мне благодать постоянства и твердости. Когда по ветхости своей спала с меня одежда, в которой я пришел в пустыню, Он приделал меня вот этими, которые ты видишь, волосами. Ежедневно Ангел приносил мне пищу: хлеб и немного воды, чтобы я не ослабевал и не переставал славословить Бога. Так промыслил о мне Господь в течение 30 лет. В течение же следующих 30 лет, которые ныне окончились, питал меня Господь плодами вот этой финиковой пальмы с двенадцатью ветвями. Каждая ветвь питала меня своими плодами в течение одного месяца, а затем до того же месяца следующего года делалась бесплодной — и эта пища для меня была слаще меда. Вблизи пещеры моей я вдруг заметил вот этот источник студеной воды, которого здесь раньше не было и который до сих пор утоляет мою жажду. Да, брат Пафнутий, если и ты будешь свято исполнять волю Божию и достойно служить Всевышнему, то и тебя Он будет снабжать во всякое время всем необходимым.

— Отец святой! — полюбопытствовал Пафнутий. — А в праздничные и воскресные дни причащаешься ли ты Тела и Крови Христовых?

— Причащаюсь! — ответил преподобный Онуфрий. — Ангел Господень приходит ко мне в дни праздничные и воскресные, и из рук его я и причащаюсь Сих Святейших Тайн; и участниками этой духовной радости бывают все пустынножители. В этот день, в который удостоиваемся Причащения Святейших Даров, мы преисполнены небесной сладости, не чувствуем тогда ни голода и ни жажды, а равно не в силах тогда коснуться нас и какие бы то ни было искушения.

Слыша все это, Пафнутий преисполнен стал неземной радости, позабыл он о всех тех лишениях, которым подвергался во время путешествия по пустыне, и в восторге воскликнул:

— Поистине счастлив я, что удостоился лицезреть тебя, святой Онуфрий, и слышать твои прекрасные, душеспасительные повествования и наставления!

— Иди за мной! — на это ответил ему святой старец. Прошли они три мили и достигли пещеры, в которой подвизался святой Онуфрий и около которой росла величественная пальма.

Войдя в пещеру, благочестивые подвижники стали петь псалмы, воссылать пламенные молитвы ко престолу Всевышнего и затем беседовать о чудных делах Божиих.

Вдруг в это время, когда день уже стал клониться к вечеру, Пафнутий, к величайшему своему удивлению, заметил, что посередине пещеры неизвестно кем поставлен хлеб и сосуд с водою!

— Брат мой во Христе! — сказал преподобный Онуфрий. — Восстань, ешь и подкрепи свои силы!

— Отец святой! Не возьму я в уста мои ни пищи этой и ни пития, если ты не поделишь со мной этой трапезы! — воскликнул Пафнутий.

Преподобный взял хлеб, преломил его, и хотя они ели его досыта, однако хлеба оставалось довольно много. Ночь провели они в песнопении и молитве. На другой день рано поутру

Пафнутий, заметив, что преподобный Онуфрий сильно изменился в лице, смутился и спросил старца о причине этого.

— Не смущайся и не страшись, Пафнутий! — сказал преподобный Онуфрий. — Бог послал тебя сюда для погребения моего, сегодня я завершу свое служение Богу в сем мире. Ты же возвратись к своей братии и поведай всем христианам, что Господь услышал моления мои и что всякий чтящий память мою каким бы то ни было образом удостоится Божьего благословения. Господь поможет ему благодатию Своею во всех его благих начинаниях на земле, а на небе примет в святые селения!

Слыша это, Пафнутий умолял преподобного Онуфрия разрешить ему поселиться на месте его подвигов.

— Пафнутий! — возразил ему на это угодник Божий. — Ты просишь у меня невозможного. Бог избрал тебя для того, чтобы ты, посетивши многих пустынножителей, возвестил им и вообще всем христианам к назиданию их о святости жизни этих подвижников.

— Отец святой! — воскликнул тогда, заливаясь слезами и припав к ногам преподобного Онуфрия, Пафнутий. — В таком случае благослови меня и умоли милосердного Бога, дабы Он, удостоивший меня лицезреть тебя и воздать должную честь, не лишил меня, недостойного раба Своего, Небесного Царствия!

— Сын мой! Все, о чем ты меня сейчас просишь, дано тебе будет Христом Спасителем: Его благословение всегда будет почивать на тебе, и просветит Он тебя в познании истины, хранит тебя от греховного падения, от сетей диавольских и от наветов вражеских; и явишься на суд Праведного Судии с чистой совестью!

Долго затем молился преподобный Онуфрий, проливая целые потоки слез и по временам прерывая свою пламенную молитву псалмопениями. Наконец, кончивши молитву и скрестив на груди руки, преподобный Онуфрий лег посредине своей пещеры, обративши лицо свое к востоку.

Пещера между тем наполнилась святым благоуханием, лик преподобного просиял как солнце, послышались раскаты грома, заблестала молния, небеса разверзлись, и явившееся оттуда ангельское воинство воспело песнь благодарения; старейшие из них с горящими свечами и кадильницами окружили преподобного Онуфрия, и в тот же самый момент послышался голос свыше:

— Оставь брренное тело, возлюбленная душа Моя, чтобы Мне вселить тебя в место вечного упокоения со всеми избранными Моими!

С молитвой на устах, с руками, простертыми к небу, преставился в мире преподобный Онуфрий. Тело его, по сказанию святого Панфутия, блестело как бисер и распространяло вокруг себя благоухание, с которым не могут сравниться лучшие в мире ароматы.

Панфутий проливал горькие слезы о том, что не долго радовался найденному сокровищу. Сильно был он опечален еще и тем, что под руками у него не было орудий для копания могилы, а почва была каменистая. Но вот прибежали два льва и когтями своими в один момент приготовили могилу в том месте, которое Пафнутий предназначил для погребения почившего.

Тогда Пафнутий снял с себя власяницу, и, обвив ею тело преподобного, предал оное с молитвой земле; могилу же засыпали львы и затем удалились, нагромоздивши на могиле кучу камней, чтобы иногда хищный зверь пустыни не нарушил мирного сна подвижника.

Пафнутий хотел еще раз взглянуть вовнутрь пещеры преподобного Онуфрия, но последняя обрушилась, финиковая пальма засохла с корнем и повалилась на землю, пересох и источник.

Пафнутий из всего этого уразумел, что Богу не угодно было его подвижничество на сем месте, и, вспомнив при этом слова преподобного Онуфрия о своем назначении, решил отправиться в обратный путь.

Прощаясь в последний раз с дорогой могилой, Пафнутий зарыдал.

— Не рыдай! — сказал Пафнутию явившийся перед ним Ангел Господень. — Радуйся, что удостоился видеть дивные дела Божии; возвратись в Египет и возвести все, что видел ты и слышал, в назидание всем христианам.

Сказавши это, Ангел стал невидим. Пафнутий же, славословя Бога, дивного во святых Своих, возвратился в Египет, проповедуя о том, что видел и слышал.

Вскоре после этого благочестивые иноки составили жизнеописание преподобного Онуфрия и разослали оное по всему Египту и Востоку, прославляя святую жизнь этого великого пустынножителя.

Празднует [Церковь](#) наша память преподобного Онуфрия 12 июня по старому стилю (25 июня по новому стилю).

Примечание к сноске 100

Преподобный Пафнутий. «С точностью неизвестно, — замечает святитель [Димитрий Ростовский](#), — какой именно преподобный Пафнутий обрел в пустыне преподобного Онуфрия, ибо в Церковных историях и в Патериках встречаем нескольких святых с именем Пафнутий. Иной был Пафнутий — епископ горной Фиваиды, одной из стран египетских, пострадавший во времена нечестивого императора римского Максимиана (305-311 гг.), причем ему был выколот правый глаз. Впоследствии он, в царствование великого Константина (306-337 гг.), присутствовал на первом Вселенском соборе, созванном в городе Никее (в 325 г.). Когда святые отцы хотели утвердить как закон то, чтобы священники и диаконы не имели жен, то он, став посреди собора, громогласно изрек: “Не возлагайте тяжкого бремени и ига на служителей Церкви”. И противостоял сей Пафнутий в этом деле всем святым отцам весьма усердно, хотя сам был девственником от чрева матери своей. Никто ничего не мог сказать против него, почему и оставлен был этот вопрос на произвольное решение каждого; посему пресвитеры и диаконы Церкви Восточной и до сих пор принимают благословенное супружество. Об этом повествуют греческие историки: Сократ (кн. 1, гл. 8), Созомен (кн. 1, гл. 22) и Никифор (кн. 8, гл. 19). Память сего Пафнутия в римских Месяцесловах полагается в 11-й день месяца сентября; в русских Месяцесловах, равно и в Прологах, о нем нигде не воспоминается. Иной был Пафнутий мученик, также подвизавшийся в египетских пустынях, пострадавший в царствование Диоклетиана (284-305 гг.), быв распят на финиковой пальме. Повествование о нем находится в Прологе 25 числа сентября месяца. Иной был Пафнутий из Александрии, города египетского, отец преподобной Евфросинии, память коей празднуется в 25 день сентября месяца. Иной был Пафнутий, также египтянин, обративший к покаянию Таисию блудницу, память коей совершается в 8 день октября месяца. Иной был Пафнутий, ученик преподобного [Макария Александрийского](#) (память его 19 января), повествующий о том, как зверь гиена принес своего слепого щенка к преподобному Макарию для уврачевания. Иной был Пафнутий по прозвищу Кефаль, упоминаемый в книге Руфина (историка IV века) “Провещаниях отеческих” и в книге Палладия “Лавсаик” (91 гл.), ходивший восемьдесят лет в одной одежде. В Прологах встречаются слова и еще о некоторых Пафнутиях; так, 25 ноября

месяца есть слово о Пафнутии монахе, как он спас разбойника, испив чашу вина; в 9 день месяца марта есть слово о Пафнутии монахе, молившем Бога известить его, кому он подобен; и получил он извещение, что подобен старейшине селения; об этом же Пафнутии под 27 числом того же месяца есть слово, что он подобен свирельщику. Относительно же того Пафнутия, который обрел преподобного Онуфрия, мы не имеем никаких известий» ([Жития святых по изложению святителя Димитрия, митрополита Ростовского](#)).

Житие святого преподобного отца нашего Виталия монаха[102]

Во дни святейшего патриарха Александрийского Иоанна Милостиваго в град Александрию из одного монастыря пришел некий инок, по имени Виталий. Ему было 60 лет от рождения, и он избрал для своих подвигов такую жизнь, которая, смотря на нее со внешней стороны, казалась злою и скверною. Но перед Богом, видящим нашу душевную жизнь и испытующим наше сердце, подобная жизнь была угодна и благоприятна. Хотя втайне старец Виталий и обращал грешных и беззаконных к покаянию, но сам перед другими являлся грешником.

Он подвизался ради всех блудниц, живших в Александрии, и за каждую из них прилежно молился Богу, чтобы Бог отвратил ее от постыдной жизни. Он нанимался работать в городе с утра до вечера и брал за свой дневной труд по двенадцати медниц[103]. За одну медницу старец покупал бобов и питался ими до захождения солнца. По захождении же солнца он шел в притон блудниц, приглашал одну из них, отдавал ей остальные одиннадцать медниц и говорил:

— Умоляю тебя: за сии медницы соблюди себя всю ночь в чистоте и никого не принимай.

После сего старец оставался с блудницей в горнице, и, пока блудница почивала на своей постели, он становился в одном углу, тихо читал псалмы Давида и молился за несчастную до утра. Уходя, старец заклинал блудницу, чтобы она никому не говорила о его делах.

Так старец Виталий трудился изо дня в день и изо дня же в день посещал поочередно блудниц, молясь за них усердно Богу. Господь Бог, видя такое усердие Своего раба, споспешествовал ему в его намерении. Некоторые блудницы, устыдясь таких добродетелей старца Виталия, вставали со своих постелей, становились на колени рядом с ним и молились Богу. А старец затем призывал их к покаянию, грозил судом страшным, вечной мукой в геенне и обнадеживал вместе с тем милосердием Божиим и вечными благами на Небеси. Те, объятые страхом Божиим, приходили в умиление и давали обещание исправить свою блудную жизнь.

Таким образом многие из блудниц оставили свою бесстыдную жизнь и вышли замуж. Иные из них, желая жить в чистоте, поступали в женские монастыри, где в посте и молитве проводили дни свои. Иные же оставались жить в мире, бросив свое бесстыдство, и уже питались честными трудами своих рук.

Все блудницы, помня просьбу старца Виталия, никому не говорили о его целомудрии. Но потом одна из них начала рассказывать людям, что старец Виталий приходит к ним не ради греха с ними, а ради их спасения. Узнав о том, старец Виталий весьма опечалился: он не хотел, чтобы его подвиг был известен другим. Дабы отвратить других блудниц от подобных разглашений, Виталий помолился Богу — да накажет Он суетную блудницу на страх прочим блудницам. Вскоре та блудница была возведена Божиим остановлением и связана силой бесовской. Видя то, другие жрицы весьма убоялись и уже отнюдь не пытались говорить что-либо о подвигах старца Виталия. Ей же говорили:

— Видишь, как Бог наказал тебя за ложь! Ты говорила, что черноризец тот ходит к нам не блуда ради. И вот теперь сама видишь, что он есть блудник.

И стали все смотреть на старца Виталия как на человека, который своими поступками приводит в соблазн других, и стали ежедневно укорять его и говорить:

— Иди, окаянный, иди. Тебя ждут блудницы!

И плевали на старца.

Старец же Виталий все сие переносил с кротостию, ставя себе в удовольствие наносимые ему от людей брань и укоризны, и утешался духом, что его считают таким великим грешником.

Иногда же старец Виталий укоряющим его людям отвечал:

— И у меня есть плоть, как и у всякого человека. Ужели черноризцев Бог соделал бесплотными? Воистину, и черноризцы есть люди!

Некоторые же ему говорили:

— Отче, возьми себе одну из блудниц в жены и оставь монашество, да не будет оно осрамлено тобою.

Старец же Виталий, как бы в гневе, отвечал им:

— Не послушаю вас! Что мне за радость иметь жену, заботиться о ней, о детях, о доме и проводить жизнь в трудах и истощании? Зачем вы меня осуждаете? Или вы за меня будете отвечать перед Богом? Заботьтесь лучше каждый из вас о себе, а меня оставьте! Для нас один Судия — Бог, и Он каждому воздаст по делам его.

Так преподобный Виталий утаивал свою добродетель перед людьми. Но один из патриарших клириков вздумал оклеветать преподобного Виталия перед Святейшим Патриархом Александрийским Иоанном Милостивым. Клеветник говорил, что некий старец соблазняет весь город Александрию, всякую ночь посещая дома блудниц. Но Святейший Патриарх не поверил клеветнику, потому что клеветник сей еще ранее был наказан за клевету: он оклеветал одного целомудренного инока, крестившегося еврея-евнуха, за это невинно преданного, по клевете, биению. Помня то, Святейший Патриарх запретил клеветать на старца Виталия и говорил:

— Перестаньте осуждать. В особенности не осуждайте иноков. Известно вам, чт҃ было на первом Никейском Соборе? Некоторые епископы и клирики писали великому царю Константину о греховных делах друг друга. Царь же приказал принести зажженную свечу, сжег все письма не читая и сказал: «Если бы епископа, или иерея, или инока я и своими очами видел на греховном деле, то я моими одеждами прикрыл бы его, да не езрит его никто согрешающим».

Так Святейший Патриарх устыдил клеветников.

А раб Божий старец Виталий не переставал пещись о душах грешниц, и о такой его добродетели никому не было ведомо до самой его кончины.

В один из дней, когда преподобный Виталий выходил из дома блудниц, он встретил некоего юношу-блудника, который шел к блудницам греха ради. Увидав преподобного, юноша поднял руку и крепко ударил старца по щеке, проговорив:

— Окаянный и скверный человек! Да когда же ты покаешься и когда оставишь нечистое житие твое, дабы тобою не было более поругаемо имя Христово?

Преподобный же отвечал ему:

— Верь мне, человеце, что за меня, смиренного, получишь и ты ударение по ланите, и такое, что вся Александрия сбежится на твой вопль.

В скором времени преподобный Виталий затворился в своей маленькой келье, которую он сам себе построил у ворот Александрии, называвшихся «Солнечными», и преставился там, никому не ведом. В то же время юноше-блуднику, который ударил по щеке преподобного Виталия, явился бес в образе страшного эфиопа и сильно ударил его по лицу, говоря: «Прими удар сей, его послал тебе монах Виталий!». И вдруг юноша-блудник страшно взбесился, упал, трясаясь, с текущей пеной изо рта, начал терзать на себе одежды и поднял такой неистовый крик, что вся Александрия сбежалась на тот его вопль. Но недолго мучился юноша от беса: через некоторое время пришел в себя и пошел к келье Виталия, взывая:

— Помилуй меня, раба Божия! Грешен перед тобой, оскорбив тебя сильным ударом в ланиту! Но и я, по пророчеству твоему, получил должное отмщение!

Взывая таким образом, юноша быстро шел, сопровождаемый народом. Когда он приблизился к келье преподобного Виталия, бес тотчас же, ударив его о землю, убежал. Вскоре юноша совершенно пришел в себя и начал рассказывать народу, как он ударил по щеке старца Виталия и как старец предрек ему за себя отмщение. Когда же они начали стучать в дверь келии старца Виталия, то на стук ответа не было. А когда отперли дверь, то увидали старца стоящим на коленях и как бы молящимся, но душа его была уже на небе...

В руке же его была хартия, на которой написано было следующее: «Мужи александрийские! Не осуждайте прежде времени, пока Господь, Судия Праведный, не придет».

В то же время и та жена бесноватая, которая когда-то передавала людям о чистоте преподобного Виталия, узнав о кончине преподобного, поспешила к нему, прикоснулась к его честным мощам и тут же освободилась от беса... Тут же хромые и слепые начали получать исцеление, прикасаясь к преподобному. Услышав о кончине преподобного Виталия, все те жены, которые его увещаниями покалялись и обратились к Богу, начали приходиться к нему со свечами и кадилами в руках, плача по своему отцу и учителю. И тут всем стала известною добродетель старца Виталия, который никогда не касался жен даже рукою и входил к блудницам не на грех с ними, а на их спасение. Люди же, разгневанные на порочных жен, спрашивали:

— Зачем же вы ранее таили перед нами святость отца сего? Не зная о том, мы много грешили, осуждая и укоряя его!

Жены отвечали:

— Мы боялись говорить о том потому, что под великими клятвами он запрещал нам передавать кому бы то ни было его тайны. И когда одна из нас начала передавать тайну его людям, то в нее тотчас же вселился бес. Каждая из нас, боясь такого наказания, молчала.

И удивился народ таковому рабу Божию, дивным образом утаившему святость своего жития перед людьми, кои считали его скверным грешником и не ведали, что он был друг Богу и чистый сосуд Духа Святого. И порицали себя все, и стыдились своего неразумения, что осуждали такого угодника Божия, досаждали укоризнами не повинному и чистому сердцем

праведнику.

Узнав обо всем этом подробно, Святейший Патриарх Иоанн Милостивый пришел со всем своим клиром в келию преподобного Виталия. Тут, прочитав на хартии, находившейся в руках усопшего, надпись, увещевавшую не осуждать, и видя совершившиеся чудеса, Святейший Патриарх обратился к клирикам, клеветавшим на Виталия:

— Знайте, что если бы я поверил вам и оскорбил бы неповинного святого старца, то мне тоже был бы удар по лицу от эфиопа за то, что старец невинно пострадал. Но аз, смиренный, благодарю Бога, что не послушал клеветы вашей и избавился греха и отмщения! Клеветникам же и осуждавшим преподобного да будет стыдно!

Затем Святейший Патриарх, взяв мощи преподобного Виталия, провождал их по всей Александрии и со всеми покаявшимися женами, плачущими и рыдающими, честно предал их погребению, прославляя Бога, имеющего много избранных тайных рабов Своих.

Тот же юноша, который пострадал от бесовского удара, отрешился от мира и стал монахом. И многие из александрийцев, имея пример добродетельной жизни преподобного Виталия, дали себе слово никогда никого не осуждать. Да последуем примеру их и мы — молитвами преподобного отца нашего Виталия, благодатию же Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава во веки. Аминь.

* * *

Полагаем, что совершенно уместно здесь, после рассказа о жизни преподобного Виталия ради спасения блудниц, изложить, что такое блуд и любодеяние и как должно и можно избавиться от сих грехов (см. далее — *Ред.*).

Блуд и любодеяние [104]

Что такое блуд и любодеяние и как должно и можно избавиться от сих грехов

Ибо знайте, что никакой блудник...
который есть идолослужитель, не имеет
наследствия в Царствие Христа и Бога.

Ефес.5:5

Святой апостол Павел советует христианам не говорить даже об этом грехе, великом и мерзостном пред Богом: «*Блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым*» (*Ефес.5:3*).

Но, к несчастью, этот порок столь общ и известен, что по необходимости надобно обратить на него внимание, указать на величайшую гнусность его и вред и сим предохранить тех, которые безбоязненно предаются ему.

Под именем любодеяния разумеются многие виды грехов. Наименуем некоторые из них.

1. Блуд — беспорядочная плотская любовь между женщиной и мужчиной, не находящимися в супружестве.

Святой апостол Павел строго воспрещает этот грех: «*Наблюдайте, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался от*

своего первородства» (Евр.12:15-16). Как Исав за одну снедь лишился первородства, так блудник за минутное удовольствие лишается вечного блаженства.

1. Прелюбоддеяние — незаконное сожитие мужа с чужою женою или жены с чужим мужем.

Сладострастные мысли, неприличные разговоры, даже единый взгляд, обращенный с вожделением на женщину, причисляются к любоддеянию. Спаситель так говорит о сем: *«Вы слышали, что сказано древним: “не прелюбоддействуй”. А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбоддействовал с нею в сердце своем»* (Мф.5:27-28).

Если взирающий с вожделением на женщину грешит, то и женщина не невинна в том же грехе, если она наряжается и украшает себя с желанием, чтобы на нее обращали взоры и прельщались ею, ибо горе тому человеку, через которого приходит соблазн.

1. Малакия — грех через естественное осквернение себя рукоблудием.

Страсть эта быстро разрушает телесные силы, ослабляет душевные и даже уничтожает их совершенно. Подверженный этому греху становится человеком болезненным, слабоумным, лишается памяти, соображения, не может правильно рассуждать и наконец преждевременно стареет и переходит в вечность, где ожидает его наказание. По слову апостола Павла, ни прелюбодей, ни малакии, ни мужеложники Царства Божия не наследуют (ср. 1 Кор.6:9).

1. Кровосмешение — когда союзом, подобным супружескому, соединяются ближние родственники.

Вот что говорит об этом постыдном грехе святой апостол Павел: *«Есть верный слух, что у вас появилось блудоддеяние, и притом такое блудоддеяние, какое не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего... Да будет изъят из среды вашей делающий такое дело... и я решил предать его сатане в измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа»* (ср. 1 Кор.5:1-5).

1. Мужеложство — сквернодействие, с мужским полом совершаемое.

Этот грех именуется также грехом содомским. Эти грешники «получают в самих себе должное возмездие за свое заблуждение», достойны смерти по праведному суду Божию и собирают себе гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога (ср. Рим.1:27-32.2:5).

* * *

Чему уподобить любострастие — болезнь нашей души и сердца? По всей справедливости его можно уподобить проказе — той страшной телесной болезни, от которой не могли излечивать самые опытные врачи и которая исчезла при едином слове Господа Иисуса Христа, как это описывается в Святом Евангелии.

Проказа была ужасна сама по себе. Она состояла в том, что все тело прокаженного покрывалось белыми гнойными струпьями, подобными чешуе, и в язвах чувствовалась нестерпимая боль. Прокаженный был страшен для всех посторонних, страшен для семейства и своих родных, несносен для самого себя.

Так и плоды любострастия — тяжки, мучительны для зараженных этим пороком: угрызения совести, уныние, раскаяние, боязнь, что порок сделается явным и нанесет бесчестие... Сожаление об утрате здоровья, тяжкая болезнь и, наконец, страх будущих наказаний не дают

грешнику покоя ни днем ни ночью.

Проказа была заразительна и легко приставала к другим; так и любострастие заразительно и быстро сообщается прочим разными путями: посредством глаз, слов, разговоров, дел и примеров.

Худые сообщества портят добрые нравы. Проказа, переходя от одного на других, не увеличивала боли прокаженного. Но любострастие, заражая других и вводя в преступление, прилагает к своему греху еще грех, о котором Спаситель говорит так: *«Кто соблазнит единого из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы ему повесили мельничный жернов на шею и потопили бы его в глубине морской» (Мф.18:6).*

Зараженного проказой презирали и даже исключали из общества людей: не позволяли ему жить не только в городах и селениях, но и входить в оные; каждому запрещалось прикасаться к прокаженному или близко подходить к нему, он принужден был скитаться вне города, в поле, в горах, едва снискивая себе пропитание.

По справедливости, не так ли должно поступать и с зараженным любострастием? Каждому должно убегать от него и страшиться сообщества с ним. По учению святого апостола Павла, не должно сообщаться с блудником, даже есть вместе с ним, а надо выйти из среды развращенных, отделиться от них и не прикасаться к нечистому (1 Кор.5:11-13. 2 Кор.6:17)!

Любострастие постыдно в высшей степени, даже в глазах самого грешника. Гордый, сребролюбец, ненавистник, пьяница, ленивый и прочие, оправдывая кой-как себя по-своему, не стыдятся иногда сознаваться в своих пороках.

Но прелюбодей тщательно старается их скрыть. Даже самые развратные, потерявшие стыд и совесть, которые любят вообще похвалиться своим омерзительным распутством, и те не вполне высказываются и со временем сами приходят в великие смущение и стыд, когда открываются самые главные и гнусные подробности их преступлений. Любострастный желал бы лучше все перенести, лишь бы только не открылся его грех. Если тайна, которою он старается покрыть свое беззаконие, будет проникнута, то сколько мучительного стыда и позора он должен будет перенести? И на что он решится, чтобы избавиться от этого стыда и позора?

Преступная мать, нося во чреве следствие своей постыдной любви, забывает нежность своего пола и свои материнские чувства, решается присоединить к совершенному ею греху ужасное детоубийство и рискует своею собственною жизнью. Сколько святотатственных исповедей и причащений совершается среди людей, подвергшихся сему пороку! Мучимые совестью, не могущие сносить позора пред лицом духовного отца, имеющего власть вязать и разрешать грехи, они не смеют открыть всю глубину своих преступных язв и как бы забывают грозные слова: *«Кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем, которое есть огонь пополяющий недостойных» (ср. 1 Кор.11:29).*

Против кого грешит любodeй?

Он грешит против Бога, против самого себя и против своих ближних.

Он грешит против Бога, оскорбляет Его, ибо человек есть храм Бога Живаго. Если человек есть храм Божий, то чистота и непорочность должны быть грозными стражами этого храма, дабы в него не могло проникнуть что-либо греховное, неблагоугодное Трисвятому Господу.

При возбуждении в нас нечистых помыслов Господь оставляет нас, и вместо Него мы ставим в нашем сердце идола, которого после уже трудно изгнать. Человек утрачивает тогда все

хорошие качества души, становится противником Богу, отвергает суды Его, чтобы в своих порочных удовольствиях не беспокоить себя горькими напоминаниями, и наконец отгоняет от себя и самую мысль о будущей жизни, в которой он не может надеяться получить что-либо хорошее.

Любострастный грешит против самого себя.

Во-первых, против своего тела, ибо, по слову апостольскому, *«Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против своего собственного тела»* (1 Кор. 6; 18). Порок этот ослабляет телесные силы, производит разные болезни, иногда сопровождаемые столь гнусными, отвратительными ранами, что на них невозможно смотреть без ужаса, и, наконец, — приносит преждевременные старость и смерть.

Во-вторых, он грешит против своих душевных способностей, ибо любострастие всегда омрачает рассудок: это главное, неотъемлемое свойство сего порока. Одержимые им люди, просвещенные, образованные, мудрые, теряют свои просвещение и мудрость и уничтожают все правила добродетельной жизни: уже не разум и благие советы управляют тогда их поступками, но бурные порывы страсти. Тогда забывают они свой долг по отношению к людям и к себе, слепотствуют в рассуждении обстоятельств, обязанностей, доброго имени, пользы и даже приличий, благопристойности, которые другими страстями тщательно соблюдаются...

И, наконец, любодееи делаются позором человечества.

Действительно, сколько видим странностей и нелепостей в поступках развратного, в его делах, словах и даже в самой походке и манерах!

Любодеей грешит против своего ближнего, потому что ищет соучастников в своем преступлении. Горе тому, чей дом посещает он! Горе тому, кто с ним дружит!

Он неукротим в своих действиях, ничто не может обуздать его. Ни потеря своего доброго имени и доброго имени других, ни бесславие, которым он покрывает целое семейство, ни связи дружбы и родства, ни религия, ни болезни, ни близкая смерть — ничто не может удержать его и прекратить его пагубных для ближнего дел.

Несмотря на всю гнусность любострастия и на все зло, происходящее от него, пророк этот явно и сильно распространен в настоящее время и находит даже себе защитников, которые оправдывают его, приводя разные доводы, как бы уважительные, но всегда ложные, без всякого основания.

Теперь любовь порочная не убегает от взоров общества, но вменяет себе в честь быть видимою и описывается в книгах как любовь чистая, безукоризненная. Она уже не укрывается во мраке, но ищет даже выйти на среду, и часто в лице того пола, которого все достоинство состоит в целомудрии. Сколько видим таких несчастных женщин, которые с надменностью носят на челе своем безглавие, находят в том удовольствие и торжество, что погибельные успехи их прелестей сделались гласными. Они исчисляют как славные победы развращение тех слабых душ, которые попали в их сети.

Бесстыдство почитается теперь непринужденным и ловким обращением, неблагопристойность простирается до того, что рождает даже отвращение в тех самых, которым ищет нравиться, и самое имя целомудрия становится смешным и презренным.

Любострастие считают некоторые следствием возраста и оправдывают этот порок юностью, как будто бы есть позволительное время для греха, страстей и беспорядков. Обыкновенно

говорят, что надобно извинить нечто летам юности (но не должно ли более всего бояться и быть осторожным во время сильной бури?); говорят: «Самые пылкие страсти не поглощают же всех наших сил, и мы всегда можем, если только захотим, избежать того, что воспламеняет и питает эти страсти».

Страсти наши не проходят с нашей юностию: развращение молодости оставляет навсегда в сердце свой корень, который, по-видимому, укрепляется с годами.

В извинение любострастия блудники и прелюбодеи представляют также свое телосложение и говорят: «К несчастью, мы рождены так; можем ли по своему желанию дать себе другое сердце или быть хладнокровными, родившись с нежною и чувственной душой!».

Но ведь тело дано не для блуда, но для Господа, и Господь — для тела (*ср. 1 Кор.6:13*). Притом же, действительно ли эта душа есть нежная и чувствительная, и к чему именно? Если хорошенько вникнуть в эту душу, то она окажется не нежною и чувствительною, а гнездом пороков: самолюбия, гордости, чревоугодия, любострастия и прочего. Да и какой порок не найдет для себя извинений? Всякое злодеяние предполагает в преступнике склонность, увлекающую его в худые дела, и порок не перестает быть пороком оттого, что сердце к нему склонно. Нужно ли было и запрещать его, когда бы эта склонность не представляла нам его приятным?

Силен грех любострастия и производит величайшия бедствия! Какие же плоды его? Ничем не преодолимая невоздержанность, ожесточение сердца и помрачение ума в высшей степени, которые доводят грешника до ужаснейших преступлений. И за всем этим — мучительное беспокойство, тоска, страх и непреложное наказание Божие.

Любострастные часто наказуются жестоко в сей жизни, чему мы видим множество примеров. Они подвергаются бесславию и позору, которые иногда обращаются на все семейство. Они расстраивают свое имущество и здоровье, поражаются гнусными язвами, жестокими страданиями и заживо гниют, служат омерзением не только для других, но и для самих себя. Эти язвы и страдания мы видим в госпиталях и больницах; при одном взгляде на них потрясается от ужаса весь состав человеческий. Страсть всюду следует за грешником и не дает ему покоя ни днем ни ночью, ни в обществе, ни в уединении дома, ни в храме. Везде грешник носит за собою свою презренную страсть. Все ложные удовольствия, которые она ему обещает, — ничто в сравнении с теми бедствиями, которые она наносит.

Если, по слову апостола Павла, самое имя блуда не должно именоваться в обществе христиан, то что же будет на Страшном суде с теми, которые не только не удалялись от греха, но изыскивали даже случаи к нему и предавались страстям без всякого стыда? Так исполняются в точности слова апостольския: «*По упорству вашему и нераскаянному сердцу вы сами себе собрали гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, и Царствия Божия не наследуете*» (*ср. Рим.2:5*).

Что же делать, чтобы избавиться любострастия, влекущего за собою гнев Божий и наказание?

Во Святом Евангелии сказано: «Если правое око соблазняет тебя, вырви и брось от себя (*Мф.5:29*).

Вырвать глаз или отрезать у себя руку — то же самое, что удалить из сердца склонность ко греху, разрушить с ним связь и навсегда оставить, бросить его. Чтобы это исполнить, должно:

1. Удаляться от удовольствий и забав, которые соблазняют нас и легко вовлекают в пороки.

Лучше удалиться от мира, от соблазнов его, быть в неизвестности, сносить насмешки, презрение и оскорбления, а по смерти — блаженствовать в Царствии Небесном, нежели наслаждаться мнимыми удовольствиями мира и за это подвергнуться вечным мучениям во аде, лишившись истинных благ.

1. Избегать праздности, которая истинно может назваться хорошим училищем и источником великого множества пороков.

Когда человек трудится и занят делом, то искушения дьявола становятся слабы и недействительны.

1. Быть умеренным в пище и питии, не позволять себе роскошных, изысканных яств, вин и горячительных напитков.

Изобилием стола мы обременяем себя, делаемся ленивы, привыкаем к жизни бездеятельной, спокойной, никому не полезной и вредной для нас самих. Такую жизнь должно исправлять молитвою и постом. В числе беззаконий Содома, говорит пророк Иезекииль, были гордость, пресыщение и праздность (*ср. Иез.16:49*).

1. Удаляться от худых сообществ, в которых не имеют никакого почтения к чистоте нравов, где восхваляются пороки и осмеиваются добродетели.

Из этих сборищ не многие выходят не потеряв своей невинности, не усвоив себе поведения и нравов своих собеседников. Безнравственные книги, соблазнительные картины, любострастные стихи и песни еще более, нежели худые сообщества, вредят нам. Как трудно удалиться от греха, когда к бессмысленному веселию и радости шумных мирских собраний, к изобилию и изысканности яств и лакомств, к великолепной обстановке зрелищ присоединяются опасные сети бесстыдных женщин, которые умеют вызвать очарование своими нарядами и украшениями, столь же нескромными, как и блестящими.

1. Помышлять всегда о Страшном суде Божиим и о тех мучениях, которые ожидают грешников.

Эти размышления предохраняют благочестивых от падения, а нечестивых обращают на путь истины. В жизнеописании святых мы видим многие примеры того, как страх будущих мучений избавлял праведников от падения и гибели. Видим даже, что они сами себя добровольно подвергали страшным мучениям, чтобы избежать греха и не заслужить вечного наказания, как это сделал Мартиниан-пустынный [\[105\]](#). Он, желая уничтожить возбужденные в нем блудницей Зоей помыслы любострастия, развел большой огонь и стал в него босыми ногами. Ноги его обгорели, и он пал на землю, горько плакал и говорил: «Увы! Как же я могу перенести мучения от огня адского, когда не перенес их от огня обыкновенного, который перед тем — нечто иное».

1. Усердно молиться Богу и призывать Его на помощь себе, ибо без помощи Божией ничего не можем сделать сами собою.

Так поступал евангельский прокаженный, который, пав на колени пред Спасителем, умолял Его, говоря: «Если хочешь, можешь меня очистить» (*Мк.1:40*).

Имей твердую веру во всемогущество Спасителя, надейся на Его милосердие, покорись Его воле, сознай вполне свое недостойнство и непрестанно молись Ему, да очистит тебя от греха! Господь умилосердится и прострет руку Свою к тебе, кающемуся, как простер Он к прокаженному, и скажет тебе: «Хочу, очистишься!».

И страсть исчезнет навсегда! Конец.

Монах

Восточная притча

Жил-был и спасался в пустыне монах. И день и ночь постоянной молитвой искус отражал бесовский весь, и враг напрасно старался незримыми нападениями сбить с толку монаха, грехом заразить и с Богом разрознить. Монах не сдавался, молитву и крест, как хранительный щит, держал неуклонно и храбро сражался. Взорвало то демона, он не стерпел той брани, не вынесла адская злоба.

Вот как-то пустынный молился и бдел всю ночь, и во образе вдруг эфиопа лукавый предстал перед ним, но монах нимало явлением таким не смутился; напротив, с крестом и с молитвой в устах он грозно к демону лицом обратился и с полною властью вот что сказал:

— Во имя распятого Бога тебя заклинаю: ни с места!

И демон как вкопанный встал. Монах продолжал:

— Знаю, что, если захочешь опять быть Ангелом светлым, — лишь было б смирение. Ты знаешь, конечно? Да как же не знать те сладкие песни небесных хвалений, которыми ты славил Бога? Итак, не выпущу вон я из кельи, доколе ты мне не споешь так пленительно, как в Небе певал, а если по воле не сделаешь этого, то стой здесь годы и веки, ты связан мною.

— Помилуй! — воскликнул тут демон. — Ей-ей, не в силах я драться и биться с тобою. Равно не в силах, поверь мне, петь песни былые, которыми Бога когда-то я славил! Да если б и в силах, поверь мне, от них души бы твоей в теле ты здесь не оставил, а весь бы истаял, как воск от огня, и дух бы твой вылился, верно, слезами от сладких тех песней, которыми я славил, пел Бога по-Ангельски теми устами, которых нельзя для того растворить; что хочешь ты делай, а петь я не стану.

— Коль так, — отвечает монах, — так и быть — ни с места! А я на молитву восстану и в ней осеню тебя силой креста!

И стал на молитву монах, окрестился, но, лишь оживились молитвой уста, с ног до главы весь огнем окружился, затрясся, как Каин, неистовый враг, и громко возопил он, огнем тем сгорая:

— Ой, ой! Не молись ты, жестокий монах! Не жги, не пали! Не тирань, опаляя молитвенным пламенем грозно меня! Ты страшен мне! Полно! Я петь соглашаюсь! Но знай, что мой голос так тронет тебя, что вылетит дух твой из тела!

— Пусть вылетит дух, — молвил монах, — ну так что же, не каюсь. Ты пой лишь, и, что бы со мной ни случилось, твое ли тут дело?

Бес крикнул:

— Как знаешь, когда ты вот так непреклонен на милость!

И, горько поморщась, сгорающий бес вниманьем в минувшее весь погрузился и сладким блаженством забытых Небес на время, как прежде, опять оживился... Как вихрь, вот тронулись крылья на миг.

Петь начал бес песни — и звучно, и мило; и демон пел так восхитительно их, что бедный монах таинственной силой весь в слух превратился, в трепет любви, в какое-то сладкое сердцу желанье. Из глаз его слезы ручьем потекли, он весь стал любовью и весь стал желаньем, и, прежде чем кончились те песни, он как свеча истаял от их сладостной тайны и дух во слезах его вылился вон.

Те ж песни забытые вспомнив случайно, сам бес их не вынес, весь в них просветлел, смиренно заплакал, как воск растеплился, на Небо, как Ангел, тогда ж возлетел, и к Богу с монахом он вместе явился.



Пример терпения и кротости

В одном монастыре жил инок Пимен.

Он был из малороссов, немощный старец 70 лет. По послушанию колол дрова, носил воду, разводил очаг.

Повар монастырский отличался вспыльчивым характером, часто, рассердившись, бил отца Пимена чем попало: кочергой, ухватом, метлой.

Никто никогда не видел, чтобы отец Пимен рассердился на повара и сказал бы ему обидное слово. Иногда кто-нибудь из братьев участливо подойдет к нему:

— Больно тебе, отец Пимен?

— Ничего! — ответит он, и его старческое лицо осветится детской, ласковой улыбкой.

Однажды один иеромонах этой обители заснул на молитве и видит сон: видел он обширный сад, наполненный деревьями необыкновенной красоты; деревья были покрыты плодами, испускающими тонкое благоухание.

— Кто обладатель этого чудного сада? — подумал иеромонах и вдруг видит отца Пимена.

— Отец Пимен! Как ты здесь? — воскликнул он.

— Господь мне дал. Это моя дача! Как делается на душе тяжело, я ухожу сюда и утешаюсь.

— А может быть, ты дашь мне райских яблоков?

— Отчего же, с удовольствием! Протяни твою мантию!

Отец иеромонах протянул мантию, и отец Пимен насыпал на нее множество чудесных плодов. В это время иеромонах увидел своего покойного отца, бывшего священника.

— Тятенька, и ты тут! — радостно воскликнул он и протянул руку...

Конец мантии выпал из его рук, а с ним плоды упали на землю, и иеромонах проснулся. Он подошел к окну своей келии и услышал крик.

— Ах ты, негодяй! — кричал повар. — Опять мало принес воды! Надо, чтобы все ушаты были полны, а ты не сделал этого!

Ругаясь, повар бил отца Пимена кочергою, сколько у него хватало сил.

Иеромонах вышел из своей келии.

— Оставь его! — обратился он к повару. — Отец Пимен, пойдем ко мне, попьем чаю.

Тот пошел.

— Где ты сейчас был? — спросил он у отца Пимена.

— Да заснул немного в поварне и по старческой памяти забыл принести воды в достаточном количестве, чем и навлек на себя неудовольствие повара.

— Нет, отец Пимен. Не скрывай от меня, где ты сейчас был?

— Где я был? — ответил отец Пимен. — Там же, где и ты. Господь по неизреченной Своей милости уготовал мне сию обитель.

— А что было бы, если бы я не уронил плодов? — спросил иеромонах.

— Тогда бы они остались у тебя, и ты, проснувшись, нашел бы их в мантии. Но только тогда я оставил бы обитель! — отвечал отец Пимен.

Вскоре после этого разговора отец Пимен скончался и навсегда переселился в уготованную ему обитель.

Да сподобит и нас Господь вселиться во Святой Его Дворец и веселиться там со всеми благоугодными Богу!

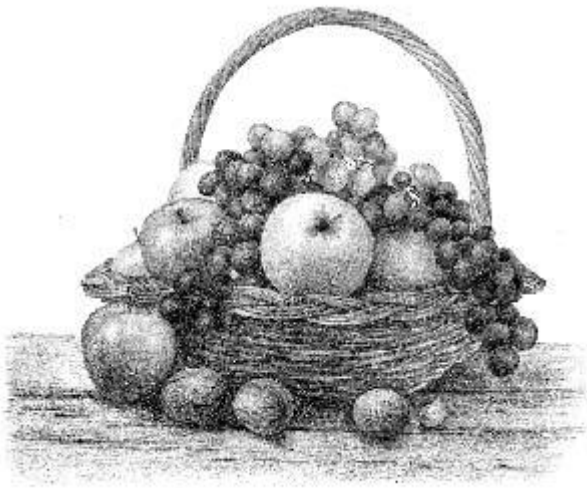
* * *

Будьте как дети — Христос заповедал —

Верьте доверчиво, просто, любя!

Счастлив, кто веру такую изведаль,

Царство он Божье открыл для себя!



О том, насколько милостыня поспешествует нашему спасению

У одного африканского князя был придворный чиновник именем Петр, который имел обязанность доставлять съестные припасы для княжеского стола, отчего и нѣжил великое богатство. Но при всем том чиновник был очень скуп, так что ни разу, как помнит себя, не подавал милостыни.

Казалось бы, что человек столь жестокосердный погиб безвозвратно. Но милосердный Господь привел Петра на путь покаяния следующим образом.

Однажды, отправляя во дворец печеные хлебы, Петр увидел пред собой нищего, который просил у него милостыню. Петр закричал на него с ругательством, но нищий не перестал просить у него милостыни и просил ради Христа.

Тогда Петр начал озираться по сторонам в надежде, не найдется ли ему камень, чтобы ударить столь назойливого нищего бродягу. Но так как камня вблизи не оказалось, то в крайней досаде схватил он хлеб и бросил его в лицо нищего. Нищий подхватил хлеб и пошел, благословляя подавшего.

Через два дня после сего Петр разболелся так сильно, что был при смерти. В сем состоянии он узрел себя в видении истязуемым на некоем судилище. Перед ним стояли весы, на которые с одной стороны черные, злобные страшилища возлагали его деяния, а с другой стороны Ангелы Господни стояли в недоумении. Первые рукоплескали и хохотали, вторые же с горечью говорили: «А что мы положим на чашу весов? Ведь ничего нет, кроме одного хлеба, который Петр бросил в лицо нищему».

Потом сию милостыню положили они на весы, но хлеб едва-едва приподнял чашу, обремененную грехами. Тогда святые Ангелы сказали ему: «Иди, убогий Петр, и приложи к сему хлебу еще несколько хлебов, чтобы не похитили тебя наши соперники и не увлекли в геенну огненную».

В сие мгновение Петр пришел в себя и, размышляя о видении, познал, что оно не было мечтою расстроенного недугом воображения, но самую истинною, уроком милосердия. И он подумал, обливаясь слезами: «Если один хлеб, с лютою досадою брошенный, столько мне помог, то сколько ублажает человека милостыня, во всю жизнь с благосердием подаваемая?». И с этого

времени поклялся перед Богом быть милосердным, а Бог, видя его раскаяние, вскоре восстановил его от одра болезни.

И действительно, Петр так твердо соблюдал данный им обет, что положил на сердце не щадить и себя самого.

Однажды встретился с ним незнакомец, обнищавший вследствие кораблекрушения, и, припадая к ногам его, просил прикрыть чем-нибудь наготу его. Немедленно Петр снял с себя верхнюю одежду и отдал ее несчастному. Но так как незнакомцу нечем было не только одеться, но и насытиться, то он, желая сделать оборот, отдал одежду Петра купцу для продажи. По случаю Петр проходил мимо и, увидев оную на торжище, весьма оскорбился; от печали в тот же день не вкушал пищи и, закрывшись, плакал. Он говорил: «Господь не принял моей милостыни! Видно, я недостойн того, чтобы пред Ним поминали мое имя убогие, возлюбленные рабы Его».

Скорбя и вздыхая, он уснул и вдруг видит перед собой благообразного мужа, паче солнца сияющего, крест на голове имеющего и в его одежду облеченного.

— Видишь сию одежду? — сказал ему явившийся.

— Ей, Владыко! — отвечал Петр. — Она прежде была моя.

— Итак, не скорби! — продолжал Явившийся. — Я от тебя принял ее. Я ношу ее и благословляю тебя за то, что Меня, погибающего от холода, ты одел оною.

Удивился воспрянувший духом Петр и сказал сам себе:

— Когда Христос заступает место убогих, то не умру и я, если сделаюсь одним из них.

После этого он все свое имение раздал, освободил рабов и ушел в Иерусалим. Там, поклонившись Животворящему Гробу Господню, упросил он послужить одному старцу. Там же и умер.



Чудесная лампада

Старинная повесть

*«...Я прочел в старинной книге
Это чудное преданье.
Записал безвестный инок
Его людям в назиданье!»*

Жил разбойник-душегубец,
Атаман большой ватаги,
Силы страшной, непомерной,
Образец лихой отваги.
Все наглее становился
Атаман тот год от года,

Не давал чрез лес огромный
Ни проезда, ни прохода.
Не встречал никто пощады,
Кто бы той ни шел дорóгой:
Будь купец богатый или
Странник, сырый и убогий!
С свистом, хохотом и гиком,
Жаждой крови пламенея,
Расправлялся он, злодей,
С каждой жертвой, не жалея.
А ограбив, принимался
За разгул и пиროванье,
И за вёрсты слы́шно было
Этой шайки ликованье.
И, творя молитву, путник
Прибавлял скорее шагу,
Зная злого атамана
И жестокость, и отвагу.
За годами мчатся годы,
Атаман все свирепеет,
При одном его названьи
Даже храбрые бледнеют.
И на всех такого страху
Банда эта нагоняла,
Что никто не идет, не едет —
Грабить некого им стало.
На совет сзывает шайку
Атаман лихой: «Ребята!
Погуляли мы отважно,
Жили весело, богато.
Хоть частенько рисковали
Под топор попасть, на плаху,
Но зато теперь такого
Всюду задали мы страху,
Что, кажись, лесная птица
Пролетать давно боится
Над той чашей, где дружина
Наша храбрая таится!
Вот почти уже полгода,
Как обшарили палаты
Мы боярские, что были
Так разубраны богато.
И с тех пор хоть бы копейка
Перепала нам шальная...
Потому, ребята, дума
У меня сейчас такая:
Мы пойдем в другое место...
То-то славно погуляем!
Чем не жизнь в степях далеких,
Что за синим за Дунаем!».
«Ладно, батька! — отвечает

Стройным голосом дружина. —
Только денег на дорогу
Нет у нас, вот в чем кручина!» —
«Монастырь неподалёку...» —
«На Святую ту обитель
Не дерзнем...» — «Эх вы! Давно ли
Вы настолько сла́бы стали?!
Монастырь — какая крепость!..
Эка! Струсил монахов
Вы, которых не пугали
Никогда петля и плаха!
Не хотите ли в святые
Вы под старость записаться?
Поздно, други дорогие,
Не мечтайте понапрасну!
Как отправим в рай монахов,
Так они за нас, конечно,
Там молиться сразу станут
Верно, искренне и вечно;
Вам услугою отплатят
Те монахи за услуги!
Ну, ребята, поживее
За кинжал и за кольчуги!»
На острóты атамана
Дружно все захохотали
И к походу на обитель
Собираться быстро стали.
Не пошел один лишь только,
Говоря: «И так я грешен!»,
И в пример другим сейчас же
Атаманом был повешен!

* * *

Речка тихо омывает
Берег сонною волною,
А на нем стоит обитель
С белокаменной стеною.
Звонкий колокол монахов
Всю окрестность вкруге будит:
Братья в храм идут. Последней
Эта служба, знать-то, будет!
Тихий голос иерея,
Хора истовое пенье
Нарушают свист и грохот,
Крики злобы и глумленья!
Беспощадные злодеи,
Разъяренные, как звери,
В храм врываются толпою,
Выбивая окна, двери...
Вот в алтарь бегут и всюду,

Будто волки, так и рыщут,
Денег спрятанных, сокровищ
С нетерпеньем всюду ищут...
«Эй! — кричат монахам бедным, —
Где у вас все деньги скрыты?
Говорите живо, если
Не хотите быть убиты...»
«Братья! — иноки в ответ им. —
Что вы? Все богатство наше —
Для свершенья службы книги
Да серебряная чаша».
«Лжешь! — за бороду седую
Взяв отца архимандрита
И грозя ему кинжалом,
Атаман кричит сердито. —
Говори, где спрятал деньги?
Говори, не запирайся!»
А на грозный окрик старец
Отвечает: «Брат, покайся!
До Господнего терпенья
Не превзойдется вся мера!». —
«Так тебя и стану слушать
Я — седого лицемера.
Отвечай скорей, где деньги?
Увернуться не старайся!»
Тот по-прежнему спокойно
Говорит: «Молю, покайся!».
«Так не скажешь? Что ж, проклятый... —
И в порыве гнева диком
В сердце он архимандрита
Ткнул кинжал свой острый с криком:
“К бесу в когти, в пекло ада,
Старый леший, убирайся!”»
И скончался тут же старец,
Раз сказав еще: «Покайся!».
«Бей всех!» — в диком исступленьи
Атаман кричит мгновенно.
Обагрились пол и стены
Кровью иноков священной...

* * *

На другой день, где стояла
Эта бедная обитель,
Гору мусора да пепла
Видел лишь окрестный житель...
Только с этого разбоя
Атаман переменялся:
Мрачен стал он и задумчив,
Весь он словно опустился.
На устах его улыбку

Не видала уж дружина,
На лице его лежала
Безотрадная кручина.
Стали сниться атаману
Им погубленные души,
И предсмертное «Покайся»
Все звучало ему в уши.
И, куда б ни уходил он,
Всюду грозно и сурово
Слух больной ему терзало
Роковое это слово.
В лес уйдет, где буйный ветер
Ветви гибкие колышет,
В шуме леса все «Покайся»
С тайным ужасом он слышит.
Выйдет на́ берег реки он,
Встанет, тайной грусти полный,
Смотрит на воду. «Покайся», —
С тихим плеском шепчут волны.
Пред глазами реет образ
Все того ж архимандрита —
Мука смертная во взоре,
Кровью мантия залита,
На устах все то же слово,
Грустно-кроткое «Покайся».
Ни минуты нет забвенья,
Ну хоть в землю зарывайся.
Атаман порою шепчет,
Диким ужасом объятый:
«Погубил навек меня ты,
Леший злой, колдун проклятый!».
Вот любовь жила какая
В сердце том, что перестало
Под ударом метким биться
Беззаконного кинжала!
И любовь та без границы
Не осталась без посева,
В сердце грешном заглушая
Злобы семя, семя гнева.
Шире стали в грешном сердце
И тоска, и скорби рана...
Все разбойники давно уж
Разошлись от атамана,
Одиноким он остался.
Лишь его в уединеньи
Навещали жизни прошлой
Безобразные виденья.

* * *

В непроходной чаще леса,

От людского скрыта взора,
Находилась небольшая
Полутемная пещёра.
В ней спасался некий старец,
Благочестием сиявший,
Трудный путь уединенья
С самой юности избравший.
Полон кроткою любовью
К людям, бедным и гонимым,
Он для всех отцом являлся
И наставником любимым.
Ровно к людям относился,
Славным или неизвестным,
И, врачую словом души,
Он врачом им был телесным.
Кто к нему ни приходил бы,
Болен или страшно грешен,
От него шел ободренным —
И спокоен, и утешен.
И несли к нему отвсюду
Все грехи свои и горе...
Раз весенним ярким утром
Атаман пришел к пещёре...



Но на стук его пещера,
Как другим, не отворилась.
День стоит он перед нею...
Вот уж солнце закатилось.
Ночь прошла... На синем небе
Вновь зажглась заря рассвета.
Снова день. Но из пещеры —
Ни ответа, ни привета.
Слышно только: Божий старец
Держит правило там строго,
Славит он Отца и Сына
И Святаго Духа-Бога...
Не отходит от пещеры
Атаман, молясь и каясь,

Освежаясь лишь росой
И кореньями питаюсь.
«Отвори мне, отче, двери,
Что пред грешником закрыты!» —
«Если б, брат, ты перед Богом
Так надеялся и верил!
Но, когда твое упорство
Превзошло мое усердье,
На тебя ж оно преклонит
И Господне милосердье!»
Атаман поведал старцу,
С сокрушением рыдая,
Все грехи свои, совета
Как спасенья ожидая!
Старец с грешником на землю
Пал... И плакал, и молился.
Наконец с такою речью
К атаману обратился:
«С миром, брат, иди ты снова
В самый лес тот отдаленный,
Что служил тебе приютом
Прежней жизни беззаконной.
Ископай себе землянку,
Поселись в ней одиноко
И моли там денно-нощно
С верой чистой и глубокой!
Умолив за души эти,
Что погублены тобою,
Умолись и за свою ты...
И вот на, возьми с собою
Эту старую лампаду
И поставь перед иконой,
Масла в ней не подливая,
Сам лампы не касаясь...
А когда же Сердцеведец
Ниспошлет тебе прощенье
И грехи твои на Небе
Встретят полное забвенье —
Эта чудная лампада
Даст тебе прощенья знамя:
В ней, зажженное незримо,
Засияет ярко пламя...».

* * *

Десять лет уж пролетело,
Как с лампадой возвратился
Атаман. В лесу, в пещере
Дикой чащи поселился...
День и ночь он на коленях
Пред святой иконой молит:

«Господи, меня помилуй, —
С верой чистой и живою. —
Ниспошли мне мир Твой, Боже,
И грехов моих прощенье.
От руки моей погибшим
Даруй вечное спасенье!».
Он лежит, во прах повергнут,
Не дерзая бросить взгляда
В угол, где перед иконой
Чуть чернеется лампада.
«Моего спасенья дай мне,
Милосердный Боже, знамя!» —
Молит он порой напрасно:
Не блестит в лампаде пламя.
Вновь отчаяние в душу
Атаману заползает,
Но горячая молитва
Злого беса прогоняет!
Иль его одолевают
Безобразные виденья,
Манят дней былых забавы,
И пиры, и наслажденья!
Вновь горячая молитва
Побеждает силы ада,
Но ни разу за все время
Не зажглась еще лампада...

* * *

Пролетает год за годом,
Два десятка лет минуло,
И в душе у атамана
Все прошедшее уснуло.
Он привык к уединенью
И к молитве постоянной,
И ничем не искушал уж
Старца демон окаянный.
И, когда людей убитых
Старцу чудились виденья,
Он читал на бледных лицах
Их не злобу, а прощенье!
И лицо архимандрита
Скорби уж не выражало,
Но любовью, братски кроткой,
Всепрощающе дышало.
И на мантии след крови
Становился все тусклее,
А лицо у атамана —
Все светлее и светлее...
И с природой подружился
Он, и с чуткою любовью

Звал с собою все творенья
Сердцем чистым к славословью
Всех Создателя! И звери
К старцу кроткому ласкались,
Если в чаше полутемной
С ним однажды повстречались.
И теперь к нему как гости
Ходят добрые соседи:
Приходили лисы, волки
И лохматые медведи...
И с природой в сердце старца
Пробуждается отрада,
Только нет ему прощенья —
Не горит его лампада.

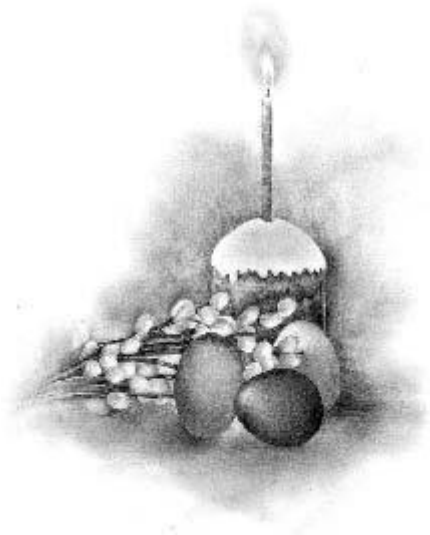
* * *

Три прошло десятилетия,
И давно уж понемногу
Проторили к келье старца
Люди грешные дорогу.
Так к бывшему атаману,
Душегубцу и злодею,
Шел больной, шел лютый грешник —
Каждый с скорбию своею.
И служила старца вера,
Порожденная терпеньем,
Многим злым и грешным людям
Самым лучшим порученьем.
Помогал радушно старец
Всем молитвой и советом...
Но до сей поры лампада
Не зажглася ярким светом.

* * *

На Страстной неделе как-то
Старец вышел из пещоры,
На воскресную природу
Обратил с любовью взоры.
Ручейки, шумя, бежали
Из-под тающего снега,
И была разли́та всюду
Чаровницы-вёсны нега.
Сев на камень придорожный,
Погрузился старец в думу,
С тихой радостью внимая
Треску льда и леса шуму.
В этих звуках прежде слышал
Он призывы к покаянью.
Ныне слышал радость жизни —
Весть святую упованья.

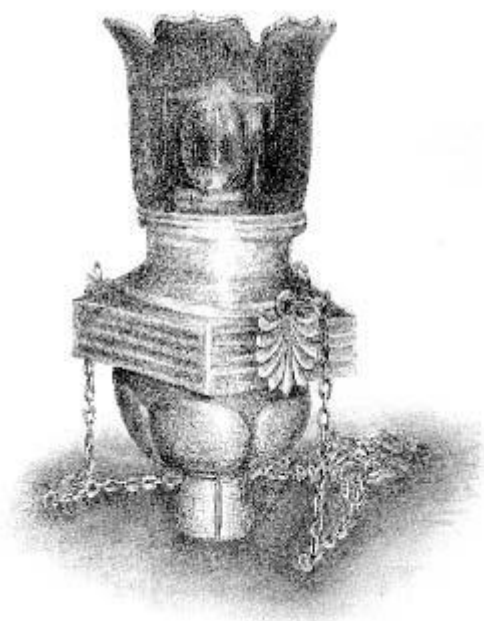
Видит он: какой-то путник,
Бедный, слабый и убогий,
Чуть идет к его пещере
Вязкой, мокрою дорогой.
Старец бросился навстречу;
Путник плелся еле-еле —
Тяжко дышит, так ослабли
Бедные душа и тело.
Старец ввел его в пещору,
Дал поесть ему, напиться,
Изо мха устроил ложе,
Уложил и стал молиться...
Пролежал три дня тот путник,
Не сказав еще ни слова,
Не то злясь, не то дивясь
На отшельника святого.
Наконец спросил он старца:
«Отчего твоя лампада
Не горит перед иконой?
Ведь в Святые Дни бы надо!
Иль купить не постарался
Ты пред Праздником елея?». —
«Нет! — ответил ему старец. —
Добрых дел я не имею!»
Рассказал он тут пришельцу
Жизнь свою и покаянье,
Услыхав в ответ на это
Безутешное рыданье.
«Отче! Грешник я великий!
Грешник я!» — твердил тот с плачем.
«Все мы грешны! — молвил старец. —
Перед Богом что мы значим?
Милосердный и Всещедрый
Даже в самом Своем гневе,
Мытаря спас, и блудницу,
И разбойника на древе.
Разорвет грехов Он наших
Бесконечные страницы,
Нет Его долготерпенью
С милосердием границы». —



«Нет, отец, с тобой так будет!
Веришь, вижу я, без меры.
У меня же не найдется
Даже тени этой веры.
Лишь отчаянье гнездится
В сердце. Нету мне спасенья...»
Снова влить пытался старец
В сердце брата утешенье!
С кроткой ласкою сердечной
Говорил ему все то же...
Тот забудется, он молит:
«О, помилуй его, Боже!».
К утру странник исповедал
Старцу грех, безмерно лютей,
И, сказав: «Молися, отче!» —
Отходить стал в ту минуту.
«Нет прощенья мне!» — вновь крикнул...
И душа вмиг улетела.
Три дня старец оставался
С грустью новою у тела.
Трое суток непрестанно
Он молил о мертвом брате:
«Пощади его, Источник
Бесконечной благодати!».
В третий день, уж на закате
В почве леса затверделой
Он большим сучком древесным
Вырыл мертвому могилу.
Схоронил без промедленья
С тихой, искренней молитвой:
«О, прими в Свои селенья
Дух усопшего, Владыко!».
Этот вечер был субботний.
«Завтра, завтра — Воскресенье, —
Старец думает. — И брату

Ниспошлет Господь спасенье!»
У пещоры сел, любуясь
Лесом, словно бы притихшим...
Он в душе молил о брате,
Как и сам он, согрешившем.
А в природе словно тайна
В этот вечер совершалась,
И в каком-то ожиданьи
Все как будто волновалось...
Старцу, жившему с природой
Столько лет, давно понятным
Все казалось, что он слышал
В этом лесе ароматном.
Он услышал, как, промчавшись
По верхушкам в темном лесе,
Шаловливый теплый ветер
Зашептал: «Христос Воскресе!».
То же самое шептали
И ручей во сне дремучий,
И веселый дождик, брызнув
Из примчавшейся вдруг тучи.
То же самое кричали
Дружным хором вереницы
Вперегонку пролетавшей
Перелетной Божьей птицы.
Видит старец вновь виденье:
Все убитые им встали
И ему «Христос Воскресе!» —
Хором радостно сказали.
Видит он архимандрита:
На лице следа нет муки;
В белой ризе простирает
К старцу радостно он руки.
Вмиг вселилась в душу старца
Небывалая отрада,
Тихо он побрел в пещору,
Где стоит его лампада.
Тишь и мгла в его берлоге.
Хилый, скорбный, утомленный,
Рухнул старец на колени
Перед иконой потемнённой.
Преисполнилось в нем сердце
И любви, и состраданья,
Был готов для блага ближних
Он пойти хоть на страданья!
Начал громко он молиться,
Речь рыданьем прерывая:
«О, Воскресший днесь из мертвых,
Нам отверзший двери рая,
Давший нам Святое Царство
Света, правды, благодати!

Пред Тобою припадая,
Я молюсь о мертвом брате.
Пощади его Ты душу
И любовью бесконечной
Все загладь его деянья —
И прости ему, Предвечный!
Если жертвы Ты восхочешь
Его ради оправданья,
Зачти все мои молитвы
И мое все покаянье!
Я не умер. И начну я
Покаянье хоть и снова,
Но спаси его, нас ради
Воплотившееся Слово!
Коль по правдости Твоей
Подлежит он наказанью,
На меня обрушь, молюся,
Все те стрелы и страданья.
Обрати меня на муку,
Лишь его спаси от ада!..».
Засиял вдруг свет в пещере —
Затеплүлася лампада...
В неземном восторге старец
Пред иконой пал в то время,
И с души его скатилось
Жизни тягостное бремя!
Ввысь она вдруг полетела
Прямо к Божьему Престолу.
На земле лишь было тело,
Распростершееся долу.
А лампада все сияла
Нестерпимо ярким светом,
Словно в ней душа горела —
Та же, что и в теле этом...
Взяли иноки с молитвой
Недоступное для тленья
Тело старца из пещеры
В монастырь для погребенья...
И один смиренный инок
Эту жизнь и покаянье
Записал в часы досуга
Всем нам, грешным, в назиданье!



Грош

Старинная повесть

Это было в старинные годы...
Темной ночью тропинкой лесной
Из далекой деревни усталый
Шел священник домой от больной.
Вот идет он и молится Богу
За больных и несчастных людей.
Вдруг ему преграждают дорогу.
«Стой! — выходит грабитель-злодей. —
Стой! Ни с места!» — Священника взяли,
Повели далеко, в самый бор.
Там разбойники шумно гуляли,
Там пылал на поляне костер.
Привели старика к атаману.
«Деньги! — гаркнул, смеясь, атаман. —
Выворачивай в рясе карманы,
Раздели подаянье на стан». —
«Ни гроша нет, поверьте мне, братья!
Нищим быть я давно дал обет». —
«Обыскать!» — Перещупали платье,
Обыскали. Воистину, нет!
«Ну, а дома богатство какое?
Если правду не скажешь — беда!
Неужель ни гроша за душою?»
И ответил он им: «Никогда...».
Старый пастырь домой возвратился,
Перед сном раздеваться он стал,
Вдруг какой-то кружок покатился,

Слабо брякнул по полу металл...
Испугался священник: «Что это?
Неужель исповедал я ложь?». —
Стал искать и увидел монету —
На полу позаброшенный грош.
И оделся старик торопливо,
И пошел к душегубцам в леса.
Приняла его ночь молчаливо,
Мрачно вѣсли над ним небеса.
Вот свернул он уже на поляну
И кричит, задыхаяся: «Эй!
Проводите меня к атаману,
Проводите меня поскорей!».
Чу! Идут... По кустам захрустело.
«Это ты все, старик? Уходи!» —
«Проводите! Есть важное дело!» —
«Ну, ступай! А добра ты не жди!»
Вот мелькают разбойников тени:
Песни, пляски и море вина...
Старый пастырь упал на колени.
Пир внезапно умолк — тишина...
Простирая к злодеям объятья,
Неутешно старик зарыдал:
«Виноват перед вами я, братья!
Виноват! Перед вами солгал...
Я — служитель великого Бога.
Вечной истине верно служа,
К светлой правде прямую дорожку
Я других избирать поучал!
А теперь осквернился я ложью,
Утаил от вас деньги... Вот — грош!
Пусть немного... Но истину Божью
Не цена нарушает, а ложь!..».
Ночь прошла. Уже утро светилось,
Просветлел, просветился восход.
Благодатное чудо свершилось —
Перед старцем склонился народ.
Все разбойники пали, рыдая:
«Добрый пастырь, прости нас, прости!
Озарил нас правда святая.
Научи нас за нею идти!».
Разгорелися зори восхода,
И исчезнула тьма навсегда.
Это было в старинные годы,
Это может случиться всегда.



Сказание о честной чудотворной иконе Пресвятой Богородицы, называемой «Достоинно есть»

Храм на Карее^[106] едва ли не древнее всех святогорских^[107] храмов. Его основание приписывают [Константину Великому](#)^[108], что очень вероятно, если взять во внимание его ветхость, которая до того уже довела это святилище, что на нем нет и купола, замененного плоским потолком. В храме все дышит византийским характером и божественною простотою.

В этом храме в алтаре над горним местом находится чудотворная икона Божией Матери, известная под названием «Достоинно есть». О ней вот какое предание сохранилось между святогорскими иноками.

Один старец жил отшельнически с учеником своим в келье в расстоянии полуверсты от Кареи; редко оставляли они свое уединение и разве только по крайней нужде. Случилось так, что старец, однажды пожелав выслушать бдение под воскресенье в карейском соборе, отлучился туда, а ученик его остался дома.

Не совсем книжный, но благоговейный юноша не мог, а может быть, и не хотел в разнообразии песен духовных изливаться перед Богом чувства души своей, а потому, поручая себя особенному предстательству Богородицы, он более всего прибегал к Ней и Ее величал в простоте непорочного своего сердца.

И в настоящий раз, оставшись в келье один, он по наступлении вечера и ночи немолчно пел пред иконой Небесной Царицы вытверженную им песнь Церкви: «Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим!..» — не прилагая более никаких славословий, кроме

вздохов умиляющейся души.

Чем более пел юный инок, тем отраднее, тем живее трепетало его сердце от чувства признательности к Славнейшей горних сил нашей Заступнице: смиренный голос его звучно отзывался в убогих стенах келии и, переливаясь из тона в тон и из звука в звук, непонятным для него самого образом проникал в небо и доносился до славимой там от Ангелов Матери Божией, с материнской любовью назирающей певцов Своих.

Тогда как распевал таким образом свои сердечные чувства благоговейное чадо Святогорской пустыни, внезапно явился перед ним прекрасный юноша.

Между ними завязался разговор.

— Что ты делаешь? — спрашивает инок явившийся.

— Да вот пою «Честнейшую!» — простодушно отвечает тот.

— Ну-ка спой, я послушаю, как ты поешь! — прибавил явившийся.

Скромный инок, не изменив ни чувств, ни голоса, запел с трогательным умилением заученную им песнь: «Честнейшую Херувим...».

— Ты не так, братец, поешь, и не-по нашему, — заметил явившийся, выслушав до конца пение инок. — У нас не так величают Божию Матерь!

— А как же? — спросил удивленный инок.

— А вот как! — проговорил тот и запел: «Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего!». А после этой песни мы уже припеваем и «Честнейшую...», — прибавил прекрасный гость и замолчал.

— Прости, Бога ради! — начал тогда инок. — Я так научился петь от своего старца и до сей поры еще не слышал такой песни «Достойно». Хорошо было бы, если бы ты мне написал; я бы ее вытвердил: а то я такой беспамятный, что, наизусть без запинки что ни выучу, через час все и забуду.

— Изволь, братец! Дай бумаги и чернил, я тебе напишу для памяти песню нашу.

Инок кинулся искать, но не нашел ни лоскута бумаги и ни капли чернил. С прискорбием возвестил он своему гостю, что, занимаясь молитвою и рукоделием, редко нуждаются они в бумаге и чернилах, потому и не имеют их в настоящее время.

— Что же я теперь буду делать? — сказал инок явившемуся. — И выучить-то крайне хотелось, а уж, верно, без записки я забуду!

— Когда так, то не беспокойся, брат, — отвечал тот. — Я тебе напишу для памяти эту песнь вот на этом камне, и ты, заучив ее, сам так пой и скажи всем христианам, чтобы так славословили Пресвятую Богородицу!

Тут явившийся юноша подошел к близ лежавшей каменной плите и перстом начал писать на ней всю Богородичную песнь.

Как воск умягчился камень под рукой таинственного посетителя: пишущий перст его глубоко врезывался, и слова четко и ясно отпечатывались на камне.

— Не забудь же сказать, чтоб отселе все так славословили Матерь Божию! — повторил еще раз явившийся иноку и как молния исчез от изумленных его взоров.

Радостный трепет объял скромного инока при виде исписанного камня; он недоверчиво ощупывал несколько раз и перечитывал чудесные слова удивительного юноши.

К рассвету песнь Божественная торжественно звучала уже в устах бдительного отшельника: он всю ночь провел без сна в признательности к Господу и Его Пречистой Матери, и старец, возвратясь с Кареи, застал его поющим чудную песнь.

Новизна ученической песни поразила старца.

— Где ты выучился петь так? — спросил старец ученика, и тот рассказал ему случившееся и указал на чудный камень, исписанный рукою незнакомого посетителя...

Долго стоял над камнем изумленный старец: несколько раз перечитывал он Божественную песнь и, рассматривая письма неземного перста, не понимал совершившегося чуда.

— Что же ты не спросил явившегося тебе юношу, кто он и как его имя? — сказал старец ученику своему.

— Прости, отче! — отвечал он. — Я и забыл про это. Помнится только, что он называл себя Гавриилом[109].

— Так ты и не понял, какой Гавриил был у тебя в келье? — прибавил старец с улыбкой.

И, став пред иконою Богоматери на том самом месте, где пел «Достойно есть» явившийся юноша, в слезах сердечного умиления и признательности он запел славословие Богоневестной Матери. Ученик его присоединился к нему, и кто может выразить вполне их отшельнические чувства в эти мгновения?!

Того же дня старец явился к проту[110], рассказал обстоятельно про все случившееся в его отсутствие с его учеником, представил даже и самый камень пред собором святогорских старцев.

Тогда все едиными устами и единым сердцем прославили Господа и воспели новую песнь «Достойно» рождшей Его Преподобной Деве Марии.

С этой поры сия ангельская песнь вошла в Православной Церкви в общее употребление, а та икона, перед которой она была воспета Архангелом, перенесена в соборный карейский храм.

Камень, на коем начертана была ангельская песнь, доставлен в Константинополь Патриарху и царю с донесением о случившемся.

Келия в память этого чудесного события известна на святой горе под именем «Достойно», а самое событие воспоминается и празднуется на Афоне 11 июня.

Из книги «Вышний покров над Афоном».

Москва, 1982 г.



Святой великомученик и целитель Пантелеимон

В царствование императора Диоклетиана[111] в вифинийском[112] городе Никомидии жил знатный и богатый вельможа по имени Евстрогий.

Жил он в те времена, когда святая вера Христова распространилась уже по всей Римской империи, проникла во все семейства, начиная от хижины бедняка и заканчивая палатами императора.

Проник светлый луч святой истины и в дом преданного идолопоклонству Евстрогия; его принесла с собою жена вельможи Еввула и передала своему сыну, юному Пантелеимону, который носил еще тогда имя Пантолеона.

Семя Христова учения нашло в младенческой душе Пантелеимона добрую почву: всем сердцем полюбил отрок Спасителя, истинного Бога. К несчастью, неожиданный удар скоро прервал христианское воспитание сына: скончалась его благочестивая мать, и юный Пантелеимон всецело подпал под руководство своего отца, ревностного язычника, заставлявшего сына строго выполнять все обряды греко-римской религии.

Но сердце отрока невольно отвращалось от языческой суеты, и он продолжал свято хранить наставления покойной матери.

Так прошло несколько лет. По окончании домашнего образования юный Пантелеимон стал изучать врачебное искусство под руководством одного из лучших врачей того времени, придворного врача Ефросина.

Светлый ум юноши и его прилежание скоро преодолели трудности врачебной науки; он

сделался любимым учеником Ефросина и его помощником. Старый врач прочил Пантелеимона на свое место и старался обогатить юношу как познаниями, так и опытностью.

Но вскоре юноша нашел себе и другого наставника, который научил его иной, высшей науке, который сделал его целителем болезней не только тела, но и души.

На той улице города, которой ходил юный Пантелеимон в школу Ефросина, находился бедный домик престарелого христианского пресвитера. Старец Ермолай, так звали пресвитера, заметил скромного юношу и решился пригласить его в свой дом. Однажды, когда Пантелеимон возвращался от учителя, Ермолай попросил юношу посетить его убогое жилище. Юноша согласился.

Ласковое обращение старца, его наружность, исполненная добродушия и снисходительности, расположили Пантелеимона к откровенности, и он чистосердечно рассказал Ермолаю все о себе и своих родителях. Внимательно выслушав рассказ своего юного друга, благочестивый пресвитер спросил:

— Какую же веру исповедуешь ты, дитя мое, — веру ли матери или веру отца, и кем хочешь быть сам?

— Пока жива была моя мать, — отвечал юноша, — она учила меня вере христианской, которую я очень полюбил. Теперь же отец заставляет меня поклоняться богам. Что касается того, кем я хочу быть, то я изучаю науку Эскулапа[113], Галена[114] и Гиппократата[115], чтобы врачевать все болезни людей.

— Поверь мне, сын мой! — сказал тогда старец. — Ты можешь легко достичь своей цели, но не посредством изучения людских наук, а благодатною силою, которую можно получить лишь посредством живой веры в Господа Иисуса Христа. Он единым словом Своим не только врачевал неизлечимые болезни, но и исцелял, и даже воскрешал мертвых; что же пред Ним все эскулапы и гиппократаты? Сами боги ваши перед Ним, истинным Богом, — ничтожны. Бесплодны все ваши моления пред идолами, но пред Ним молитва всемогуща и чудодейственна, ибо Сам Он обетовал: *«Именем Моим бесов будут изгонять, без вреда брать змий; на недужих возложат руки, и они получают здравие...»* (ср. Мк.16:17-18).

Слова благочестивого старца произвели глубокое впечатление на восприимчивую душу молодого Пантелеимона: он вспомнил уроки матери, вспомнил ее наставления — и посеянные в душе его семена святой веры стали быстро возрастать и укрепляться.

Наконец один случай окончательно рассеял все сомнения юноши и привел его к решимости сделаться христианином.

Однажды Пантелеимон, идя по дороге, увидел лежавшего мальчика. Он хотел подойти ближе к лежавшему, но вдруг отступил в ужасе: огромная змея шипя поднялась с того места, где лежал укушенный ею мертвый отрок, и хотела броситься на юного Пантелеимона.

Оправившись от первого испуга, юноша подумал: «Вот удобный случай испытать, справедливы ли слова Ермолая о чудодейственной силе благодати Христовой». Затем, возведя очи свои на небо, он начал молиться: «Господи, Иисусе Христе! Если хочешь, да буду рабом Твоим; яви силу Твою и сотвори, да во имя святое Твое оживет отрок сей, змей же да будет мертв!».

Едва окончил он молитву эту, как мертвый встал, а змея расторглась надвое. Это чудо поразило юношу. Немедленно пошел он к своему духовному наставнику и рассказал о случившемся.

Видя Пантелеимона достаточно утвержденным в вере, старец Ермолай предложил ему принять святое крещение. Юноша сразу же согласился. Приняв крещение, новообращенный семь дней провел в доме своего духовного отца, поучаясь в слове Божиим, заповедях евангельских и правилах христианской веры. Затем он возвратился к своему отцу.

— Сын мой! — воскликнул обрадованный вельможа, увидев Пантелеимона. — Где ты был столько времени? Я сильно беспокоился о твоей участи!

— Я был с учителем, — отвечал притчею юноша, — в царском дворце, где мы семь дней врачевали одного любимца императора.

Явившись на другой день к Ефросину, Пантелеимон на его вопрос отвечал также притчею:

— Отец мой купил поместье за дорогую цену и послал меня тщательно осмотреть его и принять от продавца.

После того юноша продолжал по-прежнему свои занятия у Ефросина, постоянно посещая в то же время и старца Ермолая и совершенствуясь от него в познании христианской истины.

Сподобившись великих даров Христовой благодати, он хотел приобщить к ней и всех близких ему людей. Особенно скорбел он о своем отце, блуждавшем во тьме идолопоклонства. И вот юный Пантелеимон мало-помалу начал доказывать отцу всю суетность, всю нелепость почитания бездушных идолов, созданий рук человеческих.

Долго закоснелый язычник упорствовал в своих суевериях, но наконец усилия мудрого юноши дали результат: здравый смысл одержал верх в душе Евстрогия над привязанностью к старине, и он убедился в ничтожестве языческих богов.

Почва для новой веры таким образом была подготовлена, оставалось ждать удобного случая, чтобы посеять в ней семена евангельского учения. Случай этот вскоре представился.

Однажды, когда святой Пантелеимон разговаривал со своим отцом, к нему привели слепого, который умолял юношу оказать ему помощь.

— Молю тебя! — говорил несчастный. — Возврати мне зрение и помоги избавиться от болезни, которой не мог вылечить ни один из врачей, к которым я обращался.

— Дар зрения есть великое благодеяние Божие, — смиренно отвечал юный врач. — Даровать его не может никакое искусство, а только сила Господня.

Услышав это, Евстрогий сказал сыну:

— Не берись, сын мой, за то, что сделать ты не в состоянии, иначе подвергнешься осмеянию. Можешь ли ты помочь этому слепцу, если все лучшие врачи не принесли ему никакой пользы?

— Того лекарства, — отвечал юноша отцу, — которое я хочу испытать, не знает ни один из наших врачей. Большая разница между ними и моим наставником, который научил меня врачеванию.

— Но ведь, я слышал, что и учитель твой не помог этому слепцу? — заметил Евстрогий, думая, что сын его говорит об Ефросине.

— Обожди немного, отец мой! И ты убедишься в силе моего лекарства, — отвечал святой

Пантелеимон отцу и, прикоснувшись затем к глазам слепого, сказал:

— Во имя Господа моего Иисуса Христа прозри и виждь.

Тотчас глаза слепого открылись и всякие следы болезни исчезли.

Это чудо глубоко поразило Евстрогия, и он вместе с исцеленным уверовал в единого истинного Бога, Бога христиан.

Приняв святое крещение, Евстрогий из закоснелого язычника сделался ревностным рабом Христовым. В благочестии и святости провел он остаток дней своих и мирно скончался на руках своего дивного сына.

Получив по смерти отца богатое наследство, святой Пантелеимон немедленно постарался дать ему христианское употребление: прежде всего он отпустил на волю всех рабов своих, щедро наградив их; затем он начал щедрою рукою благотворить бедным, сирым и убогим. В то же время он начал посещать больницы и безвозмездно подавать помощь больным.

Такое необычайное поведение молодого врача не могло укрыться от народа, и скоро весь город узнал, что святой Пантелеимон сделался христианином.

Слух об этом скоро достиг и царского двора. Соправитель Диоклетиана, император Максимиан[116], лично знавший святого Целителя, призвал его к себе и ласково вступил в разговор.

— Скажи мне, Пантелеимон, — спросил он юношу, — справедлив ли слух, что ты сделался поклонником Христа? Я сам думаю, что это клевета твоих завистников, обличи же их и принеси жертву богам!

— Нет, государь! — смело отвечал святой Пантелеимон. — Это правда, я верую в единого Господа Христа, Который не только врачует болезни, но и воскрешает мертвых.

— Как! — грозно воскликнул император. — А разве не знаешь, сколько погибло христиан, презиравших повеления своего государя и не хотевших поклониться богам?

— Кто умер за Христа, — кротко ответил юноша, — тот не погиб, но приобрел жизнь вечную в райских обителях.

Разгневанный Максимиан осыпал юношу упреками и бранью. Затем, разъяренный твердостью святого, он крикнул палачей и приказал предать Пантелеимона мучениям.

Начались неслыханные, зверские истязания. Употреблено было все, что могла придумать злоба мучителя. Вместе с тем открылось поразительное зрелище твердости мученика и дивной силы Божественной благодати, укрепляющей святого страсотерпца.

Сначала юношу повесили и строгали его обнаженное тело железными когтями, обжигая при этом ребра его факелами.

Мученик с твердостью переносил эту страшную пытку, затем громогласно воззвал к Господу о помощи, и тотчас руки палачей ослабели и орудия пытки выпали из их рук.

Пораженный чудом, Максимиан приписал его волшебству и велел бросить юношу сначала в котел с расплавленным оловом, затем в море с тяжелым камнем на шее, но расплавленный

металл не обжигал мученика, а камень плавал поверх воды.

— Что за сила твоего невероятного волшебства, что даже и море повинуетя тебе? — вскричал в бешенстве тиран, обращаясь к чудотворцу.

— Небо, земля и вода повинуются не мне, а Христу и Создателю моему, — ответил святой целитель.

Тогда император приказал отвести Пантелеимона в цирк и бросить на съедение зверям.

Голодные звери, однако, не тронули святого и ласкались к нему, как кроткие агнцы. Единодушный крик изумления раздался в цирке: «Велик Бог христианский!». Изумился и Максимиан, но не вразумился и приказал колесовать святого Пантелеимона на огромном колесе с острыми ножами. И тут, однако, злоба мучителя была посрамлена: едва палачи начали вращать колесо, как оно разлетелось на части и своими осколками ранило многих зрителей. Мученик же остался невредим.

Снова тиран призвал к себе Пантелеимона.

— Кто научил тебя такому волшебству? — спросил он.

— Научил меня, только не волшебству, а истинному благочестию, один христианский священник Ермолай, — отвечал исповедник.

— Где он?

— Если желаешь, я призову его к тебе!

Святой Ермолай со своими двумя сослужителями скоро стояли перед лицом императора.

— Так это вы совратили моего врача с пути истинного? — спросил их Максимиан.

— Нет, государь! Напротив, он направлен нами на истинный путь веры Христовой.

— Пусть он снова обратится к богам! — приказал царь.

— Идолы ваши — не боги! — отвечали исповедники. — И мы не можем ни сами служить им, ни располагать к тому других!

Сказав это, святой Ермолай начал молиться Господу с просьбой явить Свою силу.

Раздался гул землетрясения.

— Слышите, как боги гnevаются на вас! — снова обратился к ним Максимиан.

Но в это время ему объявили, что все идолы в храмах неизвестно от какой причины пали на землю и обратились в прах. Тогда испуганный тиран сказал своим советникам: «Если мы не погубим этих волшебников, то весь город погибнет!». И приказал Пантелеимона бросить в темницу, а Ермолаю и прочим отрубить головы. Жестокое приказание было исполнено.

Через несколько дней император еще раз попытался обманом достичь того, чего тщетно старался достигнуть жестокостью.

Призвав к себе святого Пантелеимона, он ласково сказал ему:

— Пантелеимон, брось свое упорство. Твой учитель Ермолай уже раскаялся в своем заблуждении и за то вознагражден мною. Последуй и ты его примеру!

Провидя гнусную ложь в устах своего мучителя, святой страстотерпец попросил свидания с Ермолаем.

— Теперь его здесь нет, я послал его в другой город за получением богатого имения, — отвечал Максимиан.

— Я знаю это, — сказал тогда юноша. — Ты отправил его через мученическую смерть в город Бога Живого, где верующим уготованы небесные награды!

Потеряв всякую надежду преодолеть твердость святого мученика, тиран приказал тогда обезглавить его. Но напрасно палач несколько раз опускал тяжелый меч на выю святого целителя — меч тупился и сгибался, как трава, а святой Пантелеимон оставался невредим. Наконец он сам сжалился над усилиями палачей и был обезглавлен.

Тут новое чудо обратило ко Христу самих палачей: по отсечении главы мученика вместо крови истекло молоко, а дерево, под которым происходила казнь, мгновенно покрылось целительными плодами.

Бездыханное тело страдальца было брошено в огонь, но огонь не коснулся священных останков, которые были с честью похоронены христианами.

Впоследствии святые мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона были перенесены в Царьград (древнерусское название города Константинополь, ныне Стамбул. — *Ред.*); ныне же часть их, источая чудеса и исцеления, почивает на святой горе Афонской, в русском Пантелеимоновом монастыре.

Празднование святому Пантелеимону совершается 27-го июля (по старому стилю. — *Ред.*).



Дивные знамения благодати Божией

Чудодейственное явление Божией Матери с великомучеником Пантелеимоном 14-летней умирающей отроковице Лидии

Пишущий эти строки в назидание другим удостоверяет, что все рассказанное здесь есть совершенная, несомненная истина.

Слишком сильно три года тому назад заболела наша 14-летняя дочь Лидия. Понятно, я, родитель ея, и моя супруга очень встревожились, тем более что Лидия есть единственное, выплаканное у Милосердного Бога дитя наше, оставшееся в живых из 13-ти детей, разновременно умерших в младенческом возрасте.

Немедленно призван был один из самых лучших докторов, который, осмотрев нашу больную дочь, заявил, что она поражена пятнистым тифом, тем более опасным, что у больной горло сильно воспалено и загорожено отделявшимися от нёба и глотки клочками внутренних телесных покровов, сильно препятствующих дыханию.

Несмотря на все это, доктор усердно принялся за излечение нашей Лидии и трое суток бился со страшным врагом — тифом, навещая страдальцу по несколько раз в сутки. На четвертые сутки, перед вечером, провожая вышедшего от нас доктора до ворот нашего дома, я спросил его с замиранием сердца:

— Ну, что, доктор, какова наша больная? Скажите правду!

— Я скажу вам то, — отвечал мне доктор, — чего не нашел возможным сказать при вашей нервной, слабенькой супруге, а именно, что болящая ваша Лидия безнадежна: для излечения ея мною употреблено все, что дает нам наша наука для борьбы со страшным бичом — тифом, но не могу побороть его, и больная ваша нынче ночью, около 11-12 часов, должна умереть непременно.

— О, Господи! — вскричал я с отчаянием. — Не созвать ли консилиум, доктор?

— Никакой на свете консилиум не поможет больной вашей дочери, — отвечал доктор, садясь в свою пролетку. — Спасти ее может только одно чудо!

С каким чувством и значением произнес доктор последние слова, я, убитый горем, не вслушался, но слова эти на меня подействовали особым, вразумляющим образом: меня озарила вдруг вожделенная для меня мысль, что для нас остается еще надежда на помощь премилосердного Бога.

Не сообщивши супруге своей, из опасения поразить ее в самое сердце страшным предсказанием доктора насчет больной нашей дочери, а сказавши ей только, что он посоветовал помолиться о ней Богу, я в ту же минуту отправился в приходскую нашу Церковь, где в то время служилась вечерня, и просил священника пожаловать к нам для приобщения нашей болящей дочери Святых Христовых Тайн и для молебна о ее здравии.

Не более как через полчаса все это исполнилось. Наш благоговейный священник, причастив нашу больную, еле живую Лидию, приступил к совершению молебна Пресвятой Богородице и великомученику Пантелеимону пред святыми их иконами, красовавшимися в числе других в переднем углу спальни, где лежала болящая Лидия.

Пламенная была молитва наша и сопровождалась горячими слезами; наш добрый священник, искренне любивший нашу семью, видя наше стенание и горький плач, совершал молебствие тоже со слезами на глазах.

Молебствие кончилось. Окропив болящую и весь наш дом, священник еще с час посидел у нас, утешая нас изречениями из Священного Писания, и наконец ушел. Оставшись одни, я и моя супруга не сводили глаз с умиравшего нашего дитя, все же надеясь в нем видеть перемену к лучшему.

Так длилось часов до десяти, но тут слабенькая супруга моя, сидевшая на диване, будучи утомлена до последней степени трехдневным неспанием, невольно неудержимо склонилась на диванную подушку и заснула глубоким сном, а я, как более крепкий, остался сидеть у постели больной дочери. И продолжал наблюдать за ней.

И вот в половине 11-го часа при свете ярко горевшей перед святыми иконами в переднем углу лампы я с ужасом увидел, что перелом болезни нашей дочери совершается к худшему: конечности рук и ног ее при моем ощупывании их стали быстро холодеть, на лбу появился холодный пот, а дыхание ее сразу сделалось тяжелым, хриплым, прерывчатым. Видимо, приближались исходные минуты борьбы утихающей жизни со смертью.

Эта минута, о которой теперь даже страшно вспомнить, до высокой степени поразила меня, видевшего на поле брани смерти сотен моих товарищей; но ведь та была смерть чужих для меня людей, а теперь передо мною умирало мое родное, лелеянное дитя. Я не в силах был видеть этой поразительной картины смерти и, вышедши в другую комнату и припав лицом к столу, как ребенок зарыдал!

Но... о чудо! Вдруг явственно я услышал, что одр, на котором лежала умирающая дочь наша Лидия, скрипнул, как бы от движения встающего человека. Это привлекло мое внимание, и я с заплаканными глазами, затаив дыхание, подошел к открытой двери той комнаты, где лежала больная, взглянул и изумился, не веря глазам своим! Наша умиравшая Лидия, трое суток не могшая самостоятельно двинуть ни одним своим членом, которую по ее желанию переворачивали с боку на бок другие, — сама, собственными силами приподнялась, и села на середине своей постели, свесив с нее ноги, и заплакала; а потом вскоре, с видимым усилием выплунув на ковер перед своей постелью целый ком собравшихся в кучу, отпавших от неба и глотки разнообразных телесных шкурок, смешанных с липкой материей, — стала с кем-то для меня невидимым разговаривать, хоть для меня и невразумительно, невнятно.

«Что же это случилось, Господи, с нашей умиравшей Лидией?», — недоумевал я, окрыляемый радостной надеждой на добрый исход ее болезни.

А вот что случилось, как рассказала нам с радостными слезами Лидия наша, проснувшись с рассветом следующего дня совершенно здоровою. Что было прежде, Лидия не сознавала, потому что была в бессознательном, совершенном беспамятстве; только вдруг чувствует, что ее кто-то поднял и посадил на постели.

С трудом открыв глаза свои, она увидела, что перед ней стоят в лучезарном сиянии Пресвятая Богоматерь и правее Ея, несколько сзади, великомученик-целитель Пантелеимон, точь-в-точь в таком виде, как они изображены на святых иконах, стоящих в числе многих других в переднем углу спальни комнаты, перед которыми часа три тому назад со слезами и рыданиями совершалось молебствие с водоосвящением.

Дивное видение это так поразило нашу набожную Лидию, что она зарыдала радостными,

умиленными слезами и хотела восторг свой выразить словами, но почувствовала такую боль в глотке, что невольно схватилась правою рукою за свое горло.

— Пантелеимон! — обратилась Матерь Божия к бывшему при Ней великомученику. — Омочи перст твой в имеющемся у тебя в руках ковчежце с елеем и во имя Всесвятыя Троицы помажь уста и шею болящей отроковицы, да извержется из глотки ее все то, что ей причиняет боль и препятствует дыханию.

Пантелеимон приступил к Лидии и, омочив свой указательный палец правой руки в имевшемся при нем ковчежце с елеем, крестообразно помазал ей уста, а затем и шею, произнося при каждом разе: «Во Имя Отца, и Сына, и Святого Духа!». И, совершив это, стал на прежнее место.

— Теперь, отроковице, выплюнь то, что у тебя находится болезненно во рту, — сказала неизреченно ласково Божия Матерь Лидии, — и по неизреченному милосердию Господа и Спаса Христа, Сына Моего и Бога, по слезным молитвам родителей твоих и по молитве доброго пастыря, совершавшего ныне молитвословие ко Мне и Пантелеимону многострадальному, — будешь здрава и невредима от одержавшей тебя болезни.

Лидия исполнила это, и боль исчезла. Милосердные слова Богоматери привели Лидию в неопикуемый восторг, тем более что она в ту же минуту почувствовала себя совершенно здоровою, и Лидия с глубоким умилением проговорила:

— От всего сердца благодарю Господа за исцеление мое и за то даю искренний, лелеянный мною давно, заветный обет: с позволения родителей моих вступить в здешний Покровский девичий монастырь и до конца моих дней служить Ему, Богу моему, быть Христовой невестой.

— Благое дело избираешь, отроковице! — сказала на это Богоматерь Лидии. — И будешь в монастыре, да только предваряю тебя, что если ты отступишься от добровольного обета своего, то умрешь от этой страшной болезни, от которой теперь по слезным молитвам родителей твоих воздвиг тебя по Моему предстательству со страстотерпцем Пантелеимоном Премилостивый Спас: навсегда памятуй об этом!

С последним словом Богоматерь, осенив Лидию крестным знамением, оставила ее и вошла опять, как казалось Лидии, в киот пречистого образа Своего, из которого выходила. Так же поступил и многострадальный Пантелеимон.

Все это рассказала нам Лидия поутру, пробудившись от сна; после же чудесного явления к Лидии Богоматери больная спокойно улеглась опять на своей постели, и моментально погрузилась в глубокий сон, и беспробудно спала до самого утра.

На другой день утром, когда умиравшая наша Лидия проснулась совершенно здоровою, был приглашен к нам опять тот же добрый местный священник, отец Евграф, и по нашей просьбе опять отслужил для нас молебствие Пресвятой Деве Марии и великомученику Пантелеимону, только теперь уже за исцеление умиравшей уже благодарственное, которое также сопровождалось нашими слезами, только умиленно-радостными, благодарными слезами.

Вскоре после того мы пошли к владыке, Высокопреосвященному Серафиму, который очень благоволил к нам, и рассказали ему о чудесном явлении Богоматери к нашей Лидии и обо всем, что с нами тогда было.

«Чудны дела Твои, Господи, — сказал Высокопреосвященный, с большим вниманием выслушав наш рассказ, а потом внушительно добавил: — Во всем, что случилось, я вижу перст Божий, и,

по моему крайнему разумению, Лидия ваша должна немедленно вступить в монастырь, да не горшее что с ней будет».

Слова владыки были нами приняты с сердечным умилением, особенно моей супругой и дочерью Лидией. И супруга тут же изъявила неперемное желание вместе с Лидией ввиду ее несовершеннолетия вступить в тот же монастырь, с тем чтобы мне остаться в мире одному на том основании, что мы не имеем никакого состояния, а живем единственно на пенсии, а она, пенсия, была бы отнята у меня, если бы и я тоже вступил в монастырь.

Найдя все это достойным уважения, Высокопреосвященнейший владыка одобрил план наш и, благословив супругу мою и дочь нашу Лидию образами на новую жизнь в святой обители, отпустил с миром.

Таким образом, супруга моя и дочь Лидия, оставив житейское море, по слову святого Песнопевца, вступили в тихое пристанище, Воронежский Покровский девичий монастырь, и с лишком три года, благодарение Господу, жили в нем, в хорошей келии, которую мы из последних своих усилий построили. Но тут, именно в Великий пост текущего года, с Лидией нашей произошло почти то же, что описано было выше.

Вот как это было.

Однажды Лидии случилось быть в келье одной очень доброй, набожной старицы-монахини. У этой же монахини гостила в это время некая молодая светская девица, учившаяся в одном из местных женских училищ. Вступив в разговор с простодушной, уже 17-летней Лидией нашей, эта светская девица с напускным пафосом насаждала ей таких вещей, что она, Лидия, возвратившись в вечерню от старицы в свою келью, стала, как исступленная какая, развивать перед матерью свою грешную мысль, что обет поступить в монастырь, данный ей три года тому назад во время ее страшной болезни, не может быть обязательным для нее, так как она, Лидия, в то время была еще несовершеннолетней, и многое другое наговорила, что мать ее, мою супругу, поразило до весьма высокой степени.

То же повторила Лидия и мне, отцу своему. И что же? В ту же ночь Лидия заболела, как и прежде, страшным пятнистым тифом, и к вечеру другого дня была так плоха, что приглашенный для ее напутствования монастырский иерей принужден был дать ей глухую исповедь перед приобщением Святых Таин.

В то же время приглашен был для подания Лидии помощи лучший городской доктор. Осмотрев больную, он заметил нам, что, по всем признакам, она, вероятно, уже была больна таким тифом, который теперь и возвратился. Мы все рассказали, и набожный доктор сказал, что и теперь больную может спасти только помощь свыше, и никакое человеческое искусство не поможет, и Лидия, судя по признакам, должна скончаться часу в 12-м ночи.

И вот тут-то, как и в первый раз, мы опять с великим усердием прибегнули к предстательству Богоматери и святого Пантелеимона. Немедленно было совершено по нашей просьбе перед святыми иконами монастырским иереем усердное молебствование с коленопреклонением.

И, — благодарение Господу Богу! — небесные заступники и молитвенники о нас не посрамили нас, не отвергли наших слезных, горячих молитв. В 12-м часу Лидия успокоилась и вскоре заснула.

В тот момент, как после с покаянным рыданием рассказала нам Лидия, во сне явилась к ней Богоматерь с Пантелеимоном и сказала Лидии: «По усердным молитвам твоих родителей будешь здорова и невредима, но больше не согрешай неразумием своим!».

И Лидия к утру совсем оправилась от болезни и с тех пор старается вести монашескую жизнь с усердием и прилежанием.



Небесный врач и просветитель на Алтае

Во славу Божию и прославление святого великомученика Пантелеимона предлагаю несколько достоверных рассказов о благодатной помощи, явленной через его икону и святые мощи на Алтае со времени принесения туда с Афона сей святыни.

1

В Николаевском женском миссионерском монастыре близ Улалы[117] несколько уже лет проживала молодая крестьянская девушка, в сильной степени одержимая беснованием, так что самый вид этой страдальцы, изможденный, с диким, бессмысленным взглядом, был ужасен. В особенности страшно бесновалась она и изрыгала богохульные слова в церкви и вообще в присутствии святыни. Ни земные лекарства, ни молитвы добрых сестер обители и отцов-миссионеров не приносили болящей не только выздоровления, но и малого облегчения; ее нельзя было даже приобщить Святых Тайн вследствие ее страшного беснования. Долго страдала эта девица, но пришел час и явился ей небесный избавитель.

Когда святую икону великомученика Пантелеимона несли из Улалы в первый раз в женский монастырь, то навстречу вывели и бесноватую, которая ужасно билась, едва удерживаемая несколькими сильными людьми, и изрыгала богохульства.

Лишь только она издалека увидела святую икону, то богохульствовать перестала, а только кричала: «Горю, горю, он сожжет меня!».

Несмотря на все усилия, страдальицу не могли подвести к лобзанию святой иконы, а повели ее вслед за крестным ходом. Шедший позади болящей отец архимандрит, молясь об ее исцелении, изредка ограждал ее крестным знамением, чего она, идя значительно впереди и не оглядываясь, не могла видеть, но при каждом осенении хваталась за затылок и громко вскрикивала: «Больно жжет!».

Наконец больную после страшных усилий удалось подвести к иконе и насильно приложить к святым мощам. В эту минуту она внезапно и совершенно пришла в себя, усердно и осмысленно молилась великомученику, потом пошла исповедовалась и приобщилась Святых Тайн. С тех пор беснование ее прекратилось, и она поныне живет в той же женской обители, здравая душевно и телесно.

Девушка эта рассказывает, что в день исцеления при встрече иконы великомученика ей представилась эта икона сияющею столь необыкновенным светом, что глаза не могли выносить его, а от лика угодника исходил огонь, который как бы опалял и вместе очищал душу и тело ее.

2

Один из старейших, как по времени служения в миссии, так и по сану, миссионеров алтайских также испытал на себе силу и дивную помощь великомученика.

В 1881 году этот достопочтенный миссионер, бывши по делам службы в Бийске у Преосвященного, заболел там брюшным тифом. Болезнь по обычному ее ходу усиливалась. Приглашен был врач, который, осмотрев больного, признал состояние его опасным и прописал нужные лекарства.

Окружавшие больного сильно встревожились. В Улалу от Преосвященного был послан нарочный с известием о тяжелой болезни о. М. и с просьбой к тамошним миссионерам помолиться пред иконой святого Пантелеимона об их болящем собрате.

В тот же день на имя больного было получено в Бийске из русского монастыря на Афоне письмо с вложением изображения великомученика и с замечанием, что от таковых изображений бывают знамения благодатной помощи.

Письмо это было прочитано болящему. С верою и молитвою положил он изображение угодника себе на грудь. В то же время в Улале пред иконою и мощами целителя совершались о здравии о. М. молебны с акафистами.

Приехавший на следующее утро врач по осмотре больного объявил, что жар в теле велик (40 градусов) и что при самом благоприятном исходе высшая степень жара должна продолжаться еще около недели, затем с неделю постепенно уменьшаться, если не последует печального кризиса.

Перед вечером в тот же день нарочно было послано за доктором — взглянуть, что с больным.

Прибывший врач изумился, потому что нашел о. М. в поту, с переменной уже рубашкой — жар крови опустился даже ниже обыкновенного; кожу больного нашел влажною, тогда как именно в утро этого дня врач не мог допустить хотя бы малого увлажнения кожи, горевшей сухим жаром, мокрыми полотенцами натирая тело болящего.

Тогда врач прямо назвал это событие, этот кризис болезни неожиданным, необычайным и поистине чудесным. С тех пор о. М. быстро начал выздоравливать и вскоре мог вступить в отправление своих обязанностей.

Прибавим к этому, что о. М. за все время своей болезни усердно молился святому великомученику о своем исцелении, а в то время, когда изображение угодника Божия лежало на груди болящего, последний усиливал свои молитвы и в полузабытьи, но явственно, не столько телесными очами, сколько мысленно, духовно, не один раз видел святого Пантелеимона и слышал от него голос, обещавший ему исцеление.

3

Являет святой Пантелеимон чудесную помощь свою и миссионерам алтайским в деле обращения ими ко Христу неверующих.

Приведу хотя бы один такой случай. Миссионер Чулымшанского отделения, природный калмык, священник отец Михаил Ч-в долго убеждал одного язычника-алтайца принять святое крещение, но тот все колебался и отказывался.

Однажды этот алтаец неожиданно приезжает к отцу Михаилу, уже по прошествии многих месяцев со дня последнего с ним свидания, и просит немедленно окрестить его. Обрадованный миссионер спрашивает алтайца, что его побудило после стольких колебаний и отказов самому издали приехать за крещением?

Калмык рассказывает, что ему много раз во сне являлась икона святого великомученика Пантелеимона, сияющая необыкновенным светом, и от этой иконы слышался голос, повелевавший калмыку креститься.

Голос был так ласков и убедителен, что наконец растрогал сердце доселе колебавшегося язычника и подвинул его к окончательному решению принять Святое Крещение. При этом калмык умолял отца Михаила дать ему и икону святого Пантелеимона.

Миссионер вынес из другой комнаты недавно приобретенный им в Улале образ великомученика, написанный на доске. При виде этого изображения калмык упал на колени и сказал, с умилением целуя образ, что он самый и виделся ему во сне. Калмык был немедленно крещен, а икона страстотерпца вручена ему в благословение.

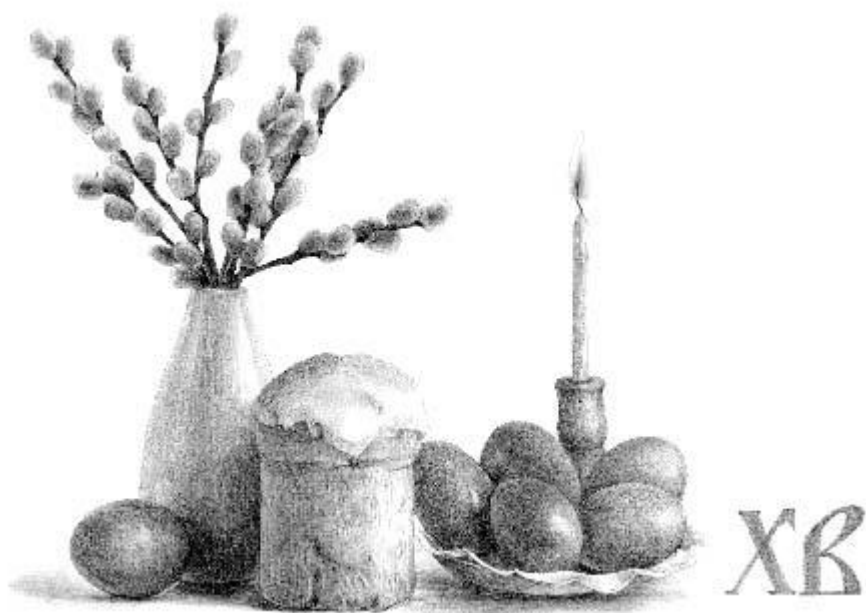
Новопросвещенный христианин сшил сумку, вложил туда икону своего небесного просветителя и, повесив эту сумку себе на грудь, поверх одежды, радостный и духовно торжествующий отправился домой.

После он объявил миссионеру, что во время пути его в родную юрту многие встречающиеся ему инородцы и язычники с удивлением останавливали его и говорили, что они еще издали видели на его груди как будто золотую доску, блестящую на солнце необыкновенным сиянием.

На пути новокрещенный заехал в юрту своего знакомого калмыка-язычника, жена которого уже трое суток мучилась в родах, и, лишь только новокрещенный с иконою чудотворца на груди вошел в юрту и, вынув святую икону из сумки, осенил ею больную, — страдальца тотчас же благополучно разрешилась. Слухи о том быстро разнеслись между язычниками, и многие из них нарочно приезжали посмотреть и поклониться иконе, а несколько семейств, получивших чудную помощь великомученика Пантелеимона, тотчас же приняли Святое Крещение.

Вообще многомилостивый чудотворец обильною струею источает на Алтае благодать исцелений и чудной помощи нуждающимся в разнообразных случаях.

Из журнала «Святыни Алтай»



Защитник Смоленска Рыцарь Меркурий

Легенда о святом Меркурии Смоленском, рассказ из времени нашествия Батыя

«Это — паладин из полчищ Карла Великого и в то же время благочестивый рыцарь, посвятивший себя Мадонне».

Академик [Ф. Буслаев](#)

1

Теплая южная ночь недвижно стояла над маленьким итальянским городом, расположенном в полукруге гор. Городской воздух был напитан терпким ароматом роз и акаций. Белая луна, озарявшая ночным блеском дома, отражалась в окнах жилищ и убегала вдаль тихим светом, оставляя за собой трепетную морскую зыбь. Мерно и спокойно ударял прибой.

На крыше-террасе большого дома, окруженного мраморной оградой, раскинувшись на красном плаще, лежал юноша. Он то и дело тяжело вздыхал и нервно ворочался. Невнятный шепот часто срывался из его пересохших губ. Красивые тонкие брови были страдальчески сдвинуты, веки крепко сомкнуты, точно он не хотел ничего видеть или пытался отогнать от себя какое-то воспоминание.

— Боже мой! Боже мой! — простонал он, поднимая голову, широко раскрывая глаза и сжимая руки. — Дай мне хоть на один час забыться, чтобы ни о чем не думать и... не помнить!

И снова бессильно падает его голова, и он мечется как в бреду, пока наконец сон не накрывает его свинцовой тяжестью.

...Площадь родного города... Гудящая пестрая толпа... Душный воздух раскален до предела...

Высокий помост окружен стражей. Палач в яркой одежде стоит наготове с мечом, поблескивающим на солнце. По ступеням медленно поднимается в сопровождении двух стражей с алебардами[118] высокий мужчина, закованный в цепи. Лицо и обнаженная грудь его носят следы пыток. Но голова высоко поднята, глаза горят неукротимым огнем.

— Слава свободной Италии! Горе чужестранцам-поработителям!..

Словно удары колокола, падают слова над примолкшей толпой. Стража кидается на приговоренного и опрокидывает на плаху. Блестящий взмах меча — окровавленная голова скачет по ступеням эшафота.

Юноша вскочил, словно в бреду, дико озираясь по сторонам, и вновь с отчаянным рыданием упал на пол.

— Сжался, о Боже, сжался! Пошли мне смерть! О, зачем я бежал, зачем не умер вместе с отцом!

Несколько минут он лежал неподвижно, словно окаменев от несказанного горя, устремив полузакрытый взор на широкий простор моря. И внезапно — сон ли это, явь ли? — увидел он таинственный женский облик, тихо скользящий по морю и быстро приближающийся. Лучезарная одежда Этой Жены была ярче лунного света, венец из семи звезд дрожал над Ее головой, глубокие очи проникали в самую душу невыразимой кротостью и милосердием.

— Меркурий! — прозвучал чудный голос тихо и ласково. — Избранник Мой! Не отчаивайся. Иди в Мой город: Русь ждет тебя. Там найдешь ты день победы, славы нетленной, венца мученического. Я Сама буду твоей Путеводительницей. Храни чистоту!

Меркурий чувствовал, что все тело его внезапно онемело, что он не может пошевелить руками, поднять головы. Вскоре Видение стало медленно удаляться, и юноша, придя в себя, вскочил, устремив свой взор к морю. Но там уже никого не было... Только зыбкая дорожка лунного света убегала вдаль по спокойному морю.

Юноша упал на колени и стал горячо молиться. А когда первые лучи восходящего солнца брызнули на крыши окрестных домов, Меркурий, простирая руки к пурпурно-золотому востоку, воскликнул:

— Укажи мне путь, Ты — моя Путеводная Звезда!

Солнце еще не успело высоко подняться, как Меркурий был уже на пристани. Оживленная толпа колыхалась. То здесь, то там слышались веселые возгласы, обрывки песен, перебранка торгашей, громкие крики матросов. Там и сям около тюков с товарами ютились, прощаясь друг с другом, молодые девушки с моряками.

Белоснежные паруса кораблей еще были свернуты, но погрузка товаров шла спешно, оживленно. Меркурий оглядел снующих мимо людей и наконец остановил пожилого грека-матроса, спешившего к товарам.

— Скажи, куда идут корабли? — спросил Меркурий.

Грек приостановился и с любопытством взглянул на юношу:

— По морю до Борисфена[119], а там на Русь, в Киев и дальше.

— Можно мне плыть с вами? — быстро спросил Меркурий.

Грек оглядел его с ног до головы и, прикинув в уме, что это, видимо, знатный иностранец, проговорил значительно:

— Все можно, господин! Только это будет стоить недешево!

— Это мне безразлично, — вымолвил Меркурий и небрежно бросил греку несколько червонцев, которые мгновенно исчезли за широким поясом моряка.

— Благодарю, господин! Вы едете без слуг? Разрешите мне принести ваши вещи!

В полдень корабли отчалили.

Меркурий стоял на борту и задумчиво глядел на удаляющийся город и горы, подернутые голубоватой дымкой. Что ждет его впереди? Корабли идут на Русь, но где причалить ему? Где этот таинственный город Святой Девы, в котором ему предстоит совершить неведомый подвиг? Киев? Да, видимо, Киев, откуда свет христианства разлился по всей Русской земле.

Внезапно Меркурий почувствовал сильную усталость и пошел отыскивать своего грека. Он нашел его на палубе. Группа греков-матросов и купцов сидела на тюках, оживленно разговаривая и о чем-то споря. Старый грек стоял спиной к Меркурию, размахивая руками, и кричал:

— Что Киев! Что мне твой Киев? Да знаешь ли ты, что выше твоего Киева со всеми его святыми пещерами, да благословит их Господь, на Днепре стоит Смоленск? Его дивный собор Успения хранит величайшую святыню — икону Божией Матери Одигитрии, нашу греческую икону! По-гречески Одигитрия — «Путеводительница». Недаром же сами смоляне зовут свой город «Домом Богоматери»!

Невольное восклицание вырвалось из груди юного Меркурия:

— Смоленск — святой град Богоматери? Одигитрия — значит Путеводительница?..

Так вот куда ведет его Пречистая Дева!

— Что угодно господину? — осклабясь, выговорил грек, обернувшись на восклицания Меркурия, и встал с низким поклоном.

— Я желал бы отдохнуть. Приготовь мне место, — произнес Меркурий.

Грек охотно отвел его в каюту, всю устланную и увешанную дорогими персидскими коврами, с обилием мягких подушек, коих было здесь более дюжины. Лишь только голова юноши коснулась одной из них, он тотчас уснул сладким и крепким сном после многих мучительных бессонных ночей. Теперь он мог ни о чем не думать. Его вела надежно и ласково материнская рука Путеводительницы, Одигитрии.

2

Яркий летний день склонялся к вечеру. Днепр широко и лениво струил свои синие воды. Грозно и уверенно высилась дубовая, крепко сложенная городская стена, отражаясь в Днепре, — неприступная крепость Смоленска. Златоглавый собор, точно царствуя над городом, возвышался на зеленой горе, спускающейся к Днепру. На берегу, облокотясь и задумчиво

глядя на город, полулежал Меркурий. Лицо было сосредоточенно; какую-то тайною думою было переполнено все его существо.

Среди высокой травы по тропинке, вьющейся по соборной горе к Днепру, появилась чета: совсем еще юная девушка и молодой человек. Стройную фигуру девушки облегал блестящий сарафан. Прозрачная цареградская ткань падала с головы на плечи, золотистая тяжелая коса — ниже колен. Она опиралась о плечо статного русокудрого молодца с открытым соколиным взором. На его голове была лихо заломленная червленая [\[120\]](#) мурмолка [\[121\]](#); на бархатный кафтан щегольски небрежно накинута темно-зеленое корзно [\[122\]](#).

— Наконец-то мы одни, моя ненаглядная Светланушка! — воскликнул он, привлекая к себе девушку.

— Тише, тише, Глебушка милый, — проговорила девушка, сама невольно поддаваясь его ласке.

— Ох, лада моя, когда же свадьба? Уж терпения нет ждать!

— Да вот минет Успенъев пост, и батюшка сказывал, что сыграем свадьбу.

— Успенъев пост! Еще целый месяц! — со страстной мольбой воскликнул Глеб.

Молодые люди спустились к Днепру и уселись на отмели. Несколько времени оба молчали. Глеб, любясь, глядел на оживленное лицо невесты и невольно опять обнял ее стройный стан. Светлана оглянулась и испуганно отстранилась:

— Глебушка, глянь-ка!

Она указала на Меркурия, все так же неподвижно созерцающего город. Глеб тихонько рассмеялся, однако отстранил руку, обнимавшую девушку:

— Ты этого не бойся, свет мой! Он не осудит нас, да и не за что! Чиста любовь наша и радостна, как это ясное небо. А этот живет словно иннок Божий: ни на одну нашу девицу не заглядывается!

— Глебушка, он откуда? Зачем он у нас?

— Он из Римской земли, где чудные плоды растут на дивных деревьях и где морозов вовсе не бывает, а зимой вместо снега идет дождь. У них там междуусобица великая, сказывал отец Георгий. Ради этого он, наверное, и покинул родную землю. Он знатного рода, князь.

— А что, он нашей веры, православной? — добивалась Светлана.

— Не знаю, Светлана моя! Только он ходит не в латинскую божницу, а в наш собор и все молится перед Чудотворной Одигитрией. А служит он в вечевом [\[123\]](#) войске и живет на Подоле. Владимир Рюрикович все звал его в великокняжескую дружину, да не пошел он. Видно, захотел жить не на княжьем дворе, а поближе к собору. Да что это ты все пытаешь меня, ладушка? Уж не приглянулся ли тебе этот чужестранец? — тревожно промолвил Глеб, внимательно глядя на девушку.

— Что ты, что ты, Глебушка милый! — Светлана не на шутку встrepенулась. — Да есть ли на свете кто пригожее тебя?

Девушка вся покраснелась и, помолчав, продолжала:

— Нет, родной мой! Не приглянулся он мне, а только жалко его. Как взгляну на его лицо, такое невеселое, так все сердце сожмется — не может он, видно, забыть свою чудную родину! Сказала б ему слово доброе. Хоть он по-нашему и не знает, да все равно понял бы, что я хорошее сказала.

— Ласточка моя, голубка моя светлая! Золотое твое сердечко! — восхищенно воскликнул Глеб, привлекая к себе девушку.

Раздался гулкий удар соборного колокола. За ним отозвались Иоанно-Богословская [ЦЕРКОВЬ](#), Петропавловская за Днепром, а там и все церкви зазвонили праздничным благовестом.

Молодые люди отстранились друг от друга. Глеб встал, снял мурмолку, истово перекрестился. Светлана тоже вскочила и проворно осенила себя крестным знаменем.

— Грех какой, Глеб! — промолвила она с детской важностью. — Завтра праздник, а мы тут милуемся.

— Нет-нет, Светланушка, нареченная моя невеста! — горячо возразил Глеб. — Чиста и непорочна любовь наша, как эта зорька вечерняя!

— Да и Онуфриевна, поди, заискалась меня, чтобы в [ЦЕРКОВЬ](#) идти, — проговорила девушка.

— Ничего ей не станется, пусть поищет старая! — засмеялся Глеб. — Ведь мы сейчас идем.

И они стали поспешно подниматься в гору к соборной церкви. А благовест гудел и ширился, словно призывая благословение и на счастливую чету, и на грустного чужестранца.

3

Поздним вечером Меркурий сидел у стола, застланного тяжелой скатертью с темно-золотыми кистями. Восковая свеча в высоком серебряном подсвечнике освещала бледное лицо князя, склоненного над книгой в кожаном переплете. Стены горницы были гладко выструганы, а на одной из них висели рыцарские доспехи. Распахнутое окно занавешено венецейской [\[124\]](#) тканью, слабо колышавшейся от легкого ветерка. Широкая дубовая скамья с наброшенной на нее барсучьей шкурой заменяла ложе. А в углу возвышалась большая икона Богоматери Одигитрии греческого письма. Белоснежное полотенце спускалось с иконы, перевитое изящной гирляндой васильков. Драгоценная хрустальная лампада переливалась самоцветными огнями. Перед иконой стоял аналой, а на нем лежали гранатовые четки.

Меркурий закрыл книгу, задумался. Вот уже два года он в Смоленске. Не забыть ему того дня, когда корабль причалил к берегу Днепра и нога его ступила на Смоленскую землю. Навеки останется в памяти та минута, когда он вошел впервые под темные своды собора и преклонил колена перед дивным Ликом Одигитрии. Нелегко было ему, сыну далекого юга, привыкать к суровой природе своей новой отчизны. Но смольняне приняли его приветливо, научили, как согреть жилище и какую носить одежду в студеную пору, когда трещит мороз, а пушистый снег клочьями повисает на деревьях и окна покрываются чудесными узорами.

Все невзгоды непривычной жизни Меркурий переносил терпеливо и стойко. Он жил одиноко, без пышности, подобающей высокому роду, без слуг. Один как перст, он вел жизнь аскета-подвижника. Веселые игры молодежи не влекли его, светлоокие русые смольнянки не затрагивали его сердце, всецело поглощенное пламенной молитвой к своей Покровительнице — Пречистой Деве Одигитрии, и думой о том неведомом подвиге, ради которого Она призвала его в Свой святой град.

Направляясь в Смоленск, Меркурий предполагал, что найдет там остатки язычества и в борьбе с ними будет предан мучительной смерти. Но нет! Город — благочестивый, а смольняне благоговейно чтут Матерь Божию Одигитрию и зовут Ее своей Госпожой, а сам Смоленск — «Домом Богоматери». Где этот желанный день — день победы, день славы нетленной и венца мученического, обещанный Пресвятой Девой?

Меркурий жил одиноко. Несмотря на это (ведь люди не любят уединенных), он заслужил уважение и любовь смоленских граждан — может быть, потому, что, отказавшись от княжеских почестей, не пошел в дружину великого князя, а вступил в вечевое войско. А может, потому полюбился он смольнянам, что не забыл своего рыцарского звания и в искусстве воинском достиг совершенства.

Единственным близким Меркурию человеком оказался священник-грек, отец Георгий — вдовец, живший скромно вместе со своей дочерью на окраине города. Меркурий подолгу беседовал с ним, свободно владея греческим языком. Говорить по-русски Меркурий учился усердно и уже мог немного изъясняться, хотя и с трудом. Рыцарь рассказывал отцу Георгию об Италии, о борьбе гиббелинов[125], о красоте своей несчастной родины, раздираемой внутриусобной враждой. А старый священник говорил о Смоленске, о том, как в давние годы мудрый князь **Владимир Мономах** построил на горе дивный соборный храм и поставил в нем чудотворную икону Пресвятой Богородицы Одигитрии, ставшей Госпожой Смоленска. Но и отцу Георгию не поведал Меркурий своей тайны, и думал старец, что на далекую Русь итальянского князя забросила волна междуусобицы.

* * *

Как-то раз в дом Меркурия постучались. Отворив двери, он увидел красивую черноволосую девушку. Это была София — дочь отца Георгия.

Меркурий низко поклонился девушке.

— Здравствуй, князь! Батюшка прислал тебе поклон и велел передать это, — по-гречески сказала София, протягивая Меркурию какой-то сверток.

Меркурий подошел к столу, развернул пергамент и не смог удержать возгласа восхищения. То был Богородичный акафист на греческом языке с изящными заглавными буквами и заставками.

— Какая красота! Святая Дева! — воскликнул Меркурий, перевертывая страницы и с истинно художественным наслаждением любясь тонкой работой. — Поблагодари батюшку, София! Нет, я сам приду его поблагодарить! Да что ты не проходишь, София? Присядь, отдохни! Или ты торопишься? Батюшка ждет? — не оборачиваясь и продолжая рассматривать рисунки, говорил Меркурий.

— Нет, я сказала, что я зайду к Светлане, — каким-то глухим, упавшим голосом выговорила София.

Меркурий обернулся и только тут заметил, что Софию словно била лихорадка. Лицо ее пылало, глаза горели каким-то непривычным огнем.

— Что с тобой, София? — участливо произнес Меркурий, коснувшись своей тонкой, изящной рукой пылающей руки девушки. — Ты больна?

— Князь, — произнесла София, смело глядя на него горящим взглядом. — Я пришла сказать,

что ты полюбился мне. Ты для меня ярче, чем солнечный свет, чем память моей покойной матери и чем спасение души. Знаю, не ровня я тебе. Ты — князь, а я — дочь убогого священника. Ты — мой повелитель, а я — раба твоя и служанка. Я вся в твоей власти...

Голос Софии дрогнул и сорвался.

Меркурий молчал. На его лице были глубокая печаль и сострадание.

— Что такое «князь» перед Богом? — наконец выговорил он негромко. — Не в этом препятствие. Но я прошу тебя: забудь, что ты сказала. Иди скорее к отцу и молись своему Ангелу Хранителю, чтобы он оградил тебя от искушения. Прости!.. — и Меркурий низко поклонился девушке и отступил назад.

София негромко вскрикнула, закрыла лицо руками и опрометью бросилась вон из горницы. Быстрые, легкие шаги пронеслись под окнами. Хлопнула калитка. Меркурий сел к столу и задумался. «Бедная София! Как больно, как стыдно ей теперь!» Вспомнил Меркурий свои посещения дома отца Георгия. Во время бесед его со священником София почти всегда молчала. Но бедное их жилище к его приходу всегда бывало убрано цветами, а скромное угощение особенно изящно и красиво подано к трапезе. И гирлянду из васильков на иконе Богоматери Меркурию тоже подарила София. Как он любил эти цветы!

Меркурию стало мучительно жаль бедную девушку, которую он так обидно оттолкнул. Он решил завтра же пойти к отцу Георгию, увидеть Софию и загладить свои слова, умиротворив ее взволнованную душу. Это решение его успокоило. Меркурий подошел к окну, откинул занавески из венецейской ткани... Небо затуманилось. Тусклые звезды, так не похожие на звезды Италии, глядели на него свысока. Свежий влажный воздух холодной дрожью пронизывал все тело князя. Деревья во дворе шумели, предвещая ненастье. Меркурий тяжело вздохнул, закрыл створки окна, отошел вглубь горницы, к иконе Матери Божией Одигитрии и преклонил перед ней колена.

— Ты — моя отчизна, мое тепло и свет, Пречистая Дева, — шептал он.

Слезы навернулись на его глаза. Лампада переливалась радужными огнями, озаряя величаво кроткий Лик Одигитрии. Темные очи Ее с материнской лаской глядели на Своего избранника... «Храни чистоту...» — звучали в душе Меркурия слова Пречистой Девы Марии.

* * *

Утро после дождя было особенно яркое, сияющее. Еще не просохли капли дождя, повисшие на деревьях и алмазами дрожащие на высоких травах сада.

София сидела на большом камне и вышивала. Слезы то и дело падали на полотно и на ее тонкие пальцы, заслоняя взор, мешая работать.

— София! — услышала девушка знакомый голос, дружески, ласково прозвучавший над нею. Она вздрогнула и подняла заплаканные глаза. Перед нею стоял Меркурий. София вспыхнула и снова опустила взгляд. Меркурий сел рядом и обратился к ней со словами:

— София, прости меня, сестра, друг мой!

София быстро глянула на него изумленным, просиявшим взором, но внезапно отвернулась и... вновь поникла. Он же произнес:

— София... Выслушай меня. Я прибыл издалека, ты знаешь это, и нашел здесь вторую родину. Я полюбил ваш святой город и его народ. Но не для семейных утех пришел я сюда... Такова была воля Той, Которую Смоленск зовет Госпожою.

Меркурий грустно усмехнулся и покачал головою:

— Вот ты и заставила меня приоткрыть завесу моей тайны, от всех скрытой! Не имей же на меня гнева или обиды, София!

София подняла голову и проговорила, волнуясь:

— Нет, это ты меня прости, князь! Я безумная... Ведь Глеб давно говорил про тебя, что ты иннок Божий. Прости же меня и безумные слова мои!

Меркурий взял ее за руку:

— Пусть Бог простит нам обоим!

— Я уйду в монастырь, князь. Нет и не будет для меня радостей в этом мире.

— Да, София, ты права! В мире все — ложь, все — призрак, все — обман. Только не спеши, пока жив твой отец, ведь ты у него одна. Не покидай его. Он будет для тебя самым лучшим наставником.

Оба замолчали. Меркурий с братской любовью смотрел на смущенную Софию, а девушке уже чудились светлая монастырская келия, одежда инокини и ночные коленопреклоненные молитвы...

4

Смеркалось. Небольшой дом князя Меркурия, обнесенный частоколом, был расположен у самого подножия соборного храма на улице, называемой Подолом.

Меркурий сидел на скамье под старой плакучей березой и думал обычную свою думу. Внезапно растворилась калитка и во дворе появился худенький мальчик, весь в черном; его ноги, обтянутые черными чулками, были обуты в туфли с серебряными пряжками, на пышных льняных волосах держалась черная шапочка, тоже расшитая серебром, а на груди висела серебряная цепь, которую мальчик то и дело потрагивал, точно боясь потерять этот знак отличия. Сочетание черного цвета с серебром придавали юному существу какой-то мрачный вид. То был паж рыцаря Эрика Дитмара Свенча, любимца великого князя Владимира Рюриковича.

— Мой высокородный господин Эрик Дитмар шлет глубокий поклон и послание пресветлому князю, — произнес мальчик тонким голоском по-латыни, с низким поклоном протягивая Меркурию свиток.

Меркурий принял его, встал и начал читать. Его лицо вспыхнуло, губы чуть тронула усмешка: в выпренных выражениях Дитмар восхищался воинским искусством Меркурия и просил оказать ему величайшую честь: сразиться с ним на конях в присутствии великого князя Смоленского на его дворе, завтра.

Эрик Дитмар считался непобедимым, и его вызов на поединок был действительно честью, но эта честь обычно кончалась плачевно для принявших ее.

— Я сейчас дам ответ, — сказал Меркурий и вошел в дом.

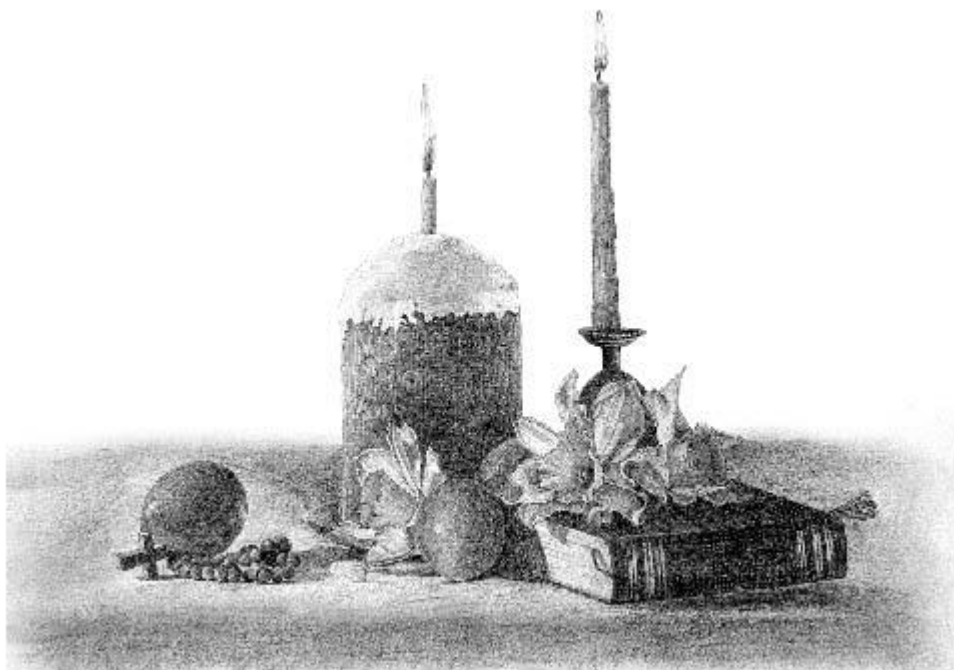
Вскоре он вышел с ответным свитком, на котором висела большая княжеская печать.

— Передай своему господину, высокородному Эрику Дитмару, мою глубокую благодарность и отдай мое послание, — произнес Меркурий, вручая мальчику свиток.

Паж низко поклонился и мгновенно исчез. Меркурий задумчиво прошелся по двору. Эрик Дитмар, непобедимый Рыцарь смерти, вызывает его на поединок. Великий князь Владимир Рюрикович любил устраивать турниры, на которых состязались между собою его приближенные иноземцы, иногда вызывая к бою русских витязей. Если в состязании участвовал Дитмар, он всегда оставался победителем, а его противников уносили без чувств с поля боя.

Меркурий знал это и бестрепетно принял вызов Эрика. Какое-то необъяснимое чувство предсказывало ему, что завтрашний поединок — преддверие того неведомого подвига, по которому изнывала его душа. Меркурий чувствовал, что, согласившись на поединок, он делает угодное своей Небесной Покровительнице и что Она укрепит его на победу над гордым Свенчем.

Меркурий медленно поднял глаза к небу. Уже совсем стемнело, и по темно-синему бархату небес рассыпались золотые звезды. И казалось ему, что из завесы этого звездного покрывала Сама Пресвятая Дева Одигитрия благословляет его решение...



* * *

После ранней обедни в церкви Михаила Архангела, что в княжьем городе, народ не расходился. Всем хотелось поглядеть на невиданное зрелище — состязание двух чужеземцев: ненавистного Эрика Дитмара и любимого смольнянами князя Меркурия Римлянина.

Княжий двор был переполнен народом, толпившимся по краям площади. Вечевое войско в малом вооружении стояло отдельно. Все с нетерпением ждали. Многие были впервые в княжьем городе.

Сердце Смоленска — Соборная гора, Успенский собор и вечерая площадь с большим колоколом — глашатаем радости и горя народа. Отсюда ключом была жизнь города — рождались законы и обычаи...

Княжий двор с церковью Архангела Михаила жил особой жизнью. Великие князья имели здесь свой терем, своих дружинников[126] и телохранителей, преимущественно из чужеземцев. Здесь же была выстроена католическая часовня — латынская божница для иноземных дружинников и гостей, наводнявших княжеский город.

Еще не началось состязание, как в народе уже бродили недовольные, хмурые возгласы:

— Долго ли будет проклятый Свенч увечить наших воинов?

— Князю потеха, а вечевому войску — убыль!

— Надо на вéче запретить нашим витязям выходить на состязание — на вечную гибель!

— Жаль Римлянина, — качая головой, говорил вечевой дружинник Василько.

— Почему ты уверен, что Дитмар и тут победит? — возразил стоящий с ним рядом Глеб. — Ведь Меркурий быстрее Дитмара, ловче!

— Не было еще никого, кто бы нанес Эрику хоть бы один удар, — не соглашался Василько. — Вспомни-ка вышину новгородца: какой витязь красивый, могучий, смелый! А все равно изувечил его пес Дитмар!

— Я готов биться об заклад, что победит Меркурий, — горячо настаивал Глеб.

— Нет, проиграешь, — вздохнул Василько, махнув рукой. — Однако вот и великий князь выходит!

На крыльце терема появился Владимир Рюрикович в сопровождении бояр и иноземной стражи.

Великий князь, болезненно грузный, с восковым, одутловатым лицом, тяжело опустился на бархатное сидение. Слабый и хворый, он любил красоту, силу, отвагу и преклонялся пред ними. Поэтому-то непобедимый Рыцарь смерти был ему особенно дорог.

Раздался звук труб. С противоположных сторон площади появились рыцари. Эрик Дитмар двигался медленно, словно вросший в своего вороного коня в черной сбруе с матово-серебряными украшениями. Сам Рыцарь смерти был закован в тяжелые черные доспехи, шлем украшал тускло-серебряный гребень. Красивое лицо Эрика с голубыми, но холодными глазами выражало гордую уверенность в собственной несокрушимости, тонкие губы были надменно сжаты. Навстречу ему приближался Меркурий на серебристо-сером коне. Яркое солнце дробилось искрами в блестящих светлых латах князя, алый плащ мягко падал на плечи.

Рыцари приветствовали друг друга по-латыни.

— Будь здоров, доблестный Эрик Дитмар, — раздался звучный, мелодичный голос Римлянина.

И в ответ, словно морской прибой, пророкотал могучий Дитмар Свенч:

— Будь здоров, пресветлый князь!

Оба приблизились к великому князю и поклонились. Владимир Рюрикович ответил им благосклонной улыбкой и дал знак начинать состязание.

Снова прогремели трубы.

Народ замер. Рыцари опустили забрала и поскакали на середину площади. Сверкнули поднятые копыя. Дитмар бросился на Меркурия, искусной рукой управляя тяжелым копьем. Меркурий вздыбил коня, ловко уклонился от удара, с быстротой молнии обернулся и ударил Дитмара в плечо. Великий князь побледнел и наклонился вперед.

— Удар!.. Удар!.. — прокатилось громом по площади. И толпа снова смолкла. Сердца стучали возбужденно и радостно: непобедимый Эрик Дитмар получил удар от вечаевого витязя!

Дитмар, пораженный неожиданностью удара, на мгновение остолбенел, но снова ожесточенно бросился в нападение... И вновь безуспешно. Меркурий, в легкой броне, с развевающимся алым плащом, налетел на своем серебристом коне на противника, нанеся ему еще несколько ударов. Эрик расвирепел. Пришпоря коня, ринулся он всей своей черной громадой на Меркурия, но тот ждал нападения, отпрянул в сторону, и Дитмар промчался мимо. Тогда Меркурий догнал его и снова, когда Эрик повернулся к нему лицом, сильным ударом копья в грудь вышиб противника из седла. Рыцарь смерти с грохотом упал на землю, барахтаясь в своих тяжелых доспехах. Паж бросился на помощь своему господину, а вороной конь Дитмара с громким ржанием помчался прочь с вечаевой площади. Крики восторга, приветствия и громкие рукоплескания народа слились в один несмолкаемый клич, ударивший в облака.

Меркурий поднял забрала. Его глаза сверкали как звезды, обычно бледное лицо горело. Он поприветствовал рукою народ, соскочил с коня и поспешил к поверженному противнику, около которого безуспешно хлопотал паж. Меркурий протянул руку Дитмару и помог ему встать. Рыцари подошли к крыльцу великокняжеского терема. Дитмар хромал на правую ногу.

— Поздравляю тебя, князь, с победой, — сияясь улыбнуться, произнес Владимир Рюрикович.

— Благодарю, государь, за доброе слово, — медленно подбирая слова, выговорил Меркурий.

Он не думал раньше, что на государево поздравление ему придется отвечать по-русски...

— Эрик, ты не ранен? — заботливо спросил великий князь.

— Нет. Но я немного ушибся. Благодарю, государь, за участие! — проговорил Дитмар.

Рыцари вежливо раскланялись друг с другом, поклонились великому князю и расстались.

Меркурий вскочил на коня и поскакал с площади. Его провожали восторженные крики народа. Дитмар, хромая, медленно удалялся в сопровождении паж. Вслед им неслись обидные слова, хохот, свист.

— Жаль, что мы не бились об заклад, — весело говорил Глеб.

— Я с удовольствием проиграл бы любой заклад, лишь бы видеть посрамление Дитмара, — засмеялся Василько. — Ну и праздник же нам устроил Римлянин! Пойдем ко мне, дружище, выпьем добрую чару за победителя.

— Нет, друг, мне некогда, — отговаривался Глеб.

— Знаю, знаю. К невесте спешишь, — добродушно подмигнул Василько. — Бог с тобой, ступай! А на твоей свадьбе все же выпьем и за Римлянина!

Друзья расстались, крепко пожав друг другу руки. Глеб покинул площадь, а Василько смешался с толпой, оживленно и радостно обсуждая со всеми происшедшее. А день сиял над ликующим городом, и казалось, что ничто не предвещает беды...

5

Девичья светелка в тереме боярина Путятина была ярко освещена солнечными лучами. Свет падал на большую полку с иконами в драгоценных окладах и на белоснежную скатерть с вышитыми по кайме затейливыми петушками. Солнышко весело играло на оконных занавесках, вышитых обитательницей горницы — рукодельницей Светланой. Сама она сидела за столом, склонив белокурую головку, и нанизывала ожерелье из жемчуга и самоцветных камней. У ног ее примостилась старая Онуфриевна и выбирала из ларца драгоценные бусины.

Мать Светланы, боярыня Марфа Андреевна, сидела поодаль за большими пальцами, вышивая золотом бархатную плащаницу в Иоанно-Богословскую церковь. Светлана быстро нанизывала жемчуг, а ее голубые глаза то и дело вспыхивали озорным огоньком, и девичья грудь волнительно вздымалась от тайных дум и мечтаний. Невольно прислушивалась она: не раздастся ли звук знакомых шагов по лестнице, ведущей к светелке? Наконец она нетерпеливо отодвинула рукоделие, досадливо зевнула и проговорила:

— Как тянется время! Спой, матушка, песню, а то скучно очень!

— Охотно, ласточка, — отозвалась Онуфриевна. — Вот я слыхала днесь, у собора один слепец пел новую песню. Я спою, если матушка-боярыня разрешит.

— Спой, Онуфриевна, — благосклонно ответила Марфа Андреевна.

Онуфриевна выпрямилась, поправила платок, пожевала губы, словно припоминая слова, и протяжно затянула:

Коли напали злы татаровья —
Басурманы на землю Русскую,
Зачинался бой при Калке-реке,
Зачиналася битва великая.
Бились храбрые витязи с недругом
От зари до самого полудня.
Кровь лилась рекой, мечи лязгали,
И летали стрелы каленые,
Пыль вздымалась столбами в поднебесье,
Затуманилось солнышко ясное.
И от полудня к самому вечеру
Распростерлася битва жестокая.
А как солнце к земле приклонилось —
Пали русские стяги все на землю.
На татарском стану ликование:
Там костры разгорелися жаркие,
Под дубовые доски положены
Князья русские, накрепко связаны.
А на досках тех хан, восседаючи,

Сам пирует с дружиной безбожною.
Больно с жизнью князьям расставатися,
А еще больней, что вся Русь в беде.
Наших витязей цвет в бою полег,
Красных девушек хан в плен увел.
Ох, когда же Ты, Боже, сжалишься, —
От врагов спасешь свято-русский край!

Голос Онуфриевны был сильный и звучный, несмотря на старость. Столько чувства вложила она в свою песню, что невольно заставила слушавших переживать страшную картину татарского нашествия.

Марфа Андреевна пригорюнилась, а Светлана словно замерла и широко раскрытыми глазами, полными ужаса и сочувствия, глядела на Онуфриевну.

— Матушка, а вправду то было? — обратилась она к боярыне.

— Было, доченька, было! Лет пятнадцать тому назад был этот позор для земли Русской — битва на реке Калке, — проговорила Марфа Андреевна.

— А где теперь те татары? — добивалась Светлана.

— И теперь, доченька, разоряют они Русь, — грустно промолвила мать. — Но только Смоленск они не тронули. Еще хранит Пречистая Одигитрия Свой град от всякого нашествия! — и боярыня, взглянув на иконы, набожно перекрестилась.

Светлана задумалась. В ее глазах еще не пропал страх — она была под впечатлением песни...

Лестница, ведущая к светелке, закрипела под мужскими шагами. Светлана мигом забыла о татарах. В горницу вошел Глеб, одетый в легкую кольчугу, держа в руке шлем. Он перекрестился на иконы, низко поклонился будущей теще, пожал руку невесте, ласково кивнул Онуфриевне.

— Что это, Глеб, ты эдак вырядился? Смотрите, какой воин! — добродушно усмехнулась боярыня, любясь витязем.

А у Светланы опять испуганно расширились глаза:

— Уж не война ли?

— Я же из княжеского города, матушка Марфа Андреевна, — ответил Глеб, не сводя глаз с невесты. — У Владимира Рюриковича опять было состязание, а мы все явились в малом вооружении по желанию великого князя, он ведь любит пышность. Иноземцы тоже разрядились, кто во что.

— Какое состязание?! — с любопытством осведомилась Светлана, у которой тут же отлегло от сердца. — Кто с кем бился?

— Эрик вызвал князя Меркурия.

— Господи Иисусе! — даже побледнела боярыня.

Светлана ахнула и всплеснула руками.

— Да! И Меркурий принял вызов! — значительно проговорил Глеб.

— Матерь Божия! Да остался ли он жив? — воскликнула Марфа Андреевна.

— Не томи, Глеб, рассказывай! Как это было? — замирая от нетерпения, торопила Светлана.

— Состязались на конях. Сшиблись. А народу собралась тьма! Меркурий выбил Дитмара из седла, а сам остался без единого удара.

Марфа Андреевна перекрестилась, а Светлана захлопала в ладоши. Онуфриевна же сияла от радости.

— Ах, как хорошо! Римлянин за всех наших витязей отплатил Свенчу! — радостно смеясь, говорила Светлана. — Как жалко, что я не была там!

— Негоже девице глядеть на такое зрелище, — укоризненно заметила боярыня и обратилась к Глебу:

— А Владимир Рюрикович что сказал?

Глеб потер руки от удовольствия:

— Что сказал? Ему пришлось князя Меркурия поздравить, хотя и кисло Владимиру Рюриковичу стало. На нем лица не было, когда Римлянин начал наносить удар за ударом его любимцу!

— Да, Владимир Рюрикович давно уже недоволен князем Меркурием, за то что тот остался в вечевом войске, — заметила Марфа Андреевна.

— А потом что было? — спросила Светлана.

— Меркурий помог Эрику подняться, потом они подали друг другу руки и расстались как подобает благородным витязям — без упрека и брани. Зато народ до того осмелел Свенча, что он и в Смоленске едва ли останется после такого позорища! Но как Римлянина приветствовали — и сказать невозможно!

Глеб и Светлана весело смеялись, радуясь и победе Меркурия, и своей молодой любви, и этому солнечному дню. Все их беззаботные и юные чувства слились в широкую, светлую радость, плещущую через край.

— Матушка, мы с Глебом в сад пойдем, можно? — произнесла Светлана, заглядывая в глаза матери.

— Идите, детки, идите! Придет отец, кликну, — ласково ответила Марфа Андреевна.

Молодые люди, держась за руки, чинно вышли из горницы, и вскоре по лестнице застучали проворные девичьи каблучки и твердые мужские шаги. Боярыня добродушно усмехнулась и подумала: «Уж как это все хорошо вышло! Будет он беречь мою Светланушку! Пошли им, Господь, совет да любовь!».

Добежав вперегонки до старой липы, молодые люди, запыхавшись, бросились на лавку и несколько времени молчали. Только сердца, трепетно бьющиеся в унисон друг с другом, словно пели чудную песнь человеческой любви.

— Глеб, ты знаешь, а ведь София любит Римлянина, — прервала молчание Светлана.

— Любит... — повторил Глеб, оглядывая горячим взором девушку и словно упиваясь этим словом. — Любит... — повторил он, тихонько касаясь ее золотистой косы.

— Нет, Глеб, послушай! — нарочито недовольно продолжала Светлана. — Как бы я хотела, чтобы они были счастливы, как мы!

Девушка зарделась и мельком глянула на Глеба:

— Пусть он князь, но ведь она хоть и бедная, да ученая. А красавица какая!

— Будто? — вымолвил Глеб равнодушно. — Я что-то не заметил.

— Она красавица, гораздо лучше меня! — с жаром воскликнула Светлана.

А в сердце ее колыхнулось радостно: «А все-таки Глеб полюбил меня, а не Софию!». Но сама она устыдилась своей радости: на себя за свою подругу милую рассердилась.

— Нет, моя ненаглядная! Напрасно все это! Я же говорил тебе, что он — инок. У всякого свой путь. Не всем же Бог дает такое счастье, как у нас, желанная моя! — и Глеб крепко, но нежно охватил стройный стан девушки.

Она не сопротивлялась, отрадно вздохнула, как дитя, и доверчиво прильнула к груди витязя. Так светло и тихо стало на душе у обоих, что ни словом, ни звуком не хотелось прерывать эту тишину. Ветви старой липы недвижно замерли, осеняя молодую чету тенистым зеленым шатром.

— Детки, домой идите! Отец пришел, будем обедать! — раздался голос боярыни.

Молодые люди испуганно встrepенулись и снова степенно, рука об руку направились к терему.

6

В Петропавловской церкви, что за Днепром, шла будничная вечерня. Служил старый священник — без дьякона, без певчих. Лишь несколько престарелых прихожан, стоя на левом клиросе, подпевали батюшке нестройными старческими голосами.

Богомольцев было мало.

Успенский пост подходил к концу. Светлана говела. В последний раз она говеет девицей. После Успения она покинет родной терем навсегда. И страшно, и радостно юной невесте. Вместе с ней молится верная матушка Онуфриевна. Скромная, простая служба, лишенная всякой пышности, как-то особенно проникла в чуткую душу девушки. Тоненькая, стройная, вся светлая стояла она рядом с темной фигуркой Онуфриевны, истово клавшей земные поклоны. Светлана с детской серьезностью наложилa на себя во время говения строгий зарок: запретила Глебу видаться с ней, а себе самой — даже думать о нем. Но как это было трудно! Налево, у клироса высилось темное распятие с частицей Животворящего Древа. Светлане захотелось приложиться к древней святыне. Прихожанка Иоанно-Богословской церкви, она редко бывала у Петра и Павла. Девушка подошла ко кресту и остановилась: перед Распятием стоял коленапреклоненный Меркурий и горячо молился. Глаза его были увлажнены слезами, лицо выражало жаркую мольбу и непоколебимую веру.

Светлана почувствовала, что не только за себя молится молодой Римлянин, но и за их город, за весь мир... «А ведь он и за меня, и за Глеба тоже молится» — с умилением подумала девушка. Она неслышно вернулась на прежнее место, где Онуфриевна усердно клала поклон за поклоном.

Царские врата растворились. Ветхий пономарь нес свечу, за ним шел старец-священник.

— «Премудрость, прости!..» — слабым голосом возгласил он.

— «Свете Тихий...» — раздалось на клиросе.

И вдруг к старческим, дребезжащим голосам присоединился новый голос: сильный, звучный, необычайно мелодичный.

Светлана оглянулась: прямо против Царских врат стоял Меркурий и пел по-гречески.

Косые лучи вечернего солнца в волнах кадыльного дыма окружили темные волосы Римлянина мягким золотистым сиянием. «Он — Божий!» — в невольном страхе подумала Светлана.

Ей так захотелось рассказать милому Глебу о всех своих впечатлениях, но она вспомнила свой зарок, рассердилась на себя, даже притопнула слегка ножкой.

— Какой голос чудесный у Римлянина! — восхищенно говорила Онуфриевна, страстная любительница пения. — Куда там наши дьячки!

Они со Светланой возвращались домой по мосткам через Днепр.

— Глеб сказывал, что в Римской земле у всех голоса соловьиные и поют они день и ночь.

— Дай ему Бог здоровья, князю Меркурию, — продолжала Онуфриевна, — за то, что он такой молитвенник за нас, грешных. Хотя он больше в собор ходит, но и Петропавловскую не забывает, все перед Животворящим Древом молится, спаси его Христос!

— Мамушка, а какой он храбрый! — вспомнила Светлана подвиг Меркурия. — Как он победил Дитмара!

— На то ему Господь помог, — вразумительно проговорила Онуфриевна. — Гордого унижил, смиренного превознес. Помнишь, Светланушка, как я тебе рассказывала про Голиафа прегордого и Давида-отрока?

— Помню, мамушка! А ты мне про божественное опять расскажешь сегодня? Я, как придем, спать лягу, устала я! — протянула Светлана. — А ты мне рассказывать будешь!

— Расскажу, моя касаточка, — ласково говорила мамушка, с любовью глядя на свою питомицу.

Обе уже подходили к тенистому саду светлого Путятин терема.

7

Солнце приближалось к закату. Сад отца Георгия был наполнен ароматом зрелых яблок, в обилии лежащих на соломе под деревьями, облегченными от тяжести плодов.

На скамье перед столом в группе тенистых лип сидела Софья. На столе лежала большая старая книга. Девушка просматривала листы, и там, где замечала истершиеся или разорванные,

вкладывала закладки, чтобы заменить новыми. Исправлять богослужебные книги было ее заботой. Не забывая своего родного греческого языка, София в совершенстве владела русским и знала церковно-славянский.

С недавних пор София сильно похудела, измученное лицо ее было бледно, веки красны от постоянных слез.

Отец Георгий, высокий старик в белом полотняном подряснике, чистил большой лопатой садовую дорожку. Он то и дело беспокойно поглядывал на дочь. Наконец он отложил лопату и неслышно подошел к столу.

— София! — негромко окликнул он.

Она вздрогнула, испуганно подняла на него заплаканные глаза и вновь опустила.

— София, любимое дитя мое! Что с тобой? Ведь вижу я, что не телом болеешь ты, а страдает твоя душа. Откройся мне, дочь моя! Кто, кроме отца, наставит и утешит тебя? — произнес отец Георгий, присаживаясь рядом с дочерью.

«Отец тебе будет лучшим наставником», — пронеслись в уме девушки слова Меркурия, и она ответила тихо, но твердо:

— Да, отец, душа у меня болит... Я полюбила человека, женою которого не могу стать...

Как молния мелькнула в голове старца догадка:

— Князя Меркурия? Бедное мое дитя! Разве ты ровня ему?

— Нет, отец... Не в этом препятствие, — невольно повторила она слова Меркурия. — Я сама сказала ему о любви своей, и, когда ушла от него...

— «Ушла от него...» Что ты сказала, безумная? — с ужасом и гневом воскликнул священник, поднимаясь с места.

— Отец, отец! Что тебя встревожило? — вспыхнув, прервала его София. — Он отверг безумные слова мои, и я удалилась со стыдом и горечью... А на другой день он сам пришел просить у меня прощения — за то, что обидел меня накануне. Он открыл мне, что Сама Матерь Божия призвала его из Римской земли в Свой город.

Отец Георгий молчал, пораженный. То чувство благоговения, которое овладевало им всегда при беседах с князем Меркурием, усилилось и стало понятным.

— София, бедная моя! — проговорил он наконец. — Ты видишь, что напрасно чувство твое. Ты должна только благоговеть перед избранником Богоматери, который удостоил посещением наш убогий дом. Но берегись, чтобы никакая порочная мысль не осквернила твое сердце, твой ум!

— Нет, отец, теперь я люблю его как посланника Божия... Только скорбит душа моя, что не увижу я его в нашем доме, не придет он больше. Помнишь, отец, то дивное благоуханное утро, когда он был у нас в последний раз? Не придет он теперь, не придет. Знаю, бережет меня, чтобы не растревлять раны моей, а у меня только одно желание — служить ему как последняя служанка... — София опустила лицо в ладони и тихо заплакала.

Отец Георгий молча гладил склоненную голову девушки, не находя никаких слов утешения.

— Отец, я уйду из мира, — прошептала она сквозь слезы, изнемогая от печали.

— Могу ли я тебя удержать? — грустно произнес священник. — Ты не найдешь счастья в этом мире, не полюбишь жениха земного. Ты не похожа на веселых сверстниц твоих. Только подожди — схорони прежде своего старого отца. Не покидай меня, София!

— Да, отец, я не оставлю тебя! Так и Меркурий велел мне, — выговорила она.

Отец Георгий молча обнял дочь, а она кротко припала к его груди и отерла девичьи слезы.

Золотые лучи заходящего солнца, прорвавшись сквозь тенистые ветви лип, озаряли высокую фигуру старого священника и покоящееся на его груди бледное, скорбное лицо Софии...

8

В день Успения Божией Матери, престольного праздника собора, особенно торжественно справляемого смольнянами, уже под вечер раздались тревожные звуки набата и гулкие удары вечеревого колокола. Через полчаса нельзя было узнать Смоленска: все дома опустели, а граждане от мала до стара толпились на вечевой площади у собора. Страшная весть облетела город: татарская орда движется на Смоленск!

Гонец из Долгомостья, что в 24 верстах по южной дороге от Смоленска, задыхаясь рассказывал, что передовой вражеский отряд уже расположился в Долгомостье. Предводитель отряда — богатырь огромного роста и силы — похваляясь, вызывает на поединок лучшего смоленского витязя, чтобы в единоборстве решить участь города и великого княжества смоленского.

Но кого же послать на столь неслыханный подвиг? Великий князь — болезненный и слабодушный Владимир Рюрикович — вот уже третьи сутки лежит в жару и бреду. Войско смоленское, прославленное отвагой и мужеством, словно потерялось. Любимый воин великого князя Дитмар после позорного для него поединка покинул Смоленск. Всем были известны свирепая храбрость и неукротимая жестокость татар, и мысль о том, что наутро ожидает родной город, заставляла содрогаться даже самое стойкое сердце.

Двери собора были растворены — и весь народ хлынул туда. Началось молебствие об избавлении от варварского нашествия. Стоны и рыдания наполнили храм. Женщины прижимали к груди младенцев, дети испуганно жались к старшим, старики покорно и молча клали земные поклоны. Светлана, не обращая никакого внимания на посторонних, билась на груди Глеба, словно в беспамятстве, и твердила:

— Убей, убей меня своей рукой, Глебушка! Не дай на поругание басурманам!

Глеб силился успокоить ее, в то же время понимая тщетность уговоров. Сам он с радостью умер бы за Смоленск, но, не уверенный в том, что сможет победить богатыря, не смел подвергать такому страшному риску родной город.

София стояла у чудотворной иконы Одигитрии, бледная как полотно, и внимательным взглядом окидывала каждого входящего. Она ждала... И вот во время всеобщего молебствия в соборе появился Меркурий. Еще на паперти услышал он толки о татарах, о непобедимом их чудо-богатыре, и тогда лицо рыцаря вспыхнуло огнем, а глаза загорелись недобрым огнем...

С трудом пробираясь сквозь коленопреклоненную толпу, Меркурий видел плачущих женщин, слышал их вопли и рыдания. Заметил он и прямой, испытующий взгляд Софии. Вот он остановился перед иконой Богородицы Одигитрии и устремил на нее вопрошающий взгляд. Но строги были величавые черты Пречистой, безмолвно сомкнуты Ее уста. Меркурий медленно вышел из собора, с поникшей головушкой подошел к склону соборной церкви. Солнце уже закатилось за горизонт, а запад еще пылал зловещим огнем. После знойного дня в воздухе стояла тягостная духота. По горизонту металась алая зарница. Откуда-то издали тянулся едкий дым пожарищ. Меркурий стоял, понурив голову, словно был в каком-то оцепенении. И вдруг издалека, как будто бы из поднебесья, услышал он дивные голоса: «Радуйся, защитник светлого града Марии!».

Меркурий вздрогнул: «Сегодня?!».

Да, сегодня наступает его час — день победы, славы нетленной, мученического венца... Долго стоял он неподвижно, вслушиваясь в голоса нездешнего хора, которые все отдалялись, становились тише и как будто таяли в воздухе... Рыцарь выпрямился, с благоговением взглянул на небо, уже загоревшееся ночными звездами, и начал быстро и решительно спускаться с горы.

9

Соборный пономарь Юрий был высокий, щедушный юноша. Полинялый подрясник висел на нем как на шесте, ветхая скуфейка прикрывала бесцветные волосы, падавшие косицами на узкие плечи. Болезненное лицо его было бледно, большие серые глаза глядели задумчиво и кротко, губы робко складывались в застенчивую улыбку. Он любил свою убогую келью под соборной колокольней; любил древнюю икону Спасителя с неугасимой лампадой в углу, ветхие, закапанные воском богослужебные книги. Любил ночные соборные бдения, свою препростую жизнь и смиренную должность пономаря.

Раным-рано приходил он в собор, подметал пол, перетирал и без того блестящие подсвечники и паникадило, протирал чистым полотенцем иконы. Взбираясь по лесенке соборной колокольни, напевал он церковные псалмы слабым, но приятным голосом, доставая самые высокие ноты. Его любили все — и духовенство, и витязи, и гости, и дородные боярыни со своими юными дочками, и нищие, с которыми Юрий всегда делил свой последний кусок. И он любил и знал наперечет всех богомольцев собора, побаивался великого князя со знатными боярами, которые были ему непонятны и чужды, опасливо поглядывал на строгую красоту гречанки Софии, беззавидно любовался молодым счастьем Светланы и Глеба, любил, как мать, старую прихожанку с окраины, которая приводила в собор пятерых белоголовых внучат и ставила их всегда перед чудотворной иконой Одигитрии.

Но больше всех полюбил Юрий князя Меркурия Римлянина. Необычайная южная красота рыцаря, изящество в движениях, иноземный наряд — все это невольно притягивало взгляды каждого, кто с ним встречался. Юрию же, у которого была чуткая, восторженная душа, всегда казалось, что Меркурий похож на тезоименитого ему александрийского мученика, поразившего нечестивого царя Юлиана, хотя ни наружность, ни одежда итальянского князя не напоминали людей того отдаленного времени. Ведь есть предание, что император Юлиан Отступник был убит сошедшим с иконы великомучеником Меркурием Александрийским.

Когда в летние жаркие дни собор не запирался до вечера, Меркурий любил приходить туда один. Юрий всегда спешил встретить его у входа — и как он бывал счастлив от легкого поклона головы князя и любой его еле заметной улыбки, трогавшей уголки его губ. Затем Юрий возвращался к свечному ящику и весь превращался в зрение: он наблюдал, как Меркурий

направлялся к чудотворной иконе Одигитрии и благоговейно преклонял колена перед величайшей русской святыней.

Минуты летели за минутами, и Юрий затаив дыхание наблюдал, как горячо молился Богородице заморский рыцарь, с уст которого срывались порой восклицания на незнакомом языке и из глаз струились слезы... Затем иноземец тихо поднимался с колен и направлялся к выходу, опустив длинные ресницы, еще влажные от слез.

Вот и сегодня после молебна Юрий остался в соборе, чтобы вымести сор, нанесенный людьми. Юноша был твердо уверен, что Пречистая Одигитрия не допустит басурман в Смоленск, не даст в обиду Свой город, но молебное пение, рыдание женщин, рассказы о татарах потрясли его чуткую душу. И он решил остаться в соборе на ночную молитву.

Затушив все лампы, кроме неугасимой, что перед Ликом Одигитрии, Юрий вздохнул, подошел к свечному ящику, прилепил к скамье свечной огарок, раскрыл псалтирь и, опустившись на колени, начал читать. Вскоре, однако, усталость взяла свое: он задремал, а затем и крепко уснул, спустив голову на книгу.

Вдруг он явственно услышал над собою слова: «Иди скорее на Подол к Меркурию и скажи, что Госпожа зовет его!». Юрий очнулся, вскочил, озираясь, протирая глаза. Вокруг было темно и тихо, углы собора тонули во мраке, только лампада перед Чудотворной разгорелась ярким пламенем.

Что это? Никак, он заснул в храме перед святой книгой? Грех какой! Но чей же голос — властный и в то же время милостивый — пробудил его?

«Иди скорее к Меркурию: Госпожа зовет его», — снова прозвучало в душе Юрия. Ни одного мига колебания не было в чистом сердце юноши. Он подошел к чудотворной иконе, положил земной поклон и промолвил просто:

— Слушаю, Госпожа!

Юрий запер собор и поспешно спустился по склону горы на главную улицу — Подол. Смоленск, утопающий в желтеющих садах и озаренный луной, был безмолвен. Юрий быстро нашел дом Меркурия. Обойдя его кругом, юноша приник лицом к щелке ограды и замер. Посреди двора он увидел Меркурия, с головы до ног закованного в блестящие доспехи, простирающего руки к небу.

— Меркурий! — тихо окликнул пономарь.

Из уст рыцаря вылетело негромкое восклицание. Он быстро подошел к калитке и очутился на улице.

Юрий восхищенно смотрел на князя, ставшего словно еще стройнее и выше в рыцарских доспехах. Меркурий коснулся рукой в холодной блестящей перчатке плеча Юрия, молча указал на собор и утвердительно кивнул головой.

— Да! Да, княже! Госпожа зовет тебя! — дрожащим от волнения голосом пролепетал юноша.

Оба направились в гору. Белая, осиянная луной громада собора словно надвигалась на них. Юрий робко поглядывал на своего спутника. Меркурий шел, устремив взор на сверкающие главы собора, и Юрий видел бледное, без кровинки, лицо рыцаря, его горящие глаза, вздрагивающие губы.



Они подошли к собору, с железным грохотом растворили тяжелые двери. Высокая фигура рыцаря в блестящих доспехах и худенький пономарь в полинялом подряснике представляли собой странный контраст.

Меркурий снял шлем, который с благоговением принял Юрий, и направился к чудотворной иконе. Юноша, весь дрожа, последовал за ним.

Рыцарь обнажил меч, положил его к подножию Пречистой и преклонил колена. Юрий почувствовал вдруг, как под его пономарской скуфеей зашевелились жидкие волосы, заплетенные в косицу: ему казалось, что уста Одигитрии движутся, что Она дает какие-то повеления, которые слышит один лишь Меркурий. Вдруг рыцарь громко зарыдал и, гремя доспехами, пал ниц перед иконой. Но это продолжалось недолго. Он встал, отер сияющие глаза, поднял меч, поцеловал его, устремил долгий прощальный взгляд на Лик Пресвятой Девы и направился к выходу. Юрий следовал за ним.

На паперти Меркурий обернулся, протянул руку за шлемом, посмотрел проникновенным взглядом на Юрия и приложил палец к губам.

— Ни слова никому, княже! — в сильном волнении пролепетал Юрий, молитвенно складывая руки.

Меркурий молча поцеловал его в лоб и быстро спустился с крыльца. Когда блестящая фигура рыцаря скрылась, Юрий без чувств упал на холодные плиты паперти.

10

Луна взошла, и яркие августовские звезды усыпали темное небо. Лес объят мраком и безмолвием: ни один птичий голос не нарушает торжественной тишины ночи. Природа устала и покорно ждет осенней поры.

Меркурий на своем светло-стальном коне осторожно пробирался по лесной тропинке, свернув с большой дороги. Все существо его было переполнено волнением, а уста, словно во сне, повторяли слова Пресвятой Девы, сегодня ночью пославшей его на подвиг: «Для того Я и призвала тебя из римских недр, чтобы ты спас Мой град от неверных! Ты венчаешься своею кровию...».

«Святая Дева! Я готов!» — взволнованно шепчет рыцарь, сжимая рукоять меча и поднимая взор к сверкающим звездам. И в то же время невольный трепет охватывает его душу: сегодня окончится его земной путь и он перейдет в иную, неизъяснимо-блаженную, но невидимую, непонятную для смертного жизнь.

Меркурий сдержал коня, прислушался. Издали донеслись какие-то неясные звуки, конское ржание. Долгомостье близко! Меркурию эта местность была знакома: здесь часто охотился великий князь Владимир Рюрикович, который считал своим долгом всегда приглашать на великокняжескую охоту знатного чужеземца.

Меркурий снова тронул коня. Вскоре сквозь нависшие ветви деревьев замелькали огни, и наконец перед рыцарем открылась большая поляна. На ней в разных местах возвышались перед угасающими кострами остроконечные юрты. В полосе тумана виднелись очертания пасущихся коней, сквозь ночную тишину слышались их фыркание и шелест травы. По всей поляне — в разных позах спящие татары. Посередине же — большая юрта, перед которой два стража, в полудремоте склонившие свои головы на длинные копыя. Это ставка вождя татар — исполина, которого с ужасом ждал наутро Смоленск.

Меркурий неслышно сошел с коня, привязал его к дереву, обнажил меч и, осенившись крестом, бесшумно, но быстро двинулся вперед. Он приблизился к юрте вождя и стремительно сорвал кошму[127], закрывавшую вход. Стража проснулась и онемела от ужаса: освященный последними вспышками потухающего костра, рыцарь с обнаженным мечом напоминал существо нездешнего мира. Меркурий шагнул в юрту. Огромная черная фигура спящего богатыря заполнила почти все свободное пространство юрты. Рыцарь разбудил его ударом меча пласмя по плечу. С диким ревом проснулся исполин, хватаясь за оружие.

В темноте зазвенели их булатные мечи. Нападая и отступая, противники покинули юрту, продолжая поединок на поляне.

Пробудившись от звона мечей, повыскакали из своих юрт заспанные татары и замерли, поняв, что началось единоборство за Смоленск. Вмешаться в единоборство, броситься на помощь своему вождю никто из татар не смел — такого рода поединки свято чтились как западным рыцарством, так и дикими сынами вольных степей. Все смолкло в ожидании исхода боя. Задрожали звезды в темном небе, замерли вековые деревья на опушке, угасали окутанные дымом костры. Молча глядели татары на страшного, неведомого им воина, похожего на грозного посланника Небес, громко призывающего имя Одигитрии. Это имя было татарам известно. Знали хорошо неверные, что есть у русского народа великая Заступница — Матерь Бога христианского, Которую Смоленск называет Одигитриею.

Исполин издавал дикие, воинственные вопли. Уже ночь подходила к концу, одна за другой исчезали звезды на светлеющем небе, уже заалел восток и утренний ветер тихо шелохнул росистую траву — а поединок все продолжался с прежним ожесточением.

По латам Меркурия струилась кровь. Кровью была залита и одежда татарина. Меркурий чувствовал, что силы покидают его.

— Пресвятая Одигитрия, помоги мне! — взмолился он, почти теряя сознание.

И в этот же миг услышал над собою дивный голос:

— Дерзай, Меркурий, Мой верный слуга! Порази нечестивого, прими венец мученика — и тело твоё, прославленное нетлением, будет почивать в доме Моем!

Прилив новой, могучей силы ощутил рыцарь во всем своем существе. Снова бросился он на противника. Сверкнул в лучах восходящего солнца меч Меркурия, точно огненный меч Архангела, вспыхнул и опустился над головой неверного. Рухнуло на землю огромное тело богатыря, словно могучий дуб, пораженный одним ударом молнии, отлетела в сторону и поскакала по окровавленной траве его голова.

В ужасе, с пронзительными воплями рассыпались в стороны татары. Давя друг друга, кидая оружие, они бросались к коням, громко крича и указывая на небо, словно какое-то грозное видение поразило их.

Меркурий опустил меч, поднял глаза кверху. Он увидел раскрытое небо и Матерь Божию, окруженную небесными силами, простирающую руки к Своему избраннику.

— Пресвятая Дева, прими дух мой... — прошептал Меркурий.

Видение исчезло, обессиленный Меркурий оглянулся. Поляна опустела, только оставленные юрты, брошенное оружие и огромный обезглавленный труп вождя напоминали о татарах. Да из глубины леса, все дальше и дальше уходя в чащу, доносились топот тысяч копыт и дикие возгласы татар, повторяемые каким-то непонятным эхом.

Меркурий чувствовал, как с каждой каплей крови уходит от него жизнь; малейшее движение причиняло невыносимую боль, иссеченные латы впивались в тело, темнело в глазах. Он должен был спешить, чтобы поведать Смоленску о великой милости Богоматери, чудесно спасшей Свой град, — поведать, пока навеки не сомкнулись его уста...

Истекая кровью, добрал Меркурий до опушки леса и нашел там своего коня, приветствовавшего его радостным ржанием; рыцарь с большим трудом взобрался на него и быстро помчался в обратный путь знакомой дорогой.

* * *

В эту ночь никто не сомкнул глаз в Смоленске. Воины готовили оружие, женщины и старики горячо молились Заступнице усердной, чтобы сохранить свой град от недругов. Глеб остался на ночь в тереме Путятиных, чтобы до самого конца, сколько есть сил, защищать любимую девушку, если вдруг враги ворвутся в терем ночью.

Накануне на вече было решено: коли на поединок посылать некого — войску со всех церквей города поднять иконы и с крестным ходом от собора направиться к южным, Молоховским воротам, а всем гражданам последовать за ними и при появлении врагов — биться до последней капли крови. Суждено было — всем полечь костями за родной Смоленск, а басурманам не сдаться!

Ясное, солнечное утро взошло над Смоленском. Снова все граждане толпились у собора. Войско в полном вооружении, братья Авраамиевского монастыря, женщины, старики, дети — все они пестрой толпой занимали склоны Соборной горы и главную улицу Подол.

Все ждали выхода духовенства. Вот из раскрытых дверей собора двинулся крестный ход. В лучах утреннего солнца сияли золото икон и облачения священников, трепетали хоругви в легком утреннем ветерке, звенели кадила и благоуханный дым фимиама тихо струился к безоблачному небу... А на позолоченных носилках возвышалась чудотворная икона Одигитрия.

Пономарь Юрий нес впереди всех большой темный крест, убранный вышитым полотенцем. В широко раскрытых глазах юноши светилась пламенная решимость противостоять врагу даже до крови, но в то же время он был объят необъяснимым страхом... С этой ночи, с той минуты, когда он проводил Меркурия, Юрий не произнес ни слова.

Светлана и София несли икону Нерукотворенного Спаса. Светлана с заплаканными глазами была тиха и покорна, а София напряжена и сурова... Она так надеялась, что князь Меркурий — победитель гордого Дитмара — вызовется на поединок с татарским вождем. А он исчез еще до всенародного молебствия!

С пением «Спаси от бед рабы Твоя, Богородице!..» двинулся крестный ход по главной улице города. Торжественно, благоговейно и строго, убранные, как к причастию, шли граждане смоленские к южным воротам, где их всех ждали либо смерть, либо чудо...

Дойдя до ворот, шествие остановилось. На башне городских ворот стоял ратник, зорко глядя на южную дорогу. Томительно тянулись минуты ожидания. Вдруг ратник громко вскрикнул:

— Граждане! Всадник мчится к городу!

— Исполин!.. Татарин!.. — раздались крики.

Толпа колыхнулась, женщины зарыдали, воины схватились за оружие.

— Граждане! — сляясь перекричать вопли, снова воскликнул ратник. — Это не татарин! Это князь Меркурий Римлянин! Отоприте ворота!

И снова всколыхнулась, загудела толпа. Все поняли, что совершилось чудо...

Широко распахнулись ворота Смоленска. Вслед за духовенством и иконами за ворота хлынул народ.

Все замерли в ожидании. Сверкали позолота икон и ризы духовенства, трепетали звеня хоругви. Пречистая Одигитрия, возвышаясь над народом, внимательно и строго глядела на южную дорогу.

Всадник приближался стремительно. Вот уже можно узнать коня светло-стальной масти и алый плащ князя, разорванный, волочащийся по земле. Само же лицо всадника — мертвенно-бледно, глаза полузакрыты, по разрубленным железным латам сочится кровь, а сам рыцарь изнемогает... Но вот взмыленный его конь остановился... и Меркурий, как в красном тумане, увидел, что Сама Одигитрия вышла навстречу к нему, а с Нею и весь народ смоленский. И тогда глаза его широко распахнулись и вспыхнули последним блеском.

— Граждане! — воскликнул он. — Исполин пал! Сама Царица Небесная направила мой меч! Враги больше не тронут наш город: его хранит Святая Одигитрия! Слава Ей! И честь, и хвала!

Это было последнее его усилие. Лицо рыцаря вмиг онемело, со стоном выронил он поводья и повалился на гриву коня. Глеб и Василько бросились к нему, осторожно сняли с седла и положили на землю.

Отец Георгий поспешил к умирающему и приложил к его холодеющим устам крест. Меркурий в последний раз приоткрыл глаза и взглянул на небо, а через мгновение страдальчески сдвинутые брови его разгладились и по лицу разлилось безмятежное выражение покоя и неземного счастья. Он перешел в мир иной.

Граждане, потрясенные, молчали.

Вдруг из толпы выбежала София. С громким рыданием пала она перед умершим рыцарем, обняла его колени и замерла. Теперь она узнала его тайну...

Шесть ратников приблизились, сделали носилки из воинских копьев, положили на них тело почившего героя, и все шествие направилось к городу. Впереди шла Пречистая Одигитрия — Госпожа Смоленска, ведя в город, охраняемый Ею, тело Своего избранника.

Вместо надгробных песнопений радостно зазвучала ликующая песнь «Взбранной Воеводе победительная». И только по приближении к собору — месту последнего упокоения мученика — полились величаво-скорбные звуки погребального напева: «Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас!».

А с соборной колокольни уже неся гул колоколов. Пономарь Юрий, опередив шествие, был уже наверху. Его льняные волосы развивались по ветру, а в широко раскрытых глазах светились те же восторг и ужас.

С высоты соборной колокольни он видел празднично-пеструю толпу народа, сверкающие ризы духовенства, развевающиеся хоругви, блестящие иконы, высоко плывущий над народом образ Одигитрии, черные клобуки монахов, железные шишаки [128] воинов, русые косы девушек, белые покрывала женщин. И среди этой толпы народной — носилки из копий и распростертое на красном, изорванном плаще тело защитника Смоленска. Шлем его был снят, и черные волосы рассыпались мягкими волнами по безжизненным плечам...

Солнце в последний раз согревало осенними лучами бледное лицо рыцаря, ласкало сложенные в улыбку уста, хранящие нездешнюю тайну. Это был его день — «День победы, славы нетленной, венца мученического».

Осенний ветер шумел и срывал с деревьев последнюю листву...

11

В соборе темно и тихо, лампы и свечи потушены, только неугасимая лампада сияет перед чудотворной иконой Одигитрии да бледно мерцает зеленоватый огонек над каменной белой гробницей у правого клироса.

Три дня и три ночи в соборе лежало тело защитника Смоленска — и тление не тронуло его. Все так же хороши черты его бледного лица, длинные ресницы, кажется, готовы приподняться, а уста, сложенные в таинственную улыбку, вот-вот заговорят. Он словно спит и небесные видения наполняют его сон...

И вот — торжественное погребение.

Коленопреклоненная толпа народа с горящими свечами в руках, синие волны ладана, рыдание надгробных песнопений, тонушее под высокими сводами храма, и... тело мученика навеки сокрыла белая гробница.

* * *

Все время, пока не наступила поздняя осень, гробница Меркурия утопала в цветах. Самые лучшие цветы приносила София. Она стала еще молчаливее и строже, всегда в черном, похожая на инокиню.

Молодые супруги, Глеб и Светлана, часто молились у гроба мученика. Граждане Смоленска постоянно служили панихиды по убиенному князе Меркурии, и голос священника зачастую прерывался рыданием.

Все жители Смоленска с первого дня погребения мученика считали Меркурия святым угодником Божиим, которого прославляла в лике Своих угодников Сама Матерь Божия.

* * *

Юрий вздохнул, взял из-под ящика потертый коврик и направился к гробнице Меркурия. С тех пор как она появилась в соборе, юный пономарь стал спать при ней, словно он сделался хранителем новой святыни Смоленска. Пономарь разостлал половичок, встал на колени, прочел вечерние молитвы и, закончив их, произнес: «Упокой, Господи, душу раба Твоего, убиенного князя Меркурия!». А в душе его шевельнулись другие слова: «Скоро, скоро не за тебя, а тебе самому мы станем молиться, святой защитник нашего града!».

Юрий улегся на своем убогом ложе, вслушиваясь в стоны ветра за стенами собора. Ему казалось, что это смоленский ветер оплакивает раннюю кончину Римлянина, славит его подвиг, баюкает в гробу...

Юрий заснул. Внезапно сильный порыв ветра разбудил его. Он открыл глаза, приподнялся. Невольный крик замер в горле. Перед ним, опершись на гробницу, стояла фигура рыцаря, закованного в латы, словно сотканная из лунного света. Волны волос упали из-под шлема, лицо было озарено все той же таинственной улыбкой, с которой похоронили мученика. Губы рыцаря шевельнулись. Юрий замер.

— Скажи смольнянам, — прозвучал знакомый мелодичный голос, — чтобы над моей гробницей повесили мой меч, копье и щит. И, если враг приблизится к Смоленску — пусть граждане несут перед войском мое оружие, прославляя Христа и Пречистую Матерь, вспоминая меня, Ее слугу.

Юрий упал ниц перед говорившим, а когда поднялся — никого уже не было у гробницы. Только ветер гудел за стенами собора да бледный свет луны, вырываясь из-за быстро бегущих облаков, падал через круглое окно на гробницу и железные плиты пола.

Лицо Юрия сияло торжеством. Заветная его мечта исполнилась; теперь уже он знал: не как о погибшем, а самому рыцарю — защитнику Смоленска станут молиться смольняне, а за ними и весь русский народ[129].

Юноша отступил от гробницы, положил земной поклон и произнес вслух:

— Радуйся, святой мучениче Меркурие, Смоленский чудотворче!

А вскоре он снова прикорнул на своем коврике, а потом безмятежно уснул, полный мыслию о том, как завтра рано утром громко ударит вечерней колокол, и он, недостойный пономарь, поведаст собравшимся гражданам новую чудную весть о святом рыцаре...



Исцеление татарской царицы Тайдулы святителем Московским Алексием

I

Читает ханское посланье
Великий Князь[130]. Встревожен он:
Необычайностью желанья
И просьбой хана поражен.
Могуч татарский повелитель,
Вся Русь трепещет перед ним;
Жесток настойчивый властитель
И мстит ослушникам своим.
Как быть с желаньем Ченибека?
Вот пишет он: «Известно нам,
Что Бог святого человека
Внимает искренним мольбам.
У вас, как слышно, есть Святитель,
Он добродетелен и свят,
Он Неба истинный служитель,
Любим он Богом, говорят.
Пускай предстанет предо мною,
Пусть мне царицу исцелит,
Своей молитвою святою
Пусть ханше зренье возвратит.
И мир держать мы будем с вами,

Но если встретим ваш отказ,
То с обнаженными мечами
Мы ратью двинемся на вас».
И снова грамоту в смущеньи
Читает Князь, хоть знает он,
Что быть не может возраженья,
Что воля ханская — закон!
Но испытанье так нежданно...
Невольно мысль потрясенá:
Всей речи тон звучит так странно,
Угроза хана так страшна.
Родной стране уж так знакома
Расправа дикая татар:
Еще свежи следы погрома,
Еще не кончился пожар.
Но сам Святитель на посланье
Какой-то даст еще ответ?!
Как примет веры испытанье,
В орду поедет или нет?
Какую мысль Всевышний вложит
Рабу святому Своему?
Господь владыке да поможет
И крепость сил да даст Ему!
Смутился праведник смиренный,
Прочтя посланье; он молчал
И лишь умом Творца Вселенной
О высшей воле вопрошал!
Чело задумчиво склонилось,
И взор ушел куда-то вдаль.
Душа в том взоре отразилась,
Но мир нарушился едва ль.
Необычайно порученье,
Задача трудная дана,
Здесь надо много дерзновенья,
Здесь вера твердая нужна.
Смелó неверных ожиданье,
Но где уверенности взять,
Что Бог исполнит их желанье —
Пошлет им свыше благодать?
А между тем — покой народа,
Торговля в русских городах,
Родной религии свобода
У хана-деспота в руках!..
Молчал в раздумии Святитель...
Как ханше зрение вернуть?
Но благ и силен Вседержитель,
Он Свят, Он — Истина и Путь!
Недолго длилось колебанье,
Вопрос ответственный решен —
Согласно ханскому желанью,
В орду поехать должен он.

С глубоким немощи сознаньем
Поник Святитель головой,
Но дивной силой упованья
Звучал ответ его святой:
«Князь! Воля хана превышает
Границу разума и сил,
Но веру Бог не посрамляет:
Все тот же Он и есть, и был.
Вернувший зрение слепому
Чудесной властью Своей
Даст крепость мне, рабу худому,
Поможет немощи моей!..».
Безмолвно Князь в благоговеньи
Внимал Святителя словам,
И в душу, полную смущенья,
Они вливались, как бальзам.

II

Блится риза на иконе
Людской Заступницы Благой,
На золото-чеканном фоне
Темнеет Лик Ее святой.
Пред Ней, сиянье разливая,
Пылают множество свечей,
И дым кадил благоухает,
Клубясь, струится перед Ней.
Народом тесно окруженный,
Объятый верою живой,
Стоит Святитель умиленный
Перед иконою святой!
Пречистой Деве он возносит
Мольбы смиренною душой,
Ее предстательства он просит
В час испытанья роковой...
Звучат святыя песнопенья,
Несутся звуки в вышину
И в сердце льют успокоенье,
Небесный свет и тишину.
Молебен кончился соборный —
Идет владыка Алексей
Молиться к раке чудотворной
Петра святителя мощей!
Здесь просит он благословенья,
Молитв угодника святых,
В них ищет веры укрепленья,
Поддержки ждет себе от них.
Склонившись ниц перед гробницею —
Живым источником чудес,
Татар страдающей царице
Он молит помощи с Небес.

И верит он: его прошенья
Господь услышит Всеблагой.
Всю жизнь он руку Провиденья
Так явно видел пред собой!
Он удостоился призванья:
Был избран Господом Самим
И с той поры без колебанья
Шел твердой поступью за Ним.
Давно то чудо совершилось,
Но до последних мелочей
В уме владыки сохранилось
Со всею ясностью своей.
Был летний день. Светило жарко.
И было тихо так кругом,
Сияло солнышко так ярко
В далеком небе голубом.
И пчелы так вокруг жужжали
Среди пестреющих цветов,
И сам он был так чужд печали,
Так юн, так весел, так здоров.
На землю сеть свою широко
Для ловли птиц он разостлал
И, притаясь в траве высокой,
Гостей пернатых поджидал.
Но вскоре, зноем истомленный,
Вблизи раскинутых сетей
Уснул, дремóтой побежденный...
Вдруг слышит голос: «Алексей!
Зачем ты трудишься напрасно?
Ты будешь душ людских ловцом».
И голос тот звучал так ясно,
И столько силы было в нем!
Но тщетно отрок пробужденный,
Не веря собственным ушам,
Смотрел, глубóко потрясенный,
Вокруг себя по сторонам.
Ни там, ни здесь перед собою
Он не увидел ничего,
Лишь над нескошенной травой
Жужжали пчелы вокруг него.
Умом проникнуть он стремился
В значенье слышанных им слов,
И долго, долго раздавался
В его душе небесный зов.
Послушный голосу призванья,
Ушел из мира он потом...
А там сбылось и предсказанье,
И душ людских он стал ловцом.
Стремясь к цели неизменно,
Почти уж сорок долгих лет
Он служит Господу смиренно,

Храня монашеский обет.
Звездой яркою Спаситель
Всегда сиял в его судьбе,
Не раз испытывал Святитель
От Бога помощь на себе.
Вот и теперь молитва веры пламенеет,
Наполнен ею древний храм,
Невольно дух благоговеет,
И ум стремится к Небесам.
Вновь припадает в умиленьи
К святым мощам Митрополит.
И снова льются песнопенья,
Напев, знакомый нам, звучит.
И вдруг внезапно и мгновенно,
Как бы незримою рукой,
Перед гробницею священной
Зажглась свеча сама собой
И замерла. Затрепетала
Толпа молящихся людей,
Как будто искра пробежала
В одно мгновение пред ней.
Святитель в радостном волненьи
Стоит пред чудною свечой,
Возносит он благодаренье
Христу восторженной душой.
Он видит в чуде предсказанье,
В нем ясно чувствует ответ,
Что не напрасны ожиданья,
Что ханша вновь увидит свет.
И с верой вóску часть святого
Он предстоящим раздает;
Свечу из воска остального
В орду с собою он возьмет.



III

Богато ценными вещами

Убрáнство ханского шатра,
Пестреет яркими тонáми
Узор пушистого ковра.
Повсюду вышивки цветные,
Повсюду шелк и серебро,
Меха и ткани дорогие —
Все так блестяще и пестро.
На мягком ложе без движенья,
С волненья краской на щеках
Лежит Тайдúла. Нетерпенье
Сквозит во всех ее чертах.
То в сердце вера на мгновенье
Вольется светлую струей,
То овладеет вновь сомненье
Ее измученной душой.
В судьбе своей она несчастна:
Уж года три тому назад
Она ослепла, и напрасно
Ей избавление сулят.
Она знатна́, она богата,
Но власть и роскошь ей на что?
Душа ее тоской объята,
Не веселит ее ничто.
Давно у ханши не видали
Улыбки прежней на устах,
Она всегда полна́ печали,
С тех пор как свет померк в очах.
От взора милые ей лица
Сокрыла словно пелена.
Она, как узница в темнице,
На вечный мрак обречена.
Что для нее теперь свобода?
Она ей больше не нужна;
Ее не радует природа,
Не для нее теперь она.
Не видно ей ни звезд мерцанья,
Ни южной ночи красоты,
Ни солнца яркого сиянья
С небес лазурных высоты.
Не для нее в степи широкой
Пестреет множество цветов,
Не для нее ковыль высокий
И масса ярких мотыльков.
Своими стонами терзает
Она невольно всех родных,
Бессильно руки простирает
И молит помощи у них.
Она любима грозным ханом,
И за врачами для жены
Он посылал по разным странам
И не жалел своей казны.



Немало стоило лечение,
И средств немало дорогих
Давали ей, но облегченья
Она не видела от них!
Остались тщетными старанья
Всех чужеземных докторов,
Не помогли и волхованья
Известных магов и жрецов.
Напрасны были ожидания,
Мечты рассеялись как дым,
Росли душевные страданья,
Конца не видно было им.
И сердце хана надрывала
Она вновь жалобой своей
И вновь о помощи взывала...
Но чем же мог помочь он ей!
И обрекал он в раздраженьи
Врачей невинных и волхвов
На злую смерть, без исключенья,
Как лихоимцев и лгунов.
Погибло их в орде немало,
Но что Тайдúле оттого?
Она по-прежнему страдала
Среди богатства своего.
Уже отчаянье вползало
Ей в душу скрытую змеей...
Вдруг сердце вновь затрепетало
От вести радостной, благой.
Та весть гласила, что Святитель
Есть в русском городе Москве —
Людских страданий утешитель...
И ханша верила молве.
От хана грозного с посланьем
В Москву отправлен уж гонец.
Быть может, скоро ожиданиям
Наступит радостный конец.
Давно Святитель уж в дороге,
Давно уж ждет его она,
Полна надежды и тревоги;

Ей не до пищи, не до сна.
Но вера в чудо исцеленья
Вновь не окажется ль пустой?
И не опять ли обольщенье —
Прекрасной, призрачной мечтой?!
Вопроса жгучего решенье
Уж близко, близко впереди.
Сильней становится волненье,
И сердце бьется так в груди!
В душе хранится впечатленье
От удивительного сна,
Своей надежды подтвержденье
В нем как бы чувствует она.
Ей снилось, будто бы, страдая,
Лежит она в шатре своем
И вечной ночи тьма густая,
Как и теперь, царит кругом.
Но вдруг таинственная сила
Шатра завеси подняла,
Вмиг место свету уступила
Как бы исчезнувшая мгла,
И, духовенством окруженный,
Среди блистающих лучей
Перед Тайдулой изумленной
Предстал святой Архиерей...
Проснувшись в радостном волненьи,
Велела шить она скорей
Из ценной ткани облаченье
Для ожидаемых гостей.
До смерти ханша не забудет
Того чарующего сна...
«О, что-то будет, что-то будет?» —
Твердит с тревогою она.
В орде заметно оживленье.
Подряд уж несколько так дней
Толкуют все о приближеньи
Далеких с севера гостей.
То любопытство, то сомненье
Во многих видится очах,
Чувств разнородных отраженье
Сквозит в движеньях и речах.
Уж правда ль, властью непонятной
Пришлец московский одарен
И ханшу силой необъятной
От слепоты избавит он?
Сам хан, гонцами извещенный,
Встречать Святителя идет,
Громадной свитой окруженный,
Чтоб оказать ему почет.
Уж близко, близко миг желанный,
Растет волнение сердец.

А вот и гость, так долго жданный,
В орду въезжает наконец.
Встречает хан его с почтеньем,
Толпа притихшая молчит:
Всех тихой лаской и смиреньем
Влечет к себе Митрополит.
Без тени страха и смущенья
За ханом входит он в шатер;
Души святое настроенье
Являет ясный, кроткий взор.
Он — среди татар, он в их столице,
Вдали от паствы дорогой,
Вокруг него — чужие лица,
И сам он здесь совсем чужой!
Но нет в душе его сомненья,
Ведь с ним Господь и здесь, в орде,
И здесь горячее моление
Он слышит так же, как везде.
Ждет ханша с сердца замираньем
Решенья участи своей,
Одним объята желаньем —
Увидеть снова свет скорей!
Но вдруг окажется бессильным
И этот врач ее святой?
И снова холодом могильным
Обдаст ее при мысли той...
Вот началось богослуженье
У ложа страждущей слепой.
Святитель в полном облачении —
Посланник будто неземной!
Вокруг него — собор священный
В блестящих ризах дорогих,
Огонь молитвы сокровенной
На лицах светится у них.
В шатре торжественно-спокойно,
Печать величия на всем.
И пенье звучное так стройно,
Отрадно, мирно все кругом...
Клубится дым ароматичный
Голубоватую струей;
Все для татар так непривычно,
Все поражает новизной.
Тайдúла слушает в волненьи
Молитв неведомых слова,
Ей в душу льются песнопенья,
Ей мнится близость Божества.
Хан, сыновьями окруженный,
Стоит безмолвно в стороне;
С тревогой взор его смягченный
Сосредоточен на жене.
Кто знает? С верой иль сомненьем

Он ждал минуты роковой,
Молился ль сам с благоговеньем
Иль лишь внимал мольбе чужой?
Сентябрьский день так тих и ясен,
Так солнце весело блестит!
Так тихо светел, и прекрасен,
И чист душой Митрополит!
Вот с кроткой благостью святого
Он обращается к больной
В руках с пылающей свечою —
Той, что зажглась сама собой.
Проникнут силой вдохновенья
Взор, устремленный к Небесам.
В том взоре столько дерзновенья!
Горячей веры столько там!
Он погружается всецело
На миг в молитву о слепой,
Потом уверенно и смело
Кропит ее святой водой...
И, затаив в груди дыханье,
Все ждут мгновение одно
Средь напряженного молчанья,
Но долгим кажется оно...
Невольно вздрогнула Тайду́ла:
Там, в глубине ее очей,
Как будто молния блеснула,
И свет открылся перед ней...
Свершилось чудо, нет сомненья!
И с уст ее сорвался крик —
Крик, полный счастья и волненья:
«Бог русских истинно велик!
Он даровал мне исцеленье
Чудесной силою Своей,
Он возвратил мне радость зренья,
Завесу снял с моих очей!».
Мгновенно все пришло в движенье,
И все с восторгом вторят ей:
«Свят Бог, подавший исцеленье!
Свят и Владыка Алексей!».
И слышен шепот восхищенья,
Гул голосов — со всех сторон,
И видит ханша в изумленье:
Сбылся́ на деле вещей сон.
Вот гость чудесный возле ложа,
Знакомый ей Архиерей,
И духовенство с ним все то же,
И свет желанный перед ней!
Ужели вновь она здорова,
Вокруг исчезла темнота
И счастье к ней вернулось снова,
И это счастье — не мечта?

А он, целитель благодатный,
Стоит безмолвный пред толпой,
Он, силой Духа необъятной
Вернувший зрение слепой.
Его с восторгом окружают,
О нем с почтеньем говорят,
Как чудотворца прославляют
И вновь, и вновь благодарят...
Но он, исполненный смиренья,
Как бы не слышит ничего,
Он так далек от самомнения,
Так чист и кроток дух его!
В его душе — благоговенье,
Хвала — в душе и на устах,
Слеза святого умиленья
В его задумчивых очах!
Туда, в надбездную обитель,
Поднял он тихий, ясный взор,
И, мнится, длань Свою Спаситель
Над ним с любовью распростер!..

Священник Венедиктов



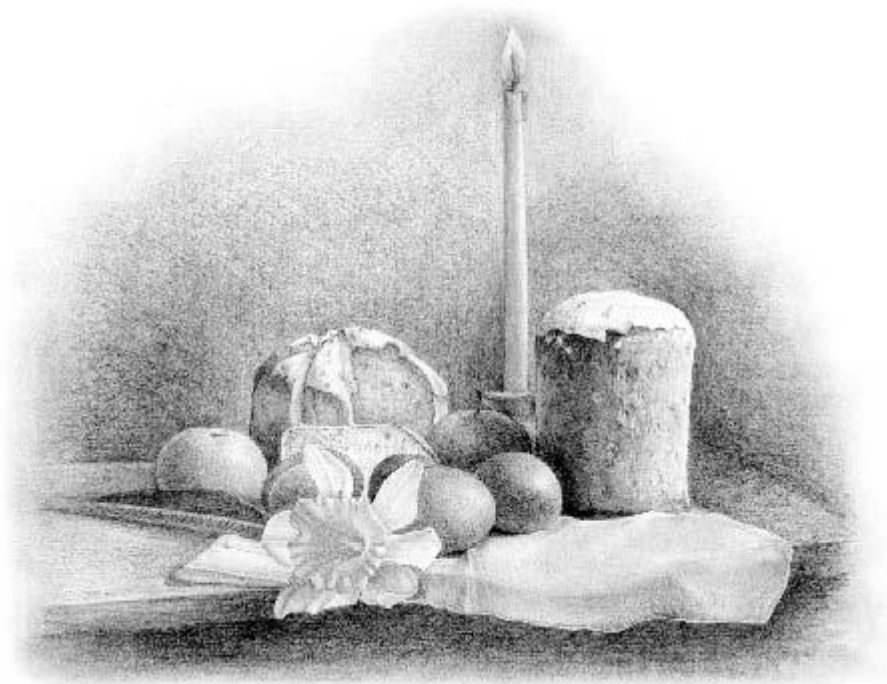
Предание

Средь скал Аю-Дага минувшей порой
Явился однажды священник седой.
Отшельником строгим в пещере он жил,
Ни разу в рыбацьем селе не служил.
Он был рыбаками и чтим, и любим,
Пред Богом считаем заступником им.
Когда, разыгравшись, ревел ураган,
Окрестность скрывали и мгла, и туман
И море играло рыбацьею ладьею,
Как кошка играет с добычей порой,
На скалы прибрежные старец сходил,
Служил панихиды, молебны служил
За души погибших в пучине морской,
За тех, кто выходит на берег с тоской.
Сквозь бури стенанье, рев ветра и вой
В мгновенья молчанья был слышен порой
Молитвы поющих тот старческий глас.
И многих молитвой от смерти он спас.
С тех пор уж в обычай у всех рыбаков
Вошел и был признан порядок таков:
Пред рыбною ловлей здесь якорь отдать

И выхода старца с смирением ждать.
И старый священник на берег сходил,
Колени склонивши, молитвы творил,
И с верой молились с ним все рыбаки.
Он, кончив молитву, поднятjem руки
Пред ловлей опасной крестом осенял
И взором, казалось, челны́ он считал;
И ловля счастливой удачи полна,
И чёлны рыбачьи щадила волна.
Домой возвращаясь по грозным валам,
Суда подплывали к прибрежным скала́м.
И снова крестил их пресвитер седой,
И снова молился, стоя́ над водой.
Он Господу нашему, Господу Сил,
За лов тот счастливый хвалу возносил.
В Пасхальную море репевшее ночь
Стихало внезапно. Чуть ближе в полно́чь
Покойники моря, качаясь в волнах,
Неслись к Аю-Дагу в несметных толпа́х,
От локонов детских до старцев седин.
И тотчас навстречу к тем жертвам морей
Сходил в облаченье старик иерей.
Заутреню светлую старец свершал,
Грехов всепрощенье он мертвым вещал,
И, им посылая пасхальный привет,
Глухое «Воистину!» слышал в ответ.
Немного нашлось тогда смельчаков
Из живших поблизости здесь рыбаков,
Что видели тайно заутреню ту.
Домой возвращались седыми, в поту...
Так вид был ужасен морских мертвецов —
Молитву творивших погибших пловцов.
А ночь та спокойною самой была —
Ладья безопасно по вóлнам плыла.
И так продолжалось из года в год,
И тайною старца окутал народ.
Но как-то случилось в Пасхальную ночь,
Что море ревело во всю свою мочь
И бились волны о берег с тоской,
Суда поглощались пучиной морской,
А мертвые снова неслись по волнам,
Туда направляясь, к заветным скала́м...
Но старец на берег уже не сходил,
Заутрени светлой уже не служил.
Со стоном и плачем той страшной порой
По вóлнам носился покойников рой.
Не видел, не слышал их старый монах,
И скрылись покойники к утру в волна́х,
И люди не встретили старца нигде,
И он не спускался на скалы к воде.

Тогда рыбаки с замираньем в сердцах
Предприняли поиски в диких горах;
Почившего старца в пещере нашли
И, вход заваливши, молясь погребли.
И имени старца никто не узнал,
Откуда и как он на берег попал,
Но светлая память поныне живет,
Народ ее свято в сердцах бережет,
И в каждую ночь Воскресенья Христова
Рыбак слышит в море заутреню снова.
То старец, в пещере безвестно почивший,
Несет утешенье всем в море погибшим.

Декабрь 1918 г. Царское село



Святой Алексей, человек Божий

I

Среди строений града Рима
Немало дорогих дворцов:
Их красота невыразима,
И описать не хватит слов.
Но не найти чудесней вида
Необычайнейших хором:
Евфимиан и Аглаида
Владычествуют в доме том.
Не за одно богатство славят
В народе эти имена:
Радушье им в заслугу ставят,
Про щедрость их молва полна.

Не зная гордости и лести,
Как чада Господа Христа,
В нелицемерном благочестьи
Живет вельможная чета.
Не мудрствуя умом лукаво,
Оберегаясь ересей,
Заветы Церкви и уставы
Хранят со строгостию всей.
Пылая к ближнему любовью,
Чтоб бедным горе облегчить,
Судьбу сиротскую и вдовью
Они стремятся усладить.
За то всегда о них моления
Неслись устами бедняков,
И Бог послал им утешенье
За щедрость к ближним и любовь:
Он дал им сына Алексея.
Дитя на радость им росло,
В нем были чувства лишь святые
И места не имело зло.
Цветя телесной красотой
В усладу материнских глаз,
Невинный юноша душою
Блестел, как дорогой алмаз.
Забавы, игры, развлеченья,
Обычные для всех детей,
Ему чужды: в уединенье
Стремится он душой своей.
И часто целые он ночи,
Не тронув мягкого одра,
Но устремив к иконе очи
Стоял в молитве до утра.
Душа в нем к подвигу стремится:
Под кровом тканей дорогих
На нем надета власяница,
Ее таит он от родных.
В своей родительской заботе,
Любя его, отец и мать
Во благе мира и почета
Стремятся сына увидеть.
Их славный род не прекратится,
Его продлит наследник их:
Немедля должен он жениться,
И Алексей — уже жених.
Дочь знатного вельможи-друга
Уже дала им свой обет,
Она была ему подруга
Еще из отроческих лет.
Отцы охотно порешили
Своих детей соединить,
И вот минуты наступили

Союз их браком освятить.

II

Огнями заняты чертоги:
Обилье яств, питей и слуг.
На брачный пир собрался многих
Сановников знатнейших круг.
Сироты, бедные толпами
Сбиваются вокруг двора,
Откуда щедрыми руками
Дают им всякого добра.
Все улицы и площадь полны
Народа, колесниц, коней...
И движутся живые волны
В чертогах собранных гостей.
В разгаре пир: несутся клики,
Бряцанье арф, бокалов звон,
И сладкопенья слышны звуки,
Веселье льет со всех сторон...
Блестя роскошнейшим нарядом
Среди богатой пестроты,
Невеста с лучезарным взглядом
Глядит царицей красоты.
Вся непорочностью сияя,
Млада, прекрасна и стройна,
Как роза нежная средь мая,
В толпе гостей цветет она.
Похвал нелицемерный шепот
Срывается у многих лиц,
А юношей ревнивый ропот
Не знает меры и границ.
Они сопернику не рады
И ропщут, завистью полны:
«Не стоит он такой награды,
Не стоит он такой жены!
Невесты взгляды огневые
Способны лед воспламенить;
Взгляните ж вы на Алексея:
Какой печальный, грустный вид!
Уместно ль быть тут хладнокровью?
Не странно ль сдерживать свой пыл?
Она горит к нему любовью,
А он печален и уныл!».
Томимы завистью и злостью,
Поносят жениха они.
Окончен пир: уходят гости,
Потухли яркие огни,
Часы веселия промчались,
Вокруг все дремлет в тишине;
И новобрачные остались

В полночный час наедине...
Их красота, любовь и младость,
Богатство, знатность и почет —
В союзе брачном это радость
И наслаждение принесет.
Так все мы судим по-мирскому,
Но Алексей не так глядел.
К иному благу, неземному,
В душе влечение он имел.
Младой супруг с руки снимает
Свое венчальное кольцо,
Супруге юной возвращает
И молвит, опустив лицо:
«Ты уж жена мне — не невеста,
Но я правам своим не рад:
На брачном ложе нет мне места,
Возьми кольцо твое назад;
Крепись, дави в себе тревогу,
Я пред тобою не солгу —
Обет безбрачия дал я Богу
И стать супругом не могу.
Ты можешь выйти замуж снова —
В супружестве не жили мы...».
И, не сказавши больше слова,
Сокрылся быстро за дверьми.
О, дивный Божий человеке!
Ты ангелом во плоти был,
Мы ж от тебя стоим далече
И несть свой крест не сыщем сил.
Гнетут нас похоти оковы,
Живем мы в суете сует,
Для плоти мы на все готовы,
Лишь о душе заботы нет.

III

Где было пира ликованье,
Там все тревогой сражены:
Несутся вопли и стенанья
Отцов и молодой жены.
Стремится пеший, скачут кони
По улицам со всех сторон,
Но нет успеха от погони:
Исчез бесследно где-то он!
Родные плачут дни и ночи,
Отчаянию нет конца:
От жгучих слез померкли очи,
Сошла улыбка с их лица.
Осиротелая супруга,
Необычайная вдова,
Полна сердечного недуга,

Едва осталася жива.
Такой любовью к мужу дышит,
Что не найдешь к тому и слов,
Про новый брак не хочет слышать
И не глядит на женихов.
Совлекши пышные одежды,
Убогий предпочла наряд,
Живет лишь силою надежды,
Что муж ворóтитя назад.
«Зачем расстался он со мною,
Он дал безбрачия обет?
И жили б мы, как брат с сестрою,
Неся друг другу свой привет!
Лишь были б вместе только оба,
Ведь я сроднилась с ним душой,
Мне не забыть его до гроба...
О, тяжкий, тяжкий жребий мой!»
Так всякий раз она вопила
И днем, и в тишине ночей
И лишь в молитве находила
Отраду в горести своей.
О, целомудренная дева!
О, благочестная жена!
А мы лишь сто́им Божья гнева:
Так наша жизнь развращена!
Даем мы брачные обеты,
Клянемся все пред алтарем...
Супружеская верность, где ты?
Всегда ли мы тебя найдем?..

IV

Велик был подвиг Алексея:
Отвергнув брака доброту
И сняв одежды дорогие,
Дабы верней свершить мечту,
Во вретища он облачился
И, бросив Рим, уплыл в Эдесс,
У врат церковных приютился
И подвигу предáлся здесь.
Церковник дивное виденье
О нем однажды получил
И, Божье сотворя вельенье,
О том народу возвестил:
Что Алексий, сей муж смиренный,
Живя средь нищих и калек,
Стяжал себе венец нетленный
Как дивный Божий человек!
Угодника в нем Божья видя,
Толпа несла ему почет,
Но, славу мира ненавидя,

В страну другую он идет:
В неведомую Киликию,
Дабы́ укрыться от толпы,
Пришло желанье Алексию
Направить вдруг свои стопы.
Но сила Господа незримо
Влекла его пути назад,
И он попал в пределы Рима,
Во свой отечественный град.
Едва вступил на стогны града,
Отца он видит своего:
И огорченье, и отрада
В душе смешались у него.
Одетый в рубище, как нищий,
Босой, с открытой головой,
Через тяжкий пост и скудость пищи
Весь изможденный и больной...
Состарился он очень рано
От всех лишений и невзгод:
Наследника Евфимиана
Отец и сам не узнает.
Да и родитель изменился:
Стал сед, морщины на челе.
И сын невольно прослезился,
Скорбя сердечно об отце:
«Один лишь я тому причиной,
Я словно враг своим родным:
Убил их горькою судьбиной...».
И сын взмолился перед ним:
«Раб Божий! Сжался надо мною:
Я бедный странник, одинок,
Живу с великою нуждою;
Найди мне в доме уголок!
Быть может, сын твой на чужбине
В нужде такой же, как и я;
Ему во благо будет ныне
Щедрота к ближнему твоя!».
Сии слова Евфимиану
Запали в душу глубоко;
Как бы елей возлит на рану,
Отрадно стало и легко.
О нем исполнясь попеченья,
Евфимиан рабам велит,
Чтоб странник не имел лишенья
И никаких не знал обид,
Чтоб всякий раз снабжен был пищей
И в платье годное одет.
Но дивным оказался нищий
И жил в лишении, как аскет.
Ведя с своею плотью битву,
Питался только сухарем,

Ходил босой, свершал молитву
И изнурял себя трудом.
Всяк день ко храму поспешая,
Святые Тайны принимал
И, подаянье получая,
Тотчас же нищим раздавал.
Немало всяких огорчений
От слуг лукавых он узнал:
Обид, побоев и глумлений
Терпел премного, но молчал.
Ему ужасней пытки были
Стенанья матери, жены,
Которые о нем грустили,
Досель быв горем сражены';
Он слышать мог их восклицанья:
«О, где ты, где ты, наш беглец?
За что ты нам принес страданья?
О, воротись к нам наконец!».
В нем сердце обливалось кровью,
Крепиться не хватало сил,
И он бежал бы к ним с любовью,
Но свой обет он свято чтит.
Он доблестный Христов был воин,
Блюлась им заповедь сия:
«Не будет тот Меня достоин,
Кому дороже мир, чем Я!».
Семнадцать лет вблизи супруги,
Отца и матери своей
Провел он, и лукавство слуги
Над ним творили все смелей.
Терпя побои, заушенья
Во имя Господа Христа,
За издевателей моленья
Шептали кроткие уста.
Но Бог за велие смиренье
Сторицею вознаградил
И о блаженном откровеньи
Народу римскому явил.

V

В градском соборе совершалось
Служенье *папою*^[131] самим:
Народа множество собралось,
Сам царь Гонорий^[132] между ним.
При ярком блеске освещенья
Сияет благолепьем храм,
Несутся сладко песнопенья,
Курятся густо фимиам.
И высоко над всей столицей
Звучит молитвенный тимпан.

Ничто величьем не сравнится
С богослуженьем христиан!
Исполнясь все благоговенья,
Единым сердцем и душой
Несли ко Господу моления —
И чудо вдруг перед толпой:
Все явственно вдруг услышали
Необычайный Чей-то глас:
«Придите все ко Мне в печали,
В скорбях, и успокою вас!
Ищите Божья человека,
Что умереть готов сейчас!
Падите все пред ним в подножье —
Пусть он помолится о вас!».
Словам таинственным внимали
И в велий трепет все пришли,
Вечёр по городу искали,
Но праведника не нашли.
Чего не слыхано от века,
Глас вновь к народу был всему:
«Ищите Божья человека
В Евфимиановом доме».
Сам царь, и папа, и вельможи
С толпой к Евфимиану шли
И в хижине на бедном ложе
Почившим странника нашли.
Вокруг несло благоуханье,
И лик усопшего сиял.
А дней своих рукописание
В деснице праведник держал.
Раскрывши хартью[133], прочитали
Во всеуслышанье рассказ.
И все про истину узнали:
Как бы повязка спала с глаз.
Стенают, вóпят без границы
У гроба мать, отец, жена,
А слух по всем концам столицы
Несется быстро, как волна.
Весь Рим собрался к погребенью:
Участвовали *папа*, царь,
И от мощей чудотворенья
Господь явил за подвиг в дар:
Слепые зренье получали,
Глухие находили слух,
Уста немые раскрывали,
Целился всякий здесь недуг.
Неделю целую стояли
Открыто мощи, и во храм
Толпы́ народа притекали,
Дивясь бывшим чудесам.
Толпу удерживать нет мочи:

Стремилась бурно, как ручей,
И неусыпно дни и ночи
Неслись молитвы у мощей.
Усопшего похоронили
С необычайным торжеством
И в честь его соорудили
Прекрасный храм на месте том.
Как солнца чудное сиянье
Дает веселье для очей,
Так о святом повествованье
Усладой служит для людей.
С тех пор на торжище калека,
Дабы смягчить толпы сердца,
Поет про Божья человека,
И каждый слушает певца.
Народ приходит в умиленье,
Несутся вздохи от души,
И нищему в вознагражденье
Даются с щедростью гроши.
Нередко грош блестит слезою
В руках дающих, как алмаз,
Настоль усладою большою
Толпе бывает сей рассказ.
О, дивный Божий человеце!
Ты Господа о нас моли,
Дабы в страну греха далече,
Как блудный сын, мы не ушли,
Дабы, не мудрствуя лукаво,
Но **Церковь** Божью возлюбя,
Мы подвизались в вере правой,
Имея в образец тебя!
Дабы, презрев греха усладу,
С душою, полной чистоты,
Примкнуть нам всем к Христову стаду
И быть за гробом там, где ты!

Священник Иаков Ганицкий



Евангельские звери

Итальянский эпилог[134] XII века

У светлой райской двери,
Стремясь в Эдем войти,
Евангельские звери
Столпились на пути.

Помногу и по паре
Сошлись от всех границ
Земли и моря твари —
Сонм гадов, мошек, птиц...
И Петр, ключей хранитель,
Спросил их у ворот:
«Чем в райскую обитель
«Вы заслужили вход?».
Осля́ — неустрашимо:
«Закреты ль мне врата?
В врата Иерусалима
Не я ль ввезла Христа?».
«Во град не впустят нас ли? —
Вол мыкнул за волом. —
Не наши ль были ясли
Младенцу первый дом?»
Он стукнул лбом в ворота:
«И речь про нас была:
“Не поит ли в субботу,
Осла кто иль вола?”».
«И нас с ушкóм игольным
Пусть также помянут!» —
Так гласом богомольным
Сказал словцо верблюду.
А слон, стоявший сбоку
С конем, сказал меж тем:
«На нас волхвы с востока
Явились в Вифлеем!».
Рот открывая, рыба:
«А чем, коль нас отнять,
Апостолы могли бы
Семь тысяч напитать?».
И гласом человека
Добавила одна:
«К тому же в рыбке некой
Монета найдена!».
А из морского лóна
Туда приплывший кит
«Я в знамении Ионы»,
Промолвил, «не забыт!».
Взнеслись: «Мы званы тоже!» —
Все птичьи племена.
«Не мы ль у придорожья
Склевали семена?»
Но гóрлинки млады́е
Поправили: «Во храм
Нас принесла Мария,
Как жертву Небесам!».
И голубь, не дерзая
Напомнить Иордан,
Проворковал, порхая:

«И я был в жертву дан».
«Он в нас (напомнить надо ль?)
Для притчи знак обрел.
Орлы везде, где падаль!» —
Заклекотал орел.
И птицы пели снова,
Предвосхищая суд:
«Еще о нас есть слово:
“Не сеют и не жнут!”».
Пролаял пес: «Не глуп я.
Напомню те часы,
Как Лазаревы струпья
Лизать бежали псы!».
Но, не вступая в споры,
Лиса, без дальних слов:
«“Имеют лисы норы”, —
О нас был глас Христов!».
Шакалы и гиены
Кричали что есть сил:
«Мы те лизали стены,
Где бесноватый жил!».
А свиньи возопили:
«К нам обращался Он!
Не мы ли потопили
Бесовский легион?».
Все гады (им не стыдно)
Твердили грозный глас:
«“Вы — змеи, вы — ехидны!” , —
Шипя, — Он назвал нас».
А скорпион, что носит
Свой яд в хвосте, зубаст,
Сказал: «Яйцо коль просят,
Кто скорпиона даст?».
«Вы нас не затирайте, —
Рой мошек пел, жужжа, —
Сказал Он: “Не собирайте
Богатств, где моль и ржа!”»
Звучало пчел гуденье:
«Мы званы в свой черед,
Ведь Он по Воскресеньи
Вкушал пчелиный мед!».
И козы: «Нам — дорогу!
Внимать был наш удел,
Как “Слава в вышних Богу”
Хор Ангелов воспел!»
И нагло крикнул петель[135]:
«Мне ль двери заперты’?
Не я ль, о Петр, отметил,
Как отрекался ты?».
Лишь агнец непорочный
Молчал, потупя взор...

Все созерцали прочный
От райских врат запер.
Но Петр, скользнувши взглядом
По странной полосе,
Где змий был с агнцем рядом,
Решил: «Входите все.
Вы все в земной юдоли —
Лишь символ благ и зол,
Но горе, кто по воле
Был змий иль злой орел!».

Неизвестного автора



«Начни с себя»[\[136\]](#)

«Начни с себя» — всего два слова.
Произношу я их любя.
В них — всякой мудрости основа,
В них суть любви — «Начни с себя».
Судить других легко и просто,
Но на себя всегда смотри,
С себя снимай свою коросту
И плесень, скрытую внутри!
Начни с себя — и не осудишь,
Суди себя — и не солжешь,
И станут проще, ближе люди,
И гордость всякую сожжешь.
Обидно, страшно, неприятно
Жить снова, совесть теребя,
Но легче станет, смоешь пятна,

Когда начнешь судить себя.
«Начни с себя» — твержу я снова.
«Начни», — советую, любя.
В том вечной мудрости основа,
В том суть любви. «Начни с себя!»

Схимонахиня Михаила

Инок

Дмитрий Благово

Духовная поэма в 4-х частях (с примечаниями)

Цензор:

протоиерей Иоанн Петропавловский

Москва

Июня 12-го дня 1903 г.



Часть первая

1

На берегу реки широкой,
В долине мирной между гор,
Как память древности глубокой,
Стоит обитель до сих пор.
Везде следы минувшей славы:

Ограда, башня и собор,
Церквей чешуйчатые главы,
Кресты с узорчатой резьбой.
Все в древнем мире сохранилось,
Все дышит древней простотой...

2

Но в той обители святой,
В стране безвестной и глухой,
Вдали от шумных поселений
Осталось все без изменений.
Там все велось по старине,
Там все простые старцы жили.
Они преданьем дорожили
И не стремились к новизне.
Обитель, славная когда-то,
Давно уж сделалась бедна,
И лепту каждую она
Должна была беречь, как золото...

3

Однажды позднею порой,
Во время осени сырой
У врат обители согбенный
Чернец[137], маститый и смиренный,
Сидел с поникшей головой.
Уже смеркалось; за деревней,
Напротив врат монастыря
Скрывался солнца луч последний
И меркла бледная заря.
Сосновый бор, что за рекою,
Село нагорное, овраг,
Поля туманной пеленою
Стал покрывать вечерний мрак.
Смолкали звуки, лай собак
Вдали все реже раздавался,
Покой повсюду водворялся,
И наступила тишина.
Одна река лишь все шумела,
Резвилась зыбкая волна,
Угомониться не хотела,
И жалась к берегу она,
И пеной белою кипела;
Да заунывный ветра вой
Свистел из башни угловой,
Дразнил волну и с нею спорил,
То заглушал, то ей он вторил,
То будто в башне хохотал,
То, притаившись, умолкал...

Старик сидел, внимая шуму,
И по земле клюкой стучал,
То, погруженный снова в думу,
Главою медленно качал...

4

Но и совсем стемнело вскоре,
Природа в сумрак облеклась.
Вечёрня[138] кончилась в соборе,
К трапёзе братья собралась.
Ясак[139] призывный раздавался,
И вратарь[140], встав, уже собрался
Врата святые заключить,
Отнёсть ключи и сном почить.
Вдруг слышит шорох за спиною,
И, оглянувшись, увидал
Он незнакомца пред собою;
Тот шапку набожно снимал
И пред иконою святою,
Крестясь, поклоны в землю клал.

5

«Откуда ты, пришлец, раб Божий?» —
Спросил приветливо чернец.
«Из дальних стран, святой отец, —
Ответил тот. — Я здесь прохожий». —
«И все же, случай аль недуг
Тебя завел сюда, мой друг?
Обитель наша ведь убога,
Вдали проезжая дорога,
И редко-редкой кой-когда
Кто невзначай зайдет сюда». —
«Не случай, отче, но печали
Дорогу мне к вам указали, —
Сказал, вздохнувши, мирянин. —
Утраты, скорбь, души тревога...
Да мало ль, сколько есть причин,
Чтоб мир оставить? Много, много...» —
«Печаль возверзи[141] ты на Бога.
Тот свыше помощь ниспошлет,
Слезу с очей твоих утрет.
Премудр Господь. Бог испытует
Сынов возлюбленных Своих.
"Его же любит, наказует"[142], —
Гласит Писание святых.
Не бойся горя. Но роптанье,
Оно сугубит[143] гнев скорбей». —
«Ты, знать, читал в душе моей.
Сюда я шел для врачеванья,

И, видит Бог, я не ропщу,
Когда Он скорбь мне посылает;
Я облегчения ищу,

Когда душа изнемогает».

6

«Кто ж без печалей пребывает?
Цари? Вельможи? Ведь не ты?
И там есть труд и тяготы´.
Ах, всех, друг мой, Господь равняет.
И верь ты мне: всем есть венцы[144],
И всем кресты[145] Бог посылает.
Но и кого ж Он забывает?
Что значат врановы[146] птенцы?
И тех Господь не оставляет,
И тех премудро Он питает!
Эх, что тужить! Приют здесь есть.
Смотри-ка, вон моя сторожка,
Там отдохни, приляжь немножко,
А мне пора ключи отнёсть
От входных врат. Уж, чай, заждался
Отец-игумен[147] и не раз,
Про них, чай, спрашивал». Остался
Пришлец один. Дверь заперлась...

7

Задумчив, грустен, тих и ясен
Был взор усталый пришлеца,
И привлекательно прекрасен
Вид исхудалого лица.
Он был не стар, но серебрились
Местами волны бороды,
И по челу[148] уже струились
Морщин заметные следы.
Но ясно было: начертали
Их преждевременно печали.
Не такова страстей печать,
Страстей греховных и могучих,
Всегда столь губельных и жгучих.
Блажен, кто мог их избежать,
Себя умея побеждать.

8

Один оставшись, он глазами
Обводит келию[149] кругом:
Лампады свет пред образами,
Чуть отражаемый стеклом

Простой, некрашеной божницы[150],
Приют убогий озарял.
В углу три сплóченных тесницы[151]
(Их старец ложем называл);
В другом углу налóй[152] стоял;
Псалтирь[153] старинная раскрыта
На нем покоилась одна.
Скамья и столик у окна,
Да по стенáм кой-где, прибито,
Висело несколько картин.
Одна из них — изображение,
Как умирал христианин;
Другая — грешника мученье;
Саул[154] с Давидом[155], Соломон[156],
Со львом борю́щийся Самсон[157]
И Бородинское сраженье[158]...
Висели мантия[159], клобúк[160],
Часы с распúсанной доскою,
Под ними лейка, и сундук,
И лом с широкою пилою,
Да старый зástуп с топором —
Вот все, что келью наполняло,
Что старику принадлежало
И что в убожестве своем
Он мог назвать своим добром.



9

И мысли новые рождались
Теперь в уме у пришлеца́
И, как волна волной, сменялись
При виде кельи чернеца.
Ему дни прошлые предстали:
Часы отрад, года печали.
И понял он всю пустоту,

Весь ложный блеск и суету
Мирских ничтожных наслаждений,
Едва достойных сожалений,
Узревши кельи простоту.
Как пред слепцом,
Теперь прозревшим,
Дотоль в неведеньи косневшим[161],
Пред ним раскрылся мир иной
Со всей своею глубиной.
Мир непонятный, недоступный
И чуждый мудрости земной.
И жалки, мелочны, преступны
Ему казались те дела,
В которых он, не видя зла,
Жизнь иждивал[162] без наслажденья,
И, не сочувствуя им сам,
Лишь из мирского угожденья
Шел по избитым колея́м.
Все то, что душу волновало,
Что занимало праздный ум,
Что сердце тешило, смущало,
Предмет надежд, забот и дум —
Теперь пред ним разоблачалось
Каким-то призраком иль сном,
Блестящим мыльным пузырем
Издавека ему казалось.
И он вздохнул и пожалел,
Что слишком поздно он прозрел,
Что так напрасно и бесплодно
Он столько свежих, юных сил
Так бессознательно, свободно,
Так беспощадно расточил...
И он невольно прослезился
И горько-горько пожалел,
Что лишь тогда он умудрился,
Когда от опыта созрел.
И вот он шел теперь в обитель
К смиренным, бедным чернецам;
Земной премудрости ревнитель
Шел поучаться к простецам.
Сыны разумные природы,
Не исказивши жизнь свою,
Не расточив своей свободы
И сохранивши силу всю,
Премудрых мира предварили
И, миновав окольный путь,
К той прямо пристани приплыли,
Где сердце может отдохнуть,
Где все житейские волненья
Их не должны уже смущать
И в тишине уединенья

Их ни тревожить, ни прельщать.

10

И он исполнился веселья.
Отрады луч в душе блеснул,
Черто́гом[163] стала старца келья,
И он всей грудью вздохнул.
Вздохнул он так, как не вздыхалось
Ему уж много-много лет,
Когда от скорби грудь стеснялась
И мерк во взоре Божий свет.
И ощутил он обновленье
В груди измученной своей,
И благодатное забвенье
Всех безотрадных прошлых дней
Теперь впервые опускало
На все бывшее покрывало.
Кто не испытывал скорбей,
Тот не постигнет наслажденья,
Блаженства полного забвенья.
Но он? Он это ощутил
И в изумленьи говорил:

11

«Блаженны вы, отцы святые,
Живые мира мертвецы,
Небес глашатаи земные,
Добропобедные борцы!
Блаженны вы, как Божьи чада,
Он вас от века предызбрал,
И, овцам избранного стада,
Он па́жить[164] лучшую вам дал.
Блажен стократ, кто не прельщался
Корыстью, гибнущей, как прах,
И кто, как вы, обогащался
Стяжаньем[165] верным вечных благ.
Именье ваше не истлеет,
Наследье ваше — без конца,
Оно вовек не оскудеет,
Как достояние Творца.



Подобно радостной Марии[166],
Благую часть избрали вы,
Отринув помыслы земные,
Склонив во прах свои главы.
К стопам Божественным Христовым
И вы с любовью притекли,
Вы усладились Божьим светом
И в пристань мирную вошли!
Мой жребий брошен, и отныне
Всему житейскому конец,
И я для мира стал мертвец.
И непреступною твердыней
Между бывшим моим и мной —
Порог обители святой.
Отныне чуждый для вселенной,
К Твоим, о Господи, стопам
И я с душою оструплённой[167]
Несу мой грешный фимиам[168].
Но в Твой чертог я, раб лукавый,
Как я дерзну, Владыко мой,
Предстать Царю и Богу Славы,
Одетый ризою[169] худой?
Я не стяжал еще златницы[170],
Я в бедных рубах[171], видишь Ты;
Но Ты, принявший дар вдовицы,
Все достоянье нищеты,
И от меня в благоволенье
Прими все то, что я принес:
Души убогой сокрушенье
И миро[172] чистых скорби слез.
Вдохни в меня любовь живую,
Твою дай волю мне познать,
Дабы́, презрев тщету земную,
Умел я страсти побеждать;
Греховной плоти дай совлечься,
Слезами прошлое омыть,
От самого себя отречься

И, возродившись, духом жить.
Дай мне мой крест — залог спасенья —
На рамена[173] с отрадой взять
И в нем найти и язв целенье,
И Вышней силы благодать!
Вдали от всех, в тиши пустыни,
Стряхнув с себя ярем[174] мирской,
Дай подвизаться[175] мне отныне
И предвкушать Небес покой;
Дай мне, принесши покаянье,
Свершить мой страннический путь
И с чувством сладким упованья
Без страха в смерти час заснуть!
Дай мне хранить елей[176] священный,
Елей любви и чистых дел,
Чтоб в Твой приход, в час сокровенный,
Светильник мой не помраченный,
Как веры пламенник[177], горел;
Чтоб в Твой чертог и я, убогий,
Средь мудрых дев[178] тогда вошел
И не на суд предстал бы строгий,
Но в жизнь от смерти перешел».
Он говорил... В сенях раздался
Стук приближавшихся шагов:
Привратник-старец возвращался.
И с хриплым треском семь часов
Часы пронзительно пробили.
«Ну, уж погодка! Дождь и снег...
Знать, бурю ветры разбудили.
Добро, пришел ты на ночлег,
А будь ты в поле?.. Уж стемнело,
Мокро и холодно теперь.
Вишь, буря как рассвирепела!
Страна лесная, бродит зверь...
Да что ж я это разболтался?
А что вот нужно, не скажу.
Я только в дверь, это, вхожу,
А он мне тут как и попался,
Ходил смотреть, который час,
Отец игумен. Я про вас
Ему и сделал донесенье,
Что так и так, мол. Все сказал.
“Ну, — говорит, — благословенье!
Пушай придет, коль не устал.
Не то утра, пожалуй, ждите”.
Да нет уж, что теперь, идите,
Коль сам он вам благословил, —
Евлогий-вратарь заключил. —
Да вот ведь что: и не найдешь ты,
Коль я тебя не провожу.

Уж так и быть, опять схожу,
А то, пожалуй, забредешь ты
Бог весть куда, да не к нему.
Постой, фонарик я возьму».

12

Они пошли. И дождь, и стужа,
И ветер выл, и темнота...
«Куда идешь? Там, видишь, лужа, —
Кричит старик. — Вот воротá.
Ступай за мной, ко мне поближе.
Куда ты? Слеп, что ль? Чуть не в пруд.
Да, слышишь, как тебя зовут?» —
«Васильем». — «Ладно. Ну иди же.
Ну, слава Богу, уж довел.
А то ведь ты бы не нашел.
Ну, а теперь наверх и вправо,
Там дверь. Конец и Богу слава!»
И старичок назад побрел.

13

Довольно низменны, со сводом
Постройки мудрой старины.
Между двух башенок над входом,
На монастырь обращены,
Игумена кельи выходили,
Другими окнами — на сад.
Они в связи с трапéзной были
Через дверь от ризничных палат[179].
Взошел по лестнице широкой,
Василий вправо дверь открыл.
Глядит — передняя. Высокий
Его послушник допросил:
Кто он такой, зачем, откуда?
И, вскользь сказавши: «Сядь покуда!» —
Пошел докладывать о нем.
Минут через пять его позвали;
Отец игумен был уж в зале,
И речь завел он с пришлеца́м.
Тот старцу в ноги поклонился
И, взор потепив, молча стал.
Игумен сел, облокотился
На стол рукою и сказал:
«Приемлет всех Христос-Спаситель:
“Ко мне грядущего, — Он рек, —
Не изжену Я”[180]. И обитель —
В нее же ты, друг мой, прите́к —
В Его чертог. Тот, кто желает
В Христово воинство вступить,

Ему как следует служить,
Тот прежде дух свой да смиряет:
“Аз сердцем кроток и смирен,
И от Мене вы научитесь,
Подобно Мне, и вы смиритесь,
И кротки будьте вы...”[181]. Блажен,
Кто сердцем кроток! Обещает
Господь тому наследье дать.
Итак, о чадо, кто желает
Снискать от Бога благодать,
Тот должен Богу угождать:
Быть сердцем кротким и смиренным,
И меньше самых меньших быть,
И всем и каждому служить,
Худым считать себя, презренным,
Достойным всяческой хулы,
Ничем, ни в чем не возноситься,
И не бесчестья, а хвалы,
Как сети вражией, страшиться.
Святой Макарий[182] говорил:
“Кто совершенным быть желает,
Тот никого не порицает,
И кто бы в чем ни согрешил,
Велики ль, малы ль согрешенья, —
Не наше дело осуждать,
Но нам терпеть все оскорбленья,
Терпеньем гнев свой побеждать”.
Он говорил ученикам:
“Подобны будьте мертвецам:
Коли вас чтут, не возноситесь;
Коли поносят, не сердитесь,
Зане[183], кто мертв, тот глух и нем”.
И вот еще что есть о нем
В его житьи (для нестяжанья —
Пример, достойный подражанья):
К себе однажды он пришел
И татя[184] в келии нашел.
И что ж он сделал? — Не смутился
И не сказал, кто он такой.
Он перед татем притворился,
Что будто сам он был чужой;
И помогал он выносить
И на осла все возложить.
И татя с миром проводил.
“Егда мы в мир сей приидо́хом, —
Блаженный старец говорил, —
С собой ничтоже мы внисо́хом.
Егда изыдем въяве есть,
Ничто не можем мы изнесть”.
Но кто исчúслит все примеры
Святых отцев? Кто исповесть[185]

Все их дела? Их твердость веры
Должны стараться мы стяжать
И их беззлобью подражать.
Но вот беда: мы забываем,
Зачем в обитель мы вступаем.
Идем мы Господу служить,
Хотим покаяться, спастись,
И плоть, и страсти умертвить,
Навек от воли отказаться
И мертвецами вживе быть:
Противен мир, тяжка свобода!
И что же выйдет наконец?
Прошли два, три, четыре года,
Тебя постригли, ты чернец...
Что ж, преуспел ты, умудрился?
Стал жизнью истинный монах?
Стал незлопамятен, смирился?
Ночь на молитве, день в трудах?..
Вот то-то горько и обидно,
Что часто с вида чернецы
Выходит, в сущности, — лжецы!
Мы лицемерствуем, нам стыдно
Перед людьми людьми же быть,
Нет, мы хотим святыми слыть!
Но пред Всевышним, пред собою
Что утаим, что можем скрыть?
И, с виду Ангелы, душою...
Я и не знаю, с кем сравнить.
Страшуся молвить! С сатанюю
Мы заодно, и с нами он;
Его мы волю исполняем
И небрежём[186] Творца закон;
В себе врагу мы угождаем,
А Бога только прогневаем;
И каждый день, и каждый час
Христа, распятого за нас,
Мы снова, снова распинаем.
Ужасный, горестный удел
Сулит нам мерзость наших дел!
И смеем мы еще гордиться,
Еще людьми себя считать?
Отрадней ввек бы не родиться,
Чем в вечности потом страдать!
Мы — лицемеры, фарисеи[187]...

14

Макарий, — вписано в Минее[188], —
Через пустыню как-то шел,
И древний лоб[189] он там нашел.
И он жезлом его коснулся.

Казалось, череп востепенулся,
Как будто голос испустил,



Когда Макарий спросил:
“Кто прежде был ты? Знать желаю!”. —
“Я был языческим жрецом.
Здесь жили мы, здесь был наш дом.
И я тебя, Макарий, знаю,
Тебя Дух Божий осенил.
Молись о нас. Твои моления
Дают нам в муках ослабление”. —
“И в чем ослаба?” — тот спросил.
И череп жалобно вопил:
“Мы все в огне: огонь над нами,
Огонь под нашими ногами,
И в том огне мы все стоим,
Один невидимый другим.
Когда же ты свои моления
Об испытующих мученья
Порой возносишь пред Творцом,
Тогда и мы к лицу лицом
Друг друга частью различаем,
И то отрадою считаем”.
И старец слезы проливал
И снова с грустью вопрошал:
“Ужели мука есть сильнее,
Еще ужаснее, страшнее?”.
И череп старцу отвечал:
“Да, ниже нас: там ад мрачнее.
Мы, не познавшие Творца,
Хотя и страждем, но в сравнении
Для нас есть в муках облегчение.
Но там! Там мукам нет конца”. —
“А кто ж в тех муках пребывает?” —
Макарий с ужасом спросил.
“Там тот, кто Бога отвергает,
Или от Бога отступил,
Или Закон не соблюдает.
Исчислить мук их нет и сил”.

Я трепещу, когда читаю
Житья святых, и помышляю,
Какой ответ должны мы дать —
Что все обеты нарушали,
Спасаться шли, но согрешали...
Как в день Суда Творцу предстать?
Чем нашу жизнь нам оправдать?
О! Помни, чадо, день вступленья
И день пришествия сюда.
Своей души произволенье
Храни и памятуй всегда.
Ты, друже, знаешь: кто в обитель
Вступает с тем, чтобы здесь жить,
Со страхом Господу служить,
Тот сам себя обещаёт[190],
Как жертву, Богу обрекает
И вписан в воинство Творца.
Не говори: нет постриженья[191]
Иль: где ж обеты чернеца?
Господь, вся ведый помышленья,
Един создавый вся сердца,
Каков бы ни был дар, приемлет,
Коль он с усердьем принесен.
Но с кем же должен быть сравнен
Тот, кто свой дар опять отъемлет?
Как святотáтец[192], грешен он.
Он навсегда исшел из мира,
Себя сам Богу посвятил,
А к миру сердце обратил;
Он, как Ананья и Сапфира[193],
И обещал — и утаил!
Господь наш Бог не зрит на лица,
И не дарóв — любви Он ждет;
Будь ты как сирая вдовица:
Все, что имеет, отдает.
Кто б ни был ты: богат и знатен
Или убогий и простец —
Ты можешь быть Творцу приятен,
Коли, как истинный чернец,
Сюда вступивши, всей душою
Возлюбишь Бога своего
И, уподобив мир весь гною,
Пребудешь мертвым для него».

15

Умолк игумен. Стар годами,
Он бодр и крепок с виду был;
Казалось, долгими трудами
Себя он в жизни закалил.
Он был украшен седи́нами,

Но свежесть, молодость лица
И худощавость чернеца
Жизнь в воздержаньи обличали;
Он скорби знал, и пыл страстей
Он превозмог в душе своей;
Но сердца муки и печали
Его судьбы не помрачали,
И чувства суетной любви,
Со всем их роем наслаждений
И с адом пламенных мучений,
Он не испытывал в крови.
Он много видел, думал много
И много в книгах прочитал,
Но сам он мало испытал;
И шум мирской, его тревога
Словами были для него,
А что они обозначали,
Какую тайну заключали —
Он не испытывал того.
Он с миром юношей расстался,
Он рос, и зрел, и старцем стал,
И тем же юношей остался,
Но мудрым опытом блистал.
Он избегал тех заблуждений,
Которым мир воздвигнул храм,
Открытый всем для всесожжений[194]
И где лишь смрад — не фимиам[195].
Душой дитя, умом мыслитель,
По жизни истинный чернец,
Он был при жизни небожитель,
В делах обители — мудрец.
Безродным юношей в обитель
Он двадцати двух лет вступил,
И был он истинный ревнитель,
Творцу и ближнему служил.
Он перешел все послушанья,
Везде был дельный человек
И, чуждый зла любостяжанья[196],
Так прожил целый полувек.
Вполне собою обладая,
Смущаем не был он ничем,
И всем и все всегда прощая,
Он был в обидах глух и нем.
Келейник прежнего игúмна
(Когда он юношею был),
Он все терпел благоразумно
И старца искренно любил.
Хоть тот и крут был в обхожденьи,
И часто бранивал его,
Он в полном жил повиновеньи
И черпал мудрость у него.

Искусный, опытный в правленьи,
Когда игуменом стал он,
Он был хозяином во всем,
И, как монах в уединеньи,
Не помышлял он о земном.
Его беседа назидала,
И, с кем бы он ни говорил:
Мирской ли то, иль инок был —
Она всем пользу доставляла,
С отрадой каждый ей внимал.
Обогащен умом природным,
Он сам себя образовал,
Он ясным словом и свободным
Живую мысль передавал.
Его боялись и любили,
Он был и строг, и справедлив,
По Бозе ревностью строптив.
К нему нередко приходили,
Порой весьма издалека,
Чтоб только видеть старика,
Его беседой насладиться,
Благословение принять
И непритворно подивиться
Его уменью управлять...



16

Когда, окончив наставленья,
Он взор к пришельцу обратил,
Тот с чувством полного смиренья
Ему тогда свой вид[197] вручил
И что-то тихо говорил.
Бумагу взявши, пред свечою

Игумен медленно читал
И, покачавши головою,
Очки серебряные снял.
И, помолчавши, за собою
Идти пришельцу приказал.
И долго-долго продолжался
Там разговор у них вдвоем,
Но тайной он для всех остался.
Когда игумен с пришельцѡм
В дверях из залы целовался,
Келейник сказывал потом,
Ему в то время показалось,
Что у игумена глаза
Опухши были, что слеза
По бороде седой спускалась
И голос несколько дрожал,
Как он келейнику сказал:
«Его вот к схимнику[198] сведи ты.
Что я прислал, так и скажи ты.
И келью дать... Ну, все равно,
Хоть ту, где на́ реку окно».

17

В тот вечер позднею порою
(Девятый час в исходе был),
Молитвы кончив, пеленою
Минею бережно прикрыл
Маститый старец Гавриил,
И, сев на лавку в утомленьи,
Перебирать он четки стал
И с сердцем, полным умиленья,
Свои обычные моленья
Чуть слышно медленно шептал:
«Прими, Царю, благодаренье
За день сей, мною прожитѡй,
И отпусти ми согрешенья,
В сей день содеянные мной.
И сердцем, чистым и смиренным,
И сокрушенною душой,
Моим язы́ком дерзновенным
Тебя сподоби восхвалить,
И даруй ми по благодати
Отднёсь[199] начало положить,
Стезю правою ступёти,
Тебе неленостно служить.
От дел моих мне нет спасенья,
Я связан множеством грехов,
Но Ты — всех Жизнь и Воскресенье,
Покой преставльшихся рабов.
Нас воскреси Ты и восстави

И от сетей греха избави,
И от злокозненных врагов.
И пусть душа моя довлеет[200]
И оправдѣт мя пред Тобой.
Дел добрых раб Твой не имеет,
Он нищ делами, наг душой.
И даждь нам сон упокоенья
И брэнной[201] плоти, и души,
И укроти страстей стремленье,
И чувств волненья утиши.
Успѣ[202] все наши мудрованья,
И ум наш бодрый соблюди,
И отжени[203] от нас мечтанья,
От вражьих стрел нас огради.
По сне ночью же день нам новый
И день безгрешен воссияй,
Да мы обрящемся готовы[204]
Узрѣть Божественный Твой Рай!

18

Нас ненавидящих, Владыко,
И нас обидящих прости
И щедрой милостью великой
Вся их грехи им отпусти.
И всем-всем, нам благотворящим,
Ты также благо сотвори;
Недужным, немощным, болящим
Ты исцеленье ниспошли.
Всех, иже[205] в море, Ты управи,
Всех, в путь грядущих, сохрани,
Стезю правую направи
И спутешествуй с ними Сам.
И сослужащих нам собратий,
И милость делающим нам
Помилуй Ты по благодати.
Ты их грехов не помяни,
В селенья праведных вчини[206]
Всех, кто в надежде Воскресенья
От мира в вечность отошел.
Всех братьий страждущих, плененных
От обстояния и зол
Избави Ты; плодоносящих
И благодеющих в церквах,
Велицей милости просящих
Ты не лиши небесных благ.
И нас, и грешных, и смиренных,
И недостойных раб Своих,
Сподоби, сердцем просвященных,
Идти вослед путей Твоих.
И за молитвы преблагие

Пренепорочной, Всесвятой
И Богоматери Марии
Нам даруй в вечности покой».

19

Так дряхлый старец со слезами,
От всей сердечной глубины
Почти невнятными словами
Среди безмолвной тишины
Душою к Богу возносился.
О мире мира он молился
И помощь Божью призывал.
И старца взор был так бесстрастен,
Так безмятежен, чист и ясен
И столько мира он вмещал,
Что в нем, как в зеркале, казалось,
Все благо мира отражалось!
Вид старца весь, его чело —
Все миром, кротостью сияло,
Все благодушием дышало,
И силы горней[207] благодать
На нем оставила печать
И, как святое покрывало,
Сияньем света осеняла
Сего простого чернеца,
Смирennemудрого борца.
И был он инок не названьем,
Не по одежде схимонах,
Но чистотой и воздержаньем
И в помышленьях, и в делах;
Он был безмолвен в самом деле
И небожитель в брэнном теле.
И, как то Лествичник сказал,
«Он тело в келье заключал»[208].
Уста его сомкнуты были
И о мирском не говорили.
И чрез порог души своей,
Давно от мира отрешенный,
Любовью горней окрыленный,
Он путь пресек для злых змей —
Нас уязвляющих страстей.



20

Он рано с миром разлучился,
И ровно восемьдесят лет
Прошло с тех пор, как он решился
Вступить сюда, оставив свет.
И с той поры еще ни разу
Он не помыслил никогда
За воротá сходить куда...
Чрез что избег сует заразу.
И непонятна, и чужда
Была его душе вражда.
Смиренный, кроткий, благодушный,
И всем и каждому послушный,
Он скорби тем не миновал
И от завистников страдал;
Но этим он не возмущался
И, духом мирный, мирен был
И с тем, кто мира отвращался,
Так Псалмопевец научил.

21

И в телесú — как бестелесный,
Как житель горний без страстей,
Как некий инок древних дней,
И путь себе избрал он тесный,
И постепенно восходил
Он тою лестницею райской,
Путь по которой нам открыл
Святой чернец горы Синайской[209].
Читать он знал, писать он мог,
И только в том и заключался
Его познаний весь итог.
Но день и ночь он поучался
В законе Божиим с тех пор,
Как с миром он навек расстался
И устремил горé свой взор.
Он много лет был не пострижен,

И хоть монашества желал,
Но не считал, что он обижен,
И воли Божьей ожидал.
Когда ж он принял пострижение,
Его желаний всех предел,
Идти он дальше не хотел:
Его страшило повышенье,
Священства он не принимал,
И, лишь маститый, престарелый,
Склонившись долу[210], колос зрелый,
Он только схиму воспринял.

22

«Помилуй, Боже, тех, кто в поле,
Из братий наших аль чужой,
Кто по нужде и поневоле
Застигнут бурей в час ночной.
И многомилостив им буди,
От них все беды отжени,
Мы все Твои, и все мы люди,
Помилуй всех и сохрани», —
И, взяв свечу, он собирался
Идти почить до утра сном,
Вдруг слышит — стук в дверях раздался
И чей-то голос под окном.
Прислушался: «Благословите?» —
Тот голос снова вопрошал.
«Во славу Божию, войдите,
Кто б ни был там», — он отвечал.
И он подумал: «Стало б, нужно,
Коли так поздно, а идут...
В смущеньи, брат, душа недужна,
Во имя Божье да грядут».
И, несмотря на утомленье
(Должно быть, час десятый был),
Ни тени даже нетерпенья
Спокойный вид не изъявил.
Свое исполнив порученье,
Ушел келейник, и вдвоем
Остался схимник с пришлецом.
Смиранный вид, следы печали,
Благообразие лица
Невольно в старце привлекали,
А может быть, и проникали
И в ум, и в сердце пришлеца
Святые взоры. Ясно, кратко
Ему Василий рассказал,
Как скорбь его была ужасна,
Как он в миру изнемогал
И как бесплодно и напрасно

Он облегченья там искал
И, наконец, потом решился
Навек расстаться с суетой.
Старец: «Ты не роптал в скорбях, друг мой?
И воле Божьей покорился?».
Василий: «И сердцем всем, и всей душой
Я присно[211] Бога прославляю,
Что Он меня не позабыл,
Но благодатью посетил.
Я не ропщу, не унываю,
Ищу отрады в тишине...».
Старец: «"Кто жаждет, да грядет ко Мне
И да пиёт"[212], — сказал Спаситель.
Итак, гряди в Его обитель.
"Аз есмь свет миру, — рек Он нам.
Ходяй по Мне, во тьме не ходит"[213].
Внемли Божественным словам,
Тецы́ [214] к Нему. Он руководит
Того, кто верует в Него,
И чудный свыше свет нисходит
На слуг возлюбленных Его.
Итак, иди и поклоняйся
Ты в духе истины Ему,
Творцу и Богу твоему.
К Нему всем сердцем обращайся
И всею мыслью, всей душой.
Он — Путь, Он — Жизнь,
Он — Свет живой!
Благодари! С распутий мира
Он и тебя к Себе призвал
И к Царству радости и мира
Тебе путь скорбный указал.
Иди вперед, не унывая,
Творца за все благодари.
Скорб́и и плачь, но, уповая,
Веленья Отчии твори.
Неси свой крест. Всем верным слугам
Господь его, как знамя, дал
И после битвы по заслугам
Венцы нетленья обещал.
В борьбе с грехом не утомляйся,
Господь к Себе тебя зовет;
Молитвой чистой укрепляйся
И не страшись, идти вперед,
Занé премудрый Вождь ведет.
Господь прострет к тебе десницу[215],
Он просветит души темницу
И дивным светом озарит...
Но ты устал. Час поздний ночи!
Иди сном тихим опочить[216],

Пусть до утра смеж́атся очи,
А утром можешь приходить.
Тогда подробно мне расскажешь
Все, что таишь в душе своей,
Все раны сердца мне покажешь,
Господь-Помощник даст елей,
Лишь с верой ты его возлей.
Господь к Себе всех призывает,
Недужных телом и душой,
Он всем отраду обещает,
И исцеленье, и покой.
Но мы исполнены сомненья,
Мы не к Нему в скорбях идем,
У твари просим исцеленья,
А о Творце мы небрежём».



Часть вторая

1

Прошло семь лет, а брат Василий
Спокойно жил в монастыре,
Он привыкал и без усилий
Преуспевал и креп в борьбе.
Он понял ясно с дня вступленья,
Что для того, что б в мире жить,
Всего нужнее — дух смиренья,
Чтоб должно каждому служить,
Любовью братий дорожить
И должностей не добиваться,
Но и трудов не избегать,
Во всем на Бога полагаться,
Всего Себя Ему предать.
И был он кроток, благодушен,
Всегда спокоен, весел, тих,
Ко всем обидам равнодушен,
Как сын, игумену послушен,

Как брат, любезен для меньш́их.
Рожденный с любящей душою,
Он блага каждому желал,
Был счастлив радостью чужою,
Чужою скорбию страдал.
Он поучался, подражая,
И, как премудрая пчела,
Повсюду мед свой собирая,
Он извлекал добро из зла,
Других во зле не назирая[217].
И тем любовь он заслужил.
Он первым был на псалмопенье,
Во храм неленостно ходил
И мыслью, вдумчивой при чтеньи,
За словом Божиим следил.

2

Когда в часы отдохновенья, —
Во время ль дня, в тиши ль ночей, —
В убогой келии своей
Он заключался, и виденья
Минувшей жизни перед ним,
Как призрак некий, восставали
И снова дух в нем волновали,
Когда он скорбью был томим
И сердце снова, как бывало,
Тоски язвительное жало,
Предтечу тяжких долгих мук,
В себе внезапно ощущало, —
Он прибегал к святым отцам,
Он брал их мудрые писанья,
Дар их любви простым сердцам,
И добрых старцев назиданья
Он с наслаждением читал.
И, как кору, он слой за слоем
Печаль с души своей снимал,
И дух, палимый скорбным зноем,
Слезой отрадной прохлаждал...

3

Так дни текли, сменялись годы,
И после жизненной невзгоды
Все язвы страждущей души
Он исцелил. И там, в тиши,
Вдали от всех, пришлец убогий,
Весь мир сует давно забыв,
Все мысли к Богу устремив,
К себе внимательный и строгий,
Он стал спокоен и счастли́в...

О нем сперва потолковали,
Когда в обитель он пришел,
И то, и се предполагали,
И разнородный голос шел:
Одни бродягою считали,
Другие думали, что он
Был прислан к ним на покаянье,
Что он священства был лишен
За незаконное венчанье.
А по иным, он сослан был
За то, что недруга убил.
Но эти все предположенья,
Догадки, вымыслы, сужденья,
Как и везде, где тайна есть,
Едва ли можно перечесть.
Всю правду только трое знали:
Игумен, схимник, духовник.
Но те, все ведая, молчали.
А кроме них, в его тайник
Никто из братий не проник.



4

Игумен — старец прозорливый,
И добродушный, и простой,
И муж вельми[218] благочестивый,
Но непреклонный и крутой,
Коль беспорядки где он видел;
Тогда бывал он сам не свой.
Он равномерно ненавидел
И ложь, и лесть и их карал,
Где только их ни открывал.
Богатый опытом, он верно
Умел оценивать людей
И тех, кто в братстве жил примерно,
Считал за искренних друзей.
Василий с самого вступленья

Стяжал его расположение.
Игумен видел, кто он был,
Он знал его все побужденья,
Зачем в обитель он вступил,
И потому вполне ценил
Всю правоту души смиренной
И средь житейской суеты
На ложный путь не совращенной;
И не пропавшей чистоты...
И он Василия, как сына,
От всей души за то любил,
И, как отца (не властелина),
И тот игумна нежно чтит.
Союз их душ был обоюдный,
И разрешить довольно трудно,
Который был из них двоих
К другому больше расположен.
Один, как старец, осторожен
Был в изъявлении чувств своих,
И потому расположение
Всегда он тщательно скрывал.
А тот по чувству уваженья
Свободы слову не давал
И чувств своих не выражал.
Но достоверно оба знали,
Что друг у друга в сердце есть,
И объяснений избегали,
Чтоб не почлась любовь за лесть.
Там, где взаимно уваженье
И где доверие живет,
Всегда бесплодно уверенье —
Весть сердце сердцу подает.

5

Так дни и годы проходили:
Один уверен был в другом.
Они жизнь мирную делили
И помышляли лишь о том,
Чтоб им в борьбе усовершениться,
Чтоб древним старцам подражать,
Желанный мир в душе стяжать,
И в живем[219] мира отрешиться,
И Богу жизнью угождать.
Довольно часто, особенно
Коль было сыро и дождливо,
Василий с аввою[220] своим
В беседе время провождали,
А чаще чтением святым
И ум, и сердце услаждали.
Отец игумен с юных лет

Терпеть не мог пустых бесед
(Как он говáривал нередко),
А потому он не любил,
Кто о мирском что говорил.
Хотя и верно он, и метко
Сам о мирских делах судил,
Но сердце старца не лежало
Ко всем житейским пустякам:
«От них духовной пользы мало,
А вред великий языкам».
С чего бы речь ни начиналась,
Он все на старчество сведет.
Тогда беседа оживлялась,
И говорить не устает
Отец игумен...

6

Раз зимою
Перед Рождественским постом
Сидел Василий с ним вдвоем.
Вошел келейник: «Вот, с Кузьмою
Вам письма с почты привезли,
А казначей не возвращался,
До торго в городе остался.
Покупки в сени мы внесли.
Кадушек[221] нет, а чаш купили.
Благословите их отнесть?». —
«Ну да, неси... Все перебили,
Уж вовсе не в чем стало есть!
Да чтобы завтра ж обновили.
Ну, ладно. А! Письмо тут есть:
Тебе, Василий, посмотри-ка;
Да что-то больно уж велико,
Скажите, герб какой! Смотри,
Как ясно вышел из печати.
И вот мое... Бери уж, кстати,
С него конвертик ты сдери».

7

Василий взял... Рука дрожала,
Когда письмо вскрывать он стал.
Он почерк издали узнал,
Когда письмо еще лежало
Перед игумно. «Что с тобой?
Так побледнел ты, сам не свой? —
Спросил с участием игумен. —
Твои черты искажены.
Будь тверд, мой друг, благоразумен...
Что ж, от княгини?.. От жены?» —

Игумен вымолвил чуть внятно.
«Да, от княгини. Я узнал...» —
Василий еле прошептал.
«Ах, друг ты мой! Ну, да понятно!» —
Игумен с грустью восклицал
И, взяв письмо, так вслух читал:
«Что я пишу к вам, вы дивитесь,
Но, тяжело ль вам, князь, аль нет,
Мое письмо прочесть решитесь
И напишите мне ответ...
С чего начать, сама не знаю,
Хочу я многое сказать.
Но, лишь сажусь я вам писать,
Я столько-столько вспоминаю,
Что не могу двух слов связать!
Мы оба не молоды́ уж стали;
И ненавидеть, и любить
Мы одинаково устали...
А вы, князь, даже и забыть
Уже успели, может быть,
Все то, что сердце так любило:
Былую жизнь и все, что было...
Вам это можно! Но не мне.
Нет! Не преступнице-жене!
Я ничего не позабыла!
Я не могла... Я не должна
Забыть того, что я одна
Была виной всех злоключений,
Сердечных ваших всех мучений,
Своих бесчисленных скорбей
И безотрадных, горьких дней.
С тех пор, как вы и я расстались,
Двенадцать лет уже прошло,
И десять лет мы не видались.
Мне страшно, страшно тяжело!



Вы много, князь, перестрадали

С того несчастливого дня
Для нас двоих, когда меня
Вы в доме тетки увидали
И полюбили сироту.
Смотрели вы на красоту,
Но сердца вы не разгадали,
Душевной порчи не видали,
А полюбили, как мечту!
Женясь на мне, вы все мне дали,
Все, что лишь можно в жизни дать;
И точно, большего желать,
Как я теперь все вспоминаю,
Возможно ль было, я не знаю.
Но я могла с тех пор понять,
Что я для счастья все имела,
Но оценить судьбы своей
Я, к сожаленью, не умела,
Не испытав еще скорбей,
Не зная жизни и людей.
Меня неопытность сгубила,
И я, как глупое дитя,
Не понимая и шутя,
Сосуд прекраснейший разбила:
Я сердца в вас не оценила
И, по безумью своему,
Не знала всей цены ему,
Пока я после не сравнила
И вас, и прочих... Но к чему
Теперь послужит это знание
И слишком позднее сознанье
Моих ошибок, коль уж нет
Теперь возврата, коль не может
В скорбях помочь мне целый свет?!
Никто, никто мне не поможет!
Хотели б вы... Но вам едва ль
Уврачевать мою печаль!
Мои терзания ужасны,
Но бесполезны и напрасны...
О, Боже! Если б я могла
Прожить хоть год, как мы прожили,
Когда друг другом дорожили,
О, верьте, все бы отдала —
Все, сколько мне еще судьбою
Присуждено прожить одной,
Быть в тяготу себе самой
И враждовать всегда с собою...
Зачем? Зачем мне жизнь нужна?
Мне жизнь постыла и страшна.
Конечно, много вы страдали,
Но можете ль винить себя,
Что, слепо женщину любя,

Вы ей свободы много дали...
Виновны вы лишь только в том,
Что с вашим сердцем и умом
Могли так долго заблуждаться
И пред бездушным существом,
Пред куклой глупой преклоняться,
Как перед неким божеством.
Вот в чем виновны вы! Но я
Самой себя не пощадила
И, как шипящая змея,
Себя ужалив, умертвила...
И мне свобода — казнь моя!
Мне жизнь теперь не наслажденье,



А бесконечное мученье,
И, если б только я могла,
Сейчас в могилу бы легла!
Но я еще не заслужила,
Чтобы безмолвная могила
Мой труп смердящий приняла.
Любви от вас я ждать не смею,
Но не могу вас разлюбить;
Желала б вас я позабыть.
Перед собой теперь краснею,
Что малодушна так была,
Забуть старалась — не могла.
Я много-много согрешила,
Грешна пред Богом, пред собой,
И пред людьми, и пред тобой;
Людей позором соблазнила,
Себя навеки погубила...
Но верь ты мне, мой бывший друг,
Теперь — лишь брат, а не супруг,
Что тяжкий грех я искупаю
Мученьем, злейшим адских мук;
И тем, что в сердце ощущаю
И что безропотно терплю,

Надеюсь, грех свой искуплю...
Господь простит мне, уповаю,
За то, что я тебя люблю!
Должна сознать, что не любила
Так никого и никогда,
Как в те блаженные года,
Когда в тебе я мужа чтילה,
Когда была тебе верна...
С тех пор преступная жена!

...

Я утомилась. Я кончаю...
Вопрос последний: я не знаю,
Должна ли верить или нет,
Что будто ты оставил свет,
Вступил в какую-то обитель
Тому назад почти семь лет
И с той поры, пустынный житель,
Убогим иноком живешь?..
Поймешь ли ты? Да, ты поймешь,
Что я на сердце ощутила,
Когда весть эту получила.
Ты так любил, ты понимаешь,
Что неизвестность...
Поспеш! Ты сам страдал,
Ты помнишь, знаешь,
Что ожиданье для души!
О, друг мой, друг мой! Напиши...
И не томи меня напрасно —
Жить в неизвестности ужасно!
Мои сомненья разреши...
Прошу как друга и как брата,
Пиши, что хочешь, но ответь —
Теперь я все могу стерпеть!
Ужели точно нет возврата
И порвана меж нами связь?
А ты, богатый, знатный князь,
Который знатностью гордился
И блеск и пышность так любил,
Ужель совсем переродился
И так в себе все победил,
Что, став монахом, все забыл?..».



8

Василий вздрогнул, и при чтеньи
Он был сперва в недоуменьи,
Но скоро все совсем прошло
И прояснилось чело.
И все, что в сердце вдруг мелькнуло,
Как пена, брызнуло со дна,
Вновь приутихло и заснуло,
Исчезло быстро, как волна,
И длилось лишь одно мгновенье.
И вспомнил князь без сожаленья,
Без всякой злобы, без любви
Про все благие сновиденья,
И только легкое волненье
Он ощущал еще в крови...
Игумен кончил и ни слова,
Письмо отдавши, не сказал.
Василий взял его и снова
Сам про себя теперь читал.
Свой взор, исполнен состраданья,
К нему игумен обратил,
И сам с боязнью ожиданья
За ним внимательно следил.

9

Знакомый почерк, сердцу милый...
Чрез сколько лет его опять
Пришлось Василью увидеть!
Все тот же он, но прежней силы
Теперь уже он не имел.
Игумен пристально глядел,
Но ни малейшего смущенья
В Василье он не примечал.
Тот не спеша письмо читал,
Без всяких признаков волненья,
И, что он в сердце ощущал,

Что тайно в нем ни совершалось,
Глубокой тайною осталось.
Он не рассказывал того,
А на лице не выражалось,
Не отразилось ничего!

10

«Ну, что мне скажешь,
Сын мой милый? —
Игумен с робостью спросил. —
Ведь ты ей все в душе простил». —
«Простил ли, отче? Я забыл!» —
И он прибавил: «До могилы
Себя я Богу посвятил.
Сюда пришел я, здесь пребуду,
Желаю здесь всю жизнь провѣсть,
Тяжелый крест свой буду несть
И никогда не позабуду
Того, что я — слуга Творца,
И претерплю все до конца».



11

Лицо игумна прояснилось:
«Молю Творца, чтоб совершилось
Все по глаголу[222] твоему».
Но, помолчав, сказал ему:
«Я полагаю, не мешает
Тебе размыслить обо всем.
Да и Господь не запрещает
Нам попещись[223] и о земном,
Коль для души есть польза в том.
Он грешным всем спастись желает
И в разум истины прийти,
А потому и назначает
Он всем различные пути.
Премудрый бремени безмерно

На нас не станет возлагать.
Мы жить должны нелицемерно
И непритворно возмогать[224].
Блюдися[225] ты от искушенья
И да не внидеши[226] в напасть;
И отжени все сожаленья,
Дабы чрез них не впасть в напасть.
Иди к себе, молись усердно;
Как сын, исполненный любви,
Отца на помощь призови.
Близ есть Господь, и милосердно
Он внемлет искренним мольбам.
Он всех хранит, всех призывает,
Все неоскудно посылает
Своим возлюбленным сынам...
Но помни ты, что Он приемлет
Моления наши и нам внемлет,
Когда и мы, как хочет Он,
Блюдем святой Его Закон.
Когда Ему мы подражаем,
Как надлежит Его сынам,
Душой незлобивы бываем,
Все зло врагам своим прощаем,
Тогда Отец наш внемлет нам!».

12

Один, объятый тишиною,
В уютной келье заключен
Наедине с самим собою,
Глубоко в думу погружен
И с наклоненною главою,
Василий долго размышлял
И жизнь былую вспоминал.
И вдруг мечта в нем оживила
Все то, что столько, столько лет
Душа таинственно хранила,
О чем, казалось, сгинул след...
Все вдруг воскресло! Вновь явилось!
Опять теперь изобразилось,
Как будто в зеркале, пред ним.
Он все припомнил: детство, годы,
Когда он был судьбой храним
От всякой скорби и невзгоды.



Отцом и матерью любим,
Он расцветал, цветок прекрасный,
Любимец утренней росы,
И не предвидел в полдень ясный,
Что близко лезвие косы,
Которым все кругом подкосит
Судьбою присланный косец,
Так далеко его отбросит,
Положит счастью конец!
И снова книгу роковую
Он по листам перебирал:
На жизнь протекшую, былую
С отрадой, с грустью взирал.
Все, что любил он, то в могилах
Давным-давно он схоронил,
Но позабыть то был не в силах,
Да, коль и мог бы, не забыл...
И он по ним грустить любил!
Минувших дней воспоминанье,
Какое б ни было оно,
На скорбь и радость нам дано.
И призрак счастья и страданья —
Все, все в былом сохранено,
И сердцу дорого оно!

13

Но все утечи жизни праздной,
Ее блистающей тщеты [\[227\]](#),
И все житейские соблазны
Великосветской суеты
Ни на единое мгновенье
Не пробудили сожаленья
В душе бесстрастной и простой,
Давно отрекшейся от мира,
Искавшей в Боге свой покой
И отвратившейся кумира.
Княгини он не вспоминал,

И, сколько мог, он избегал
И самой мысли, слишком мрачной,
О всем, что было в жизни брачной;
Он все забыл... И вот опять
Как будто пена, все всплывало:
К нему жена его писала,
И приходилось отвечать.

14

Ничто так дух не возвышает,
Не подавляет в нас страстей
И наших чувств не отвращает
От всех житейских мелочей,
Как благодатная молитва,
Дар, высший всех земных даров.
И щит, и меч там, где есть битва
С толпой невидимых врагов.
Василий встал пред образами.
Душа была истомлена,
И помощь ей была нужна.
Одна молитва со слезами
Могла его недуг смягчить
И тягость сердца облегчить.
Он стал молиться, повторяя
Молитв заученных слова,
Но ум далеко был сперва,
Как будто челн в водах ныряя,
И бурный ветер его носил.
Ум был рассеян, и без сил,
Повсюду мыслями блуждая,
Молитвы он произносил.
Но тем, кто искренно желает
В общенье с Господом войти,
Господь и Сам уготовляет
К Себе восходы и пути.
Идеже[228] хочет, побеждает
Господь чин самый естества,
Пленный дух освобождает,
Решит все узы[229] вещества.

15

Молитва внешняя сначала
Василья мало облегчала.
Но он упорствовал в борьбе,
Он повторял слова святые,
И ощутил он вдруг в себе
Избыток сил: струи живые
Из глаз обильно полились.
Они лились, лились ручьями...

И мысли к Богу вознеслись,
И с благодатными слезами
В одно единое слились.
Но вот и слово онемело,
Уста сомкнулись и молчат,
Дух превозмог всю немощь тела,
И стал он пламенем объят.
Василий долго так молился,
Проникнут верою живой,
Он духом всем горé стремился,
Был в теле житель неземной.
Молитва духа бессловесна,
Ей соответствий в звуках нет,
И слово мертвенно и тесно,
Когда дух пламенем согрет.

16

Часы текли, летело время...
От мира мыслью отрешен
И сам в себя лишь погружен,
Василий чувствовал, что бремя
В душе накопленных скорбей,
Давивших тяжестью своей,
Как будто легче становилось,
Как будто что́ с души скатилось,
И ей давно знакомый гнет
Теснить ее перестает
И больше, больше убывает.
Так видим мы весною: лед,
Когда луч солнца пригревает, —
Сам по себе истае́вает,
Неуловимо для очей.
Сладка бессонница такая,
Отраден мрак таких ночей,
Когда, весь мир позабывая,
Душа блаженствует вполне
И предвкушает сладость рая
Не наяву и не во сне.

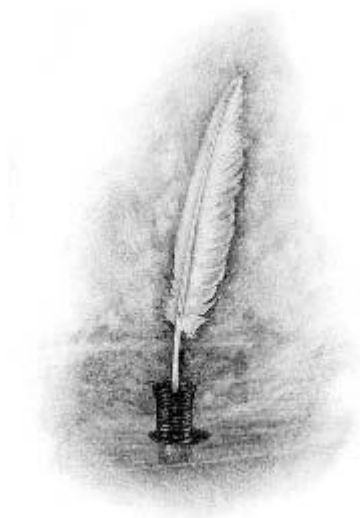


И с обновленную душою
Василий сел, и при огне,
Объят безмолвной тишиною,
Меж тем, как все везде, кругом
Теперь покоилося сном
И после бденья[230] отдыхало,
Он занялся своим письмом.
Роились мысли, побежало
Перо, покорное уму,
На труд, предложенный ему...
Каких событий и видений,
Надежд утраченных и снов,
Душевных бурь и огорчений
Василий в несколько часов
Ни воскресил, ни вспомнил снова,
Опять в душе ни ощутил,
Пером и мертвой буквой слова
В своем письме ни очертил?..
Вот третий лист. Письмо готово!
Пора печатать... Свет огня
Стал померкать от блеска дня.
Всего не скажешь... Время ставить
Число, и подпись, и печать
И поскорей письмо отправить,
Чтоб в город вовремя доставить
И с первой почтою послать.
Письмо Василий вновь читает
С пером в руке и поправляет...
Уж, как внимателен ни будь,
Всегда пропустишь что-нибудь!

18

«Желаю мира вам, княгиня!
Вот братский, искренний привет.
Да, я послушник. А пустыня,
Куда бежал я от сует,
Пребудет вечною стеною
Между моим былым и мною
Преградой твердой навсегда.
Расчеты кончены меж нами,
Я не вражду, мне чужда
И лести злоба, и вражда.
Не знаю, были ль мы врагами,
Но вряд ли быть нам вновь друзьями,
Мы не враги и не друзья.
Чего уж нет, вернуть нельзя!
Поверьте, милая княгиня,
Что совесть инока — святыня,
Ее не должно оскорблять.
Кто раз в обитель удалился,

Тот с Богом сердцем обручился,
И он не вправе отменять
Своих обетов: нет той силы,
Чтоб разрешить их; до могилы
Обеты должно сохранять!
Я вас ни в чем не обвиняю,
Судить не смею, Бог — Судья!
Ему весь суд предоставляю,
И да простит Он вам! А я
Все от души вполне прощаю...
Скажу вам больше: я забыл,
Что я поруган вами был,
И ныне вас благословляю!



А долго, долго я грустил,
Когда покинут вами был,
И, верьте, жгучими слезами
Два года плакал я по вас.
Вот вам из прошлого рассказ:
Когда я жил в селе Высоком
С покойной матерью моей,
В тоске, в отчаяньи глубоком
В саду бродил во тьме ночей
В надежде тайной, я не скрою,
Что возвратитесь вы ко мне.
Чрез сад от мельницы тропюю
Я к броду шел, что под горою,
И, обратясь к той стороне,
Где вы тогда с *ним* вместе жили,
Я каждый вечер вас все ждал
И часто, часто вспоминал
(И вы, быть может, не забыли?),
Как я туда вас провожал,
Когда невестою вы были...
Колес ли стук издали
Ко мне по ветру донесется

Иль полусонная река
Волною зыбкою коснется
Высоких стеблей тростника —
Во мне душа вся встрепенется
И сердце сильно вдруг забьется.
Я дух едва перевожу,
И жду я вас, а сам дрожу:
Что это вы, все мне сдается,
И ваше имя я твержу.
Напрасно, тщетно ожиданье:
Нет никого, кругом — молчанье.
Заря погасла, темнота
Пустою мглой все облекает,
Предметов глаз не различает,
Но своенравная мечта
И тьму ночную проникает,
И сердце призраком смущает,
И слух все звуки стережет...
И вот я слышу: за кустами
Как будто робкими шагами
Кто, пробираясь, идет;
Хрустит и хворост под ногами,
И точно ветви кто-то гнет.
Иду, бегу я торопливо...
Мне все так ясно, все так живо
Вдруг представляется... Увы!
То был лишь плеск волны игривой
Под наклоненной старой ивой
Иль шелест листьев из травы...
Но... все равно, какие звуки,
Откуда шум, коль то не вы!
Словам не выразить той муки
И всех надежд души больной,
Что перечувствованы мной!
Так каждый вечер я два лета
Бродил с заката до рассвета,
Когда лишь не было дождя,
Сидел в раздумье у ручья
С надеждой, с мукой ожиданья.
Я проклинал вас и любил,
Отраду в муках находил!



Вам, верно, памятно свиданье,
Когда детей я вам возил,
Когда малютки со слезами
На шею бросились к вам,
Спросили вас: “Ты с нами, мама,
Опять домой поедешь к нам?”.
Не удалась моя попытка,
И плач детей не тронул вас...
Тяжка была мне эта пытка,
Моя надежда не сбылась,
Вы возвратиться не решились.
Рыдали дети, плакал я...
Господь да будет вам судья!
Год не прошел — мы их лишились...
Мне в жизни нет теперь утрат:
Все отняла теперь могила!
Старушка-мать моя грустила,
Лишившись милых ей внучат,
И вскоре также опочила[231]...
И с ней я в землю положил
Все, чем я в мире дорожил.
Ее могила заключила...
Могил старинных — длинный ряд
В той усыпальнице с гербами,
Где под чугунными плитами
Мои прапраотцы лежат.
Желал и я лечь вместе с ними —
Не приняла меня земля.
И с той поры, между живыми
Живой мертвец, скитался я.
Томимый жизнью, я не жил:
Мне не с кем было жизнь делить,
Мне было некого любить.
И я голубил и лелеял
Воспоминанья о былом:
В них было все, чем сердце жило,
Чем утешалось, дорожило

И что судьба своим серпом
Одним размахом подкосила,
Былого, милого — могила...
Мне оставалась лишь мечта
О том, чего уже не стало,
Что преждевременно пропало;
Меня страшила пустота.
Мечта для сердца — не отрада,
Когда в нем скорбь и муки ада.
Ах, тяжек сердца гнет в груди,
Когда живешь без всякой цели,
Без ожиданий впереди!
Мне свет и люди надоели,
От них участия я не ждал:
Им нужен блеск и шум веселий,
А я томился и страдал!
Они глумились над страдальцем,
И я один в толпе блуждал
И меж друзьями был скитальцем.
К чему в миру мне было жить?
Чтобы посмешищем служить?
Томить себя, не наслаждаясь?
Одних страшить иль забавлять,
Другим — веселье отравлять?
Быть чуждым всем, всего чуждаясь?!
Я положил в уме своем
Совсем иным идти путем
И сердца скорбь, тоску и муку
Надежным средством врачевать.
Я стал именье раздавать:
Сестры моей меньшому внуку
(Я крестным был его отцом)
Я подарил село и дом
(Мы двести лет владели ими);
Деревни продал, разделил
Свои деньжонки меж родными;
Кой-что друзьям пораздарил,
Свободу дал всем бывшим слугам
И наградил их по заслугам;
Себе оставил так, пустяк:
На черный день, как говорится,
Полушка всякая сгодится.
И стал совсем, как есть, бедняк.
Я разорвал все с миром узы,
Попрал все светские обузы,
И сам в себе в толпе большой
Я стал спокойнее душой.
Я из столицы удалился
В одежде грубой и простой,
С одной котомкой да с клюкой,
Как странник, с миром распростился

И, сам забытый, все забыв,
Насколько можно, стал счастли́в!
О том, как вы доньше жили,
Вас не расспрашиваю я,
В том ваша совесть вам судья.
И что о будущем решили:
Хотите ль век свой доживать
В чаду с ватагой маскарадной
И бесполезно убивать
Остаток жизни безотрадной —
Зависит все вполне от вас.
Я в это дело не вступаюсь.
И, может быть, в последний раз
Сегодня с вами я прощаюсь.
Молю Творца, храни Он вас!
Он все премудро устроит,
Все подает на пользу нам,
За нас Один все прозирает[232],
К Себе всех грешных призывает,
Дает покой больным сердцам.
О, мир вам! Мир и здесь, и там!»



Часть третья

1

Княгиня, должно в том сознаться,
Была действительно умна,
Но, к сожаленью, заниматься
Умом не думала она.
Ей слишком рано овладели
Приманки суетных веселий;
Ее свет блеском обольстил,
И точно ум ее застыл,
И, как магнит, без упражненья

Был и обширен, но без сил.
Свет не имеет попеченья
О нашем сердце и уме,
Он губит их без сожаленья
И тлит[233] благия побужденья,
Коснея сам в греховной тьме.
Свет мнимый, свет лишь по названью,
На самом деле — тьма и мрак,
Бездарных пестун[234]; дарованью,
Уму и сердцу — бич и враг!
Княгиня жизнью наслаждалась
И, как беспечное дитя,
Жила легко, жила шутя,
В значенье жизни не вдавалась,
Всегда роскошно одевалась,
Рядила в тряпки красоту
И незаметно превращалась
В одну лишь внешность — пустоту!

2

Стройна, спокойна, горделива
Княгиня смолоду была,
И величава, и красива,
И привлекательно мила.
Все было мило в лике чудном:
Глаза с оттенком изумрудным,
Как моря темная волна,
Когда колышется она,
И взор: и кроткий, и глубокий,
Который то как бы ласкал,
То вдруг, холодный и жестокий,
Враждой и местию сверкал,
Как взор встревоженной орлицы.
И длинные, как шелк, ресницы,
И легко-смуглый кожи цвет,
Румянец пламенной денницы[235] —
Все было вместе: тень и свет,
И ночи мрак, и дня сиянье...
Боролись в страшном сочетаньи
И девы мудрой чистота,
И страсть языческой царицы,
И простота отроковицы,
И лжи лукавые уста,
Струи воды и твердый камень,
И глыбы льда, и лавы пламень —
В княгине были, словом, два
Непостижимых существа!

3

Настало время искушенья.
Не приготовлена к борьбе,
Без сил и твердости в себе,
Она без страсти, без влеченья,
Сама не зная почему,
Всецело поддалась ему.
Ничтожный, жалкий обольститель,
С душою низкой человек,
Чужих корыстей расточитель
Сгубил несчастную навек!
Позора свет не извиняет,
Он на приличья очень строг,
И, кто приличья оскорбляет,
Он тех опять через порог
В свой круг волшебный не впускает;
Он к оправданьям глух и нем —
Возврата нет в его эдем[236].

4

Когда княгиня отрезвилась
И наконец с ея очей
Повязка грубая свалилась,
Тогда понятно стало ей,
Чего навек она лишилась.
Она осталась без друзей
И слишком поздно увидала,
Куда низринулась она.
Краса меж тем уж увядала,
А жизнь могла быть так длинна.
Тогда ей вспомнилось былое:
Забытый князь и пышный дом...
Но как мириться?! Чувство злое,
Ей гордость помешала в том.
Княгиня мучилась, страдала,
А гордость ей не позволяла
Себя пред мужем унижать,
С ним примирения искать.
Нужда, однако ж, победила
И выю[237] гордую сломила:
Княгиня с духом собралась,
О муже справкой занялась.
И что тогда ей вдруг открылось?
Что протекло уже семь лет
С тех пор, как князь оставил свет!
Княгине этого не снилось
И не мечталось никогда;
В ее душе все пробудилось:
Любовь, и ревность, и вражда,
И мысль надменная родилась:
Во что б ни стало победить

И с князем снова вместе жить.



5

Письмо написано с искусством,
С глубокой скорбью и чувством.
Все выраженья, все слова,
Казалось, вылились случайно.
Невольно высказалась тайна...
Трудилась только голова,
Но сердце гордое нимало
Участья в том не принимало.
Письмо пошло. Какой ответ
Напишет князь ей: да иль нет?
Письмо княгиня поджидала
Довольно долго. Вот пришло.
Но ей оно не принесло,
Чего в душе она желала.
Оскорблена, раздражена...
И, как княгиня, как жена,
Она немедленно решила
Еще раз счастья искутить:
Узнать, всего ль она лишилась,
И коль нельзя уж возвратить
Того, что было, так отмстítь
И сердце князя возмутить.

6

С такими мыслями княгиня
Не в шутку стала помышлять
Велеть кибиточку[238] нанять.
Пошли раздоры... Та пустыня,
Где князь Василий пребывал,
Как оказалось по справкам, —
За триста верст[239], еще с прибавком.
Ямщик[240] дворецкому[241] сказал:

«Я сам два раза там бывал.
Раз как-то ездил, из Тамбова,
Купца, мне кажется, возил.
А то с монахом из Сарова...
Туда, знать, после он вступил».
Княгиня бедная сначала,
Узнавши, сколько ехать ей,
Весьма разгневалась, ворчала
И на дворецкого кричала,
Зачем он нанял лошадей:
«Прошу покорно, даль какая!
Жить Бог весть где — среди зверей,
В глуши, в лесах, где нет людей!
Что за фантазия пустая!
Здесь разве нет монастырей?».
Но как княгиня ни сердилась,
А ехать все-таки решилась,
Чтоб возвратиться как-нибудь,
Пока не сходит зимний путь.
Княгиня тотчас уложилась,
Взяла Анисью да Петра
И в путь отправилась с утра.

7

В простой, рогожинной[242] кибитке,
Что ей казалось вроде пытки,
Пять суток ехала она
Лесами, степью, по оврагам,
Через озера тихим шагом
И, чуть жива, утомлена,
Кой-как до места назначенья
В шестые сутки доползла.
Там, в тишине уединенья,
В защите гор, вблизи селенья,
Вдали от суетного зла
Не век один уже цвела
Святых подвижников обитель,
Где муж ее, Творца служитель,
Приют желаемый нашел
И после бурь покой обрел.



8

Княгиня очень утомилась,
А потому и умилилась,
Когда узрела наконец
Обитель, странствия конец.
Кибитка быстро подкатилась
К крыльцу гостиницы, а там
Гостинник встретил гостю сам.
Княгиня чаю попросила,
Монаха-старца пригласила,
С ним занялась: кое о чем
Про монастырь порасспросила,
И так устала... Прилегла
И до вечерни проспала.

9

Была совсем уж на исходе
Седмица[243] третья поста.
Шло повечерие[244]... Пуста,
Казалось, церковь. Но при входе
Стояло несколько крестьян,
Деревни ближней поселян,
Приезжий лавочник с женою,
Дьячок из ближнего села,
Старушка-нищенка с сумою;
И пред концом еще вошла
В тот день приехавшая дама,
Что всем диковинка была.
К свечному ящичку прошла,
Дала на свечи, да и прямо
Под аркой встала полевей,
Напротив северных дверей.

10

Игумен сам читал каноны[245]
И по уставу положенный
Акафист[246] Деве Пресвятой.

И старца голос был так внятн,
Так умирительно приятн;
С такою детской простотой
Читал игумен, что невольно
Тот голос в душу проникал,
И сердцем всем овладевал,
Что вместе сладостно и больно,
Отрадно, грустно и легко
Душе и сердцу становилось,
И все, что там на дне таилось
Неизъяснимо-глубоко,
При чтеньи старца начинало
Из бездны будто бы вставать,
От теплых слез оттаявать,
И грудь от гнева облегчало,
Давало ей простор дышать!
Такого чтения княгине
Не довелось еще поныне
Нигде слышать, и им она
Была вполне поражена!

11

Но что за странное смятенье
Родилось вдруг в душе ея:
То было ль сердца умиленье?
Тоски ль сокрытая змея?
Души ль дремавшей пробужденье
От утомительного сна?
Счастливый ль праздник возрожденья?
И ей казалось — грудь тесна
И совместить уже не может
Всего, что сердце ей так гложет,
Всего, что чувствует она!
Княгиня плакала, молилась
От всей сердечной глубины,
И вдруг вся жизнь
Пред ней открылась:
И все грехи, и все вины',
Какия жизнь ее пятнали.
Дела, неведомые ей,
В единый миг все ей предстали
Со всею гнустностью своей.
Теперь вдруг ей все ясно стало:
Как далеко она зашла
И как она ценила мало
Все, что ей жизнь в удел[247] дала,
Какие блага расточала...
Она, как враг, себя терзала
И незаметно погрязала
В пучине мерзости и зла!

12

«О Боже, Боже, дай мне силы! —
Молилась мысленно она. —
Я вся грехом закалена,
Как уголь, стала я черна!
А может быть, на край могилы
Уже ступила я ногой
И гроб отверст передо мной?
Я вижу, Боже, не готова
Я на судилище предстать
И не найду в устах ни слова,
Что в оправдание сказать!
Но Сам Ты, Бог мой и Спаситель,
Моим заступником пребудь!
Не как Судья, неправды мститель,
Но как Отец... Все позабуди!
Ты не отринул Хананею[248]:
Как дочь ее, да исцелею.
Душа беснуется во мне,
Прости Ты грешнице-жене!»
Княгиня плакала; ручьями
Струились слезы на щеках —
Все мысли стали в ней слезами,
Все сердце было на устах!



13

Игумен кончил, помолился
Перед иконой Пресвятой,
Всей братии тихо поклонился
И стал на место; становился
Меж тем к налою чтец иной...
И голос звучный вдруг раздался...
Его ль княгине не узнать?!
Он в самом сердце отозвался!
Она шептала: «Это он
Читает Ангелу канон!».

Тогда она к земле припала —
Стоять уж не было и сил:
Княгиню голос поразил;
И горько-горько зарыдала
Она, прильнув к земле челом,
И, как сожженная стыдом,
Она главы не поднимала,
Но все молилась и рыдала.
Молилась сердцем и умом,
И слов у ней не доставало...
«Я так грешна, так нечиста́,
Не для молитв мои уста!»

14

Когда окончилось чтение,
И чтец с налёбом отошел,
Как и везде, в обыкновенье,
И, осмотрев все, он пошел
С вощаной[249] кружкой, со щипцами
Везде по церкви обходить,
Сбирать огарки и гасить
Лампадок ряд пред образами...
И скоро весь старинный храм
Стал в полусумрак погружаться,
Еще обширнее казаться,
И представлялося очам,
Что постепенно с темнотою
Все расширяется, растёт,
Как будто мощною рукою
Вдруг кто приподнял храма свод
И раздвигает стены зданья,
Ему величье придает...
Но мрак густел, и очертанья,
Размер предметов, их цвета —
Все понемногу исчезало,
В тени от взора ускользало,
Все обнимала темнота.
И только кое-где мерцали
Свечей немногих огоньки
И в полумраке освещали
Резьб золоченых уголки,
В блестящих ризах отражались.
И пламень трепетных огней,
Венцов сиянье, блеск огней
Как искры в сумраке казались.
И, обошед весь храм кругом,
Василий медленно потом
(Он года два был свещникóм[250])
Шел аркой к ящику свечному
И так в себя был погружен,

Как будто чужд всему земному,
Что не заметил даже он,
Что дама там в углу стояла,
И трепетала, и дрожала...

15

Игумен двинулся. К нему
По чину братья подходила;
Василий подал трость ему,
И в это время поспешила
И дама к старцу подойти.
«Я здесь приезжая. Позвольте,
Отец игумен, к вам зайти» —
Она сказала. «Что ж, извольте,
Покорно просим... Буду рад», —
Он ей ответил, и назад
Слегка к Василью обратился
Игумена мимолетный взгляд.
Василий к стенке прислонился,
Он был так бледен и смущен,
Как будто чем-то поражен.
«Должно быть, что его княгиня, —
Игумен думал про себя. —
О, бедный брате! И пустыня
Не возмогла укрыть тебя!»

16

Княгиня с лестницы спустилась,
Кой-как чрез грязь перебралась
И кверху снова поднялась...
В ней сердце очень сильно билось;
Пришлось у двери постоять,
Чтоб успокоилось волнение.
Кто мог в сей миг ее узнать?
Княгиня Слуцкая в смущеньи!
Та, пред которой столько лет
Столицы пышной шумный свет,
Как пред богиней, преклонялся,
Как раб, у ног ее лежал,
Вокруг нее, как рой, жужжал,
Как счастья, взора добивался...
Теперь она стоит впотьмах,
И дверь открыть рука немеет,
Через порог ступить не смеет,
Дрожит пред кельей, где монах!
Что ж это значит, что случилось,
Что так княгиня изменилась?
Не протекло и двух часов —
Княгини прежней нет следов!
Она совсем переродилась:

Осанка, поступь, голос, вид —
Иное все... Все говорит,
Что буря сильная мгновенно,
Как вихрь, промчалася над ней
И гордый ум и дух надменный
Сломила силою своей.



17

Княгиня кое-как решилась.
Робея, в келию вошла,
Игумену низко поклонилась
И приглашенья сесть ждала.
Они уселись и молчали,
С чего им речь начать, не знали.
Игумен явно был смущен:
Со светской женщиной впервые
Он так внезапно был сведен.
Но люди умные, простые
Всегда найдут, что им сказать.
Он, к счастью, первый обратился:
«Княгиня! Так ли мне вас звать?
Увидев даму, я дивился,
Но как-то скоро угадал,
Кого Господь сюда послал.
Зачем вы здесь, постичь стараюсь,
Но, что не с мыслию худой,
Нимало в том не сомневаюсь.
Я человек совсем простой,
Не знаю жизни городской,
И, коль скажу я что неладно,
И грубовато, и нескладно,
Уж не взыщите, так и быть.
Нас не учили говорить!».

18

Игумен тут остановился:
Он от княгини слова ждал;
И, помолчавши, ободрился,
И снова так он продолжал:
«Мы здесь в глуши, в уединеньи,
Как монастырь и должен быть;
Здесь речи нет о развлеченьи —
Монахам некуда ходить!
Устав наш строгий и пустынный,
Он принесен с Афонских гор[251]
Весьма давно и до сих пор
Хранится нами; службы длинны,
Но что нам делать, для чего
И в монастырь уединяться,
Коль лень молитвою заняться?
Молитва сладостней всего!
Ах, верьте, матушка княгиня,
Что для испытанной души
Отрада велия[252] — пустыня
И после шума — рай в глуши!
Василий духом укрепился,
Он здесь воскрес, переродился,
О всем прошедшем позабыл
И от души вам все простил!
Коль с ним вы видеться хотите,
Ну, так и быть, за ним пошлем.
Пожалуй, с ним поговорите,
Оставлю даже вас вдвоем...
Устав наш строго воспрещает
Монахам женщин принимать,
Да здесь и женщин не бывает.
Но вам заранее сказать
Хочу, княгиня. Вы простите
За откровенность... Согрешите —
И грех вам будет, грех большой, —
Коль дух вы мирный возмутите:
Великий труд — стяжать покой
И быть в ладу с самим собой!».



19

Княгиня, слушая, молчала:
Ее речь старца удивляла.
«Раскрою вам, святой отец,
Мою всю душу, — наконец
Она сказала. — Я виновна,
Мне оправдать себя нельзя,
И мысль моя была греховна,
Когда сюда собиралась я.
Я цель двойкую имела:
Иль князя миру возвратить...
А не удастся, так хотела
Я, как врагу, ему отмстить
И мир душевный возмутить!
Я шла во храм, и злость кипела
В груди взволнованной моей,
До службы не было мне дела,
И только князя поскорей
Хотела видеть. Вы читали
Акафист Деве Пресвятой.
Я в чтение вслушалась, и стали
Слова понятны... И со мной
Не понимаю, что свершилось:
Душа, казалось, отделилась;
Вне тела будто бы, она
Смятенья стала вдруг полна;
Хотелось плакать и молиться,
И как-то грустно стало мне,
Что не могла я насладиться
Словами чтения вполне.
Я только что-то понимала,
Но я бы все понять желала...
Грудь становилась мне тесна,
Она в себе не совмещала
Всего, что сердце мне смущало

И чем душа была полна.
Я много плакала, но мало
Мне было слез тех; предо мной
Разверзлось все мое бывшее
Со всей своею глубиной
И все греховное и злое...
И стала я себе страшна,
Себя самой я ужасалась
И, что была я, сознавалась,
Греховным омутом без дна!

20

Но что же сделалось со мною,
Когда приблизился к набою
Сменивший вас монах иной!
Вдруг голос князя я узнала:
Земли не стало подо мной,
И я почти без чувств упала,
Меня как будто гром сразил!
И, полумертвая, без сил,
Я распростертая лежала
И к плитам голову прижала...
Во мне вся кровь текла огнем,
То в жилах снова застывала;
Душа в терзаньях изнывала,
А в сердце, Боже мой! Что в нем
В тот миг ужасный совершалось,
Я не сумею передать!
Да, сердце бедное, казалось,
Разбилось вдребезги! Страдать,
Как я, несчастная, страдала,
Что можно... я не ожидала!
Бессилен, слаб язык людей,
Ему не выразить словами
Всего, что чувствуется нами
Под сильным натиском страстей!
Нет, никогда в земные звуки
Не передать нам сердца муки,
В словах измеренных речей
Не рассказать души своей!



Себя и князя я сравнила:
Он все для счастья имел,
А я его всего лишила,
Навеки счастье сокрушила...
Он мстить за злость не захотел
И все житейское презрёл!
Челнок, расщепленный волнами,
Он к тихой пристани приплыл
И сердце Богу посвятил.
А я с кипучими страстями,
Как будто с милыми друзьями,
До сей поры в ладу жила,
Греху с усердием служа,
В нем наслажденье находила,
По морю бурному плыла...
Какая бездна между нами!
Как меж землей и облаками!
Князь и всегда был прост душой,
В нем сердце кротостью дышало,
И, будто светлую росой,
Оно жизнь князя орошало
Неизъяснимой добротой...
Во мне все страсти и пороки
Росли и зрели с детских лет,
И нрав упорный и жестокий
Не мог смягчить любви привет.
И все, что в князе так сияло:
И светлый ум, и простота,
Смиренность, кротость, чистота, —
Меня лишь только раздражало.
Я ненавидела его
За то, что в нем не находила
И даже признаков того,
Что на меня бы походило
И что бы сблизить нас могло.
И это все во мне зажгло
Огонь вражды непримиримой:
Я не старалась быть любимой,
Ему простить я не могла,
Что он так добр, а я так зла.



22

Мое внезапное паденье
Безумство было, а не страсть;
То не любовь, не увлечение —
Души порочной раздраженье,
Свободы вред, желанье пасть!
Как я низринулась глубоко!
Мой обольститель изверг был,
Как изверг извергу жестоко
Он мне за князя отомстил...
Простите, отче, я забылась,
Быть может, слишком увлеклась,
И ухо ваше оскорбилось
Тем, что неведомо для вас.
Вам это дико, и едва ли
Вы от других когда слышали,
Какие страсти в нас кипят,
Что́ значит жгучей мести яд,
Что́ самолюбия терзанья,
Когда оно уязвлено,
Любви обманчивой страданья —
Все это издали смешно,
А вам едва ль и постижимо...
Но в свете жизнь — из мелочей,
А нам ах как невыносимо
Презренье света и людей!

23

Все, отче, кончено! Упало
С очей греховных покрывало!
Была и я душой больна,
Двенадцать лет и я страдала,
Грехолюбивая жена.
И вдруг теперь исцелена!
От слова Божья здрава стала,

Возврата к прошлому уж нет,
К нему навеки путь пресекся!
Меня не манит шумный свет,
Мне и самой уж сорок лет,
И как от мира князь отрекся,
Так отрекусь теперь и я,
И, избежавши потопленья,
Пусть наконец моя ладья
Причалит к берегу спасенья!
Нас с князем грех разъединил...
Пусть покаянье вновь нас свяжет,
И, коль жену муж предварил,
Пусть он и путь ей сам укажет,
Как ей спасение найти,
Чтоб вместе с ним же в рай войти!
Вы руку помощи прострите,
Меня наставьте, отче мой,
И мне обитель укажите,
Где я стяжу душе покой.
Теперь же вы благословите
Мне с князем свидеться у вас...»

24

«До утра лучше обождите,
Теперь не время, поздний час.
А между тем и вы, княгиня,
Молите Бога, чтобы вам
Свои пути открыл Он Сам,
Чтоб сана нового святыня
Вас в ризу правды облекла
И вам спасительна была!»
Ушла княгиня. На просторе
Припомянуть игумен стал
Все то, что слышал в разговоре,
И так он после размышлял:
«Как жизнь судьбой людей играет!
То чуждых вдруг соединит,
То узы близких расторгает,
То вновь враждующих мирит!
Пути Творца неисследимы,
Господь ведет нас, как слепцов,
И к цели, тайной и незримой,
Сзывает Он со всех концов!
Любовь два сердца сочетала,
И брак союз их освятил;
Вдруг страсть их узы разорвала
И мир чету разъединил.
Друг другу чужды оба стали,
Быть может, даже и сердца
Вражду взаимную питали...

И вот длань[253] сильная Творца
Своими чудными путями
Их от распутий созвала
И с примиренными сердцами
На путь единый их свела!
Тебе, Царю, благодаренье,
Вождю Благий земных пловцов
И Кормчий[254] нашего спасенья,
Что Ты хранишь от потопленья
Наш утлый челн среди валов,
Средь бездн зияющего моря,
Где каждый шаг в погибель нам,
Страстей расслабленным сынам,
И каждый день — пучина горя,
Коль не заступишь Ты нас Сам!».

25

Княгиня очень побледнела,
Когда на следующий день
Она, робея и немея,
Пошла к игумену, как тень.
И что-то, кажется, хотела
Она сказать... и не могла...
Так смущена она была.
И вся, как лист, затрепетала,
Когда вдруг князя увидала.
В клубок и рясу облачен,
Василий также был смущен.
Княгиня громко зарыдала,
К ногам Василия припала.
«Прости, прости... Прости ты мне! —
Она чуть внятно простонала. —
Прости преступнице-жене!
Я пред тобою виновата!
Сестра лежит в ногах у брата!»
Игумен дверь скорей закрыл,
Он слезы лил от умиленья
И вдоль по комнате ходил,
Что было признаком смущенья.
Василий плакал... В знак прощенья
Княгине руку протянув,
Хотел поднять ее. Не встала
Она и, с жадностью прильнув
К его руке, все целовала...



26

«Княгиня, встанье. Я простил
Давным-давно все то, что было, —
Сказал Василий. — Я забыл,
Что наше счастье помрачило
И нас расторгло навсегда!
Скорбь ваша Божий гнев смягчила,
И покаянье ваше смыло
И не оставило следа
Грехов былых... И перед Богом
Кто из людей не согрешил?
И я, конечно, сам во многом
Пред вами также грешен был!
Итак, забудемте бывшее,
О чем не стоит сожалеть;
Мы скинем вретище[255] гнилое,
Чтоб ризу светлую одеть!
Нет, не враги теперь мы с вами,
Мы снова сделались друзьями,
Мы не чужие: со вчера
Ты мне о Господе сестра!
И связь крепчайшая, иная,
Теперь да свяжет в нас сердца:
Любовь чистейшая, святая,
Как чад единого Отца,
Пусть нас о Господе связует;
Она недуги исцелит,
Все наши скорби уврачует
И наши души просвятит!
Прощаюсь с бывшею княгиней,
С подругой юности моей;
Ее не стало! И отныне
Сестра дана мне Богом в ней!
Отднесь, обручница[256] Христова,
Спешу свой пламенник зажечь,
И будь ко сретенью[257] готова,
И до конца потщись[258] сберечь
Елей в светильнике возжженном,
Дабы при гласе вожделенном:
“Жених грядет!” — могла б и ты
В чертог Божественный войти...»

27

Княгиня гордая, бывало,
Так часто князя оскорбляла
Высокомерием своим!
И вот с покорностью пред ним
У ног его она лежала,
Ему с смирением внимала,
Пока речь кончил он. Опять
Он повторил ей, чтобы встать.
Но слезы долго ей мешали
Два слова связные сказать,
Но тотчас речь перерывали,
Так что и слышались едва
Ее невнятные слова...

28

«Невольный плач мой и стенанье, —
Она сказала наконец, —
Тебе докажут, князь-отец,
Что непритворно покаянье
Души, усталой от грехов,
И скажут больше всяких слов!
Но где найти мне выраженья,
Чтоб передать тебе вполне
Все чувства скорби, сокрушенья,
И что в сердечной глубине
С тобой свиданье пробудило,
Какие мысли породило,
И что припомнилась мне вновь
Неблагодарность за любовь!
И час ужасный — час прощанья,
Когда в день самый расставанья
И ты у ног моих лежал,
Их со слезами целовал,
В тебе душа вся разрывалась...
А я? — язвительно смеялась
И, оттолкнув тебя ногой,
Еще глумилась над тобой!
Но кто постигнет все, что злоба
Способна женщине внушить?
О, дня того и я до гроба
Не в силах буду позабыть!

29

Когда порой припоминаю
Все в жизни сделанное мной,
Страшуся я себя самой,
Себя всех хуже я считаю,
С последней тварию земной

Сравнить себя едва дерзаю...
Мое бывшее таково,
Что трудно искупить его,
Хотя бы каялась я вечно.
А наша жизнь так скоротечна!
Но уповаю на Творца...
Пред Ним открыты все сердца;
Он в наши мысли проникает
И вздохи слышит, исчисляет
Все наши слезы, перед Ним
Со умилением живым,
С любовью теплой пролитые.
Молите вы, отцы святые,
Чтобы Господь меня простил
И по грехам не осудил!»

30

«Скажу тебе, сестра, спасайся!
Се день спасения настал, —
Игумен ей тогда сказал. —
Княгиня, плачь и кайся, кайся.
И несомненно уповай[259]:
Живая вера вводит в рай!
Борьбы с собой не опасайся,
Ничто возможет враг на тя[260],
Егда[261] смиренна, как дитя,
Кротка́, беззлобна и послушна
Предстанешь ты перед Творцом,
Как отроча́ перед Христом,
И, непритворно благодушна,
За Ним последуешь с крестом.
Все вражьи сети — паутина,
Нас не должны они смущать,
Зане, где Божья благодать,
Они истают, яко льдина;
Как ветер дым рассеивает,
Так Бог сеть вражью сокрушает.
“Как воск от пламени сгорает,
Так враг пред Богом исчезает
И от лица Его бежит”[262] —
Се Псалмопевец говорит.



31

Как старожил и благочинный[263],
Я знаю дух монастырей,
И есть, скажу, один пустынный,
В котором вы всего скорей
Найдете то, что вам так нужно
С душой скорбящей и недужной:
Порядок, мир и тишину
И богомудрую жену
В лице игуменьи почтенной,
Довольно строгой, но смиренной,
Пришедшей так же от сует,
Да и какой подобных нет!
Она поймет вас и полюбит,
Вы в ней найдете точно мать,
О всех готовую страдать.
Ее к себе я поджидаю,
Ей нужно видеться со мной.
Так вот угодно... Предлагаю:
Она вас может взять с собой.
Она, как вы, весь мир презрела;
Была богата и знатна,
В кругу высоком рождена,
Но жизнь мирская не пригрела
Ее тоскующей души!
Она, подобно голубине,
Искала мир себе в пустыне,
И дух ее почил в тиши.
В одной обители убогой
Все сорок лет она живет,
И жизнью постнической, строгой
Благой пример всем подает,
И ей порученное стадо
С собой ко Господу ведет,
За что сугубая[264] награда
Сию ревнительницу ждет!
Вы ей себя препоручите,
Смиреньем волю отсеците

И кротки будьте, как овца[265],
А пред Творцом душой горите,
Как воска чистого свеча!»

32

Спустя два года в день Введенья[266]
Два совершались постриженья:
Игумен князя постригал
И имя Варлаама дал.
И, чтоб в тот день постричь княгиню,
К ней был направлен духовник
В Старо-Успенскую пустыню.
И он ее тогда постриг,
И Анна Феодóрой стала...
Княгиню искренне любя,
Сама игуменья желала
Быть восприемницей[267] ея.
Княгиня с чувством постригалась,
И много слез она лила,
И вместе с тем она была
Так умиленно весела,
Что всем действительно казалось:
Она в чертог на брак пришла.
И ей сказала в назиданье
Ея наставница и мать:
«Отднесь твое именованье
Тебе должно напоминать,
Что жизнь есть Божье дарованье[268],
А путь на небо — покаянье!».



Часть четвертая

На почтовѣй большой дороге,
В одной деревне раз зимой
Все население в тревоге
Толпилось с шумом пред корчмой[269].
Шло дело к вечеру. Темнело.
Федул, десятский[270], на рысях
С базара ехал в пошевня́х[271].
Вдруг лошадь встала, захрапела,
Ни тронет с места никуда.
Федул кричит и понукает,
Он так и сяк, туда-сюда.
Вожжой, кнутом ее стегает,
Беде ничто не помогает.
«Что за напасть? Хоть режь ножом!» —
Он промычал, глядит кругом:
Чернеет что-то, словно тело
Лежит в снегу. «Беда-беда!
Поди ты... Во какое дело...
Ну так и жди себе суда.
Во канитель-то тут какая», —
Сам про себя ворчал Федул.
Тулуп на сани свой швырнул
И, крупный пот с лица стирая,
С досадой на землю спрыгну́л,
Нагнулся, смотрит... «Царь Небесный!..
И человек-то неизвестный,
Как есть совсем-совсем чужой.
Что будешь делать! Становой[272]
(Нет, так исправник[273] сам) нагрянет
С проклятой этою ордой...
Вот ты и будь тут должностной[274]...
И всех к допросу нас потянет!
Эй ты, Максимка-ротозей,
Беги за старостой[275] скорей,
Зови его, и волостного,[276]
Тащи и сотского[277] сюда!
Всем извести, что, мол, беда,
Нашли-де мертвого... чужого...»
И, не прошло пяти минут,
Уж полдеревни было тут.
Теснились шумною толпою
Пред покачнувшейся корчмою.

2

«Ну что ж, Савелич, как тут быть? —
Спросил Федул. — Куда нам сбыть,
Подумай, этого бродягу?
Так он замерзнет, жаль сердягу[278].
Смотри-ка! Славно, что одет,

Вишь, одежонка-то какая,
Чуть не дырявая, плохая». —
«Его не трогай — дашь ответ,
А с места тронь — беда другая,
Как ни вертись ты, так и смяк,
Все, братцы, выйдет дело скверно, —
Заметил староста-толстяк, —
Коль тронем мы, так и наверно
Уж попадем тогда впросак!» —
«Вестимо[279], так!» — поддакнул кто-то.
«А все же жаль, — сказал другой, —
Все ж человек, не зверь какой!» —
«Спросите ж лучше вы Федота,
Все на бобах нам разведет[280]:
Давно на свете он живет...
Эй, дедушка! Да здесь он, что ли?
Его, кажись, и не видать!
За ним кого бы хоть послать!» —
«Охота пуще, знать, неволи, —
Ворчал с досадой старшина, —
На что нам блажь его нужна?
Что ж, без него, что ль, не сумеем
Покончить дело? Аль не смеем?» —
«Ты что, Ефимка, говорил?» —
У старшины Федот спросил.
«Кто? Я-то? Что ты, Бог с тобою!
Я ничего...» — тот отвечал.
«Плутиска ты, кривишь душою,
Я слышал все, как ты ворчал,
Да не хочу с тобой браниться!
А вот что, братцы, не годится
Здесь долго страннику лежать;
Что ж на морозе-то держать!
Он эдак может простудиться;
Его б внести куда-нибудь:
В корчму, что ль... или в дом Евфима». —
«Нет, про меня-то уж забудь, —
Сказал корчемник[281], — мимо, мимо,
Куда там хошь, но не ко мне,
Я таковых не допускаю». —
«Ну, стало б, значит, к старшине», —
Сказал Федот. «Я уезжаю.
Нашел Федул — неси к нему». —
«Хозяйки нет, я не приму». —
«Хриstopродавцы, лицемеры! —
Махнув рукой, вскричал Федот. —
Не православный вы народ,
А словно нехристи без веры!
Ведь он, пожалуй, так помрет,
Коль кто его не приберет...
Вишь, как лицо-то посинело». —

«Чему ж дивиться? Знать, хмельной», —
Заметил кто-то. «Что за дело,
Хмелен ли он, или больной;
Он человек, как мы с тобой,
Приятель-сват. Побойся Бога!
Ведь здесь деревня, не дорога...
И помощь есть; ты видишь, жив! —
Сказал Федот. — Тут мешкать не́ча,
Мне все равно, я не труслив;
Ну, кум Наум, бери за плечи,
А я за ноги... Сволочám
Его ко мне, Бог даст, вдвоем...
Нет, стой-ка, друг, моим тулупом
Его мы лучше обвернем».
Они пошли. «Что ж, разве с глупым
Аль с самодуром сговоришь? —
Пыхтел Федул. — Ан, нет, шалишь!
Хоть кол теши! Старик — забавник!
Знать, мало собственных хлопот;
Уж вот задаст ему исправник[282]!
Да... стар становится Федот!»

3

Изба Федотова от края
Была в ту пору лишь вторая,
Позадь часовни за корчмой;
Весьма просторная, большая,
Но в ней он редко жил зимой:
Он с Покровá[283] перебирался
В другую избу, у ворот,
И там до Пасхи[284] оставался,
Когда весна уже придет.
Но как-то в этот год случилось,
Федоту вдруг не рассудилось
Жилище нá зиму менять:
«Я стал уж стар, к чему стесняться,
Весны, пожалуй, не дожждаться,
Да где там! Негде и принять!».
Федот был стар — восьмой десяток
Пошел ему в тот год со Святок[285],
Но с виду был он хоть куда!
Осанкой важен, полон силы,
И, как, бывало, старожилы,
И не хворал он никогда.
Черты лица приятны были,
Длинна седая борода,
И зренье чудно сохранили
Его орлиные глаза;
Хотя прискорбия слеза
Была знакома им издávна,

Но взор блестящий не потух
И не покинул старца дух.
Он жил смиренхонько, исправно
И не терпел нужды большой,
Хоть сам и пят[286] был со снохой.



4

Его семья, сперва большая,
Недолго вместе с ним жила:
Жена его, давно слепая,
Скорбям всем двери отверзая,
В могилу первая сошла.
И с той поры пошли утраты:
Два сына отданы в солдаты
И не оставили детей,
И замуж взяли дочерей...
Федот на старость лет остался
С одним меньшум из сыновей,
Женил его, внучат дождался:
Господь дал сыну трех ребят;
Вот подросли, визжат, шумят...
Старик опять расцвел душою:
Доволен сыном и снохою
И визготней троих внучат.
Старик забыл всю скорбь утрат
И, сердцем Бога прославляя,
За все Творца благодарил;
И так он лет десяток жил...
Пришла весной холера злая;
Больны все были, но один
У старика лишь умер сын.

5

И с той поры еще добрее
И сердцем мягче стал Федот;
Ему прибавилось забот,

И стал, конечно, он беднее;
Но чем скорбь сердца в нас сильнее,
Тем к скорбным ближе мы душой,
Мы им сочувствуем живее,
И каждый бедный и больной
Нам мил и близок, как родной.
И старца горестного хата
Любовью сделалась богата:
Он точно ближнему служил,
Покоил нищих и кормил;
Монахам, странникам бездомным
Всегда в его жилище скромном
Готов ночлег был и приют.
Пожар ли где — он тут как тут:
Хлопочет, тушит, помогает,
К себе несчастных зазывает
И держит их в доме своем,
Пока у них не сх́ичен[287] дом.
В нужде ли кто — идут к Федоту,
Он даст иль денег, иль работу
И обхлопочет обо всем.
Ну, словом, был он без изъятий
Отцом родным для мёньших братий.
И жил так старец много лет,
Любовью к ближнему согрет.
Сноха его, как дочь, послушна,
Была скромна и благодушна
И, по усердью своему,
Во всем помощница ему.



6

«Сюда вот, кум, вот здесь, в чулане,
Его пристроим на диване!» —
Федот Науму говорил,
Как с ним он странника втащил.
«И ты, чай, Маша, будешь рада, —
Потом старик снохе сказал, —
Что гостя нам Господь послал.

Нашли прохожего близ сада,
Позады корчмы-то; чуть живой,
Так надо-ть, Маша, потрудиться
И поскорей распорядиться
Его снежком, что ль, оттереть,
Чтоб только нам его согреть.
Бери хоть чашку аль горшочек,
Скорее, Ваня, дай снежку!
Смотри, почище где, дружочек,
У дров... Ну, знаешь, к плетешку[288].
А ты, Семенушка, чаечком
Нас попой вот с куманёчком;
А ты, Мишутка, походчей,
Хошь, где поближе... у Микитки...
Беги купить нам калачей.
Постой, постой!.. На три семитки![289]
Ну, кум любезный, сядем тут,
Покуда чай не соберут...»

7

Уж сутки третии томился
Несчастный странник; голова
Одна, казалось, лишь жива.
Он еле-еле шевелился,
Почти и глаз не открывал,
И перезябнувшее тело
То холодело, то горело;
Больной кряхтел и все стонал:
Господь конца не посылал!
Лишь в третий вечер он очнулся
И попросил воды испить.
Тогда Федот к нему нагнулся:
«Тебя б, родимый, причастить!» —
Сказал ему он. Но ни слова
Больной на то не отвечал;
Опять забылся он, и снова
Все лишь кряхтел он и стонал.
Федот тужил о нем ужасно:
«Без покаяния умрет.
Сходил бы к батьке, да напрасно...
Больной в жару. Что он поймет?!
О, Матерь Божия, Царица!
Спаси его и сохрани,
Его грехов не помяни!
И все вы, ангельские лица,
Молите Господа о нем!
Ванюша, дай святой водицы,
В уста маленечко вольем.
Господни милости велицы,
Господь несчастного спасет.

Ванюша, словно кто идет...
В калитке звякнуло кольцо,
Беги скорее на крыльцо,
Взгляни... Ворота открылись.
Сноха, слышь... ставили запор,
Должно, знакомые... На двор,
Кажися, сани, что ль, вкатились...».

8

«Иди-ка, дедушка, скорей! —
Кричал Ванюша из дверей. —
Кого Господь к нам посылает!
Смотри-ка, кто приехал к нам;
Ты будешь рад! — Отец Варлам...» —
«Я ж говорил, Господь уж знает,
Кого и как спасти Ему», —
Шептал старик благочестивый.
«Мир Божий дому твоему,
Почтенный старец! Все ль вы живы? —
Сказал, крестясь, монах седой,
С себя тулуп свой скидавая. —
А на дворе метель какая!» —
«Ох, мой кормилец! Ах, родной
Отец Варлам, скорей входите! —
Сказал приветливо Федот. —
А мы про вас все толковали.
Легко ль сказать! — Ведь чуть не год
У нас вы в доме не бывали!
Что ж это значит? Что, мол, к нам
Не кажет глаз отец Варлам?» —
«Спасибо, старец, не скучаешь
И нас, убогих, принимаешь.
На этот раз-то я вдвоем.
Со мной еще один есть старчик». —
«Так что ж, для всех приют найдем.
Эй, внуки, живо самоварчик!»

9

Почтенный старец Варлаам
Давным-давно знакомый вам:
Его, читатель, вы знавали,
Когда того Васильем звали.
С тех пор пятнадцать лет прошло,
Но время будто миновало
Его спокойное чело
И чуть заметно начертало
Те роковые письма,
В которых жизнь всегда видна.
В его очах, благих и ясных
И выразительно-прекрасных,

Была такая тишина,
Такой был мир невыразимый,
Покой души невозмутимый,
Что кто на старца лишь взирал,
Тот силе взора подчинялся,
Как будто светом озарялся
И сам покой тот ощущал.
Черты почти не изменились;
Лишь борода и волоса́,
Минувших лет его краса,
От зноя жизни убелились
И серебрились, и струились,
Как волны белого рунá[290]...
Так иней светится, сияет,
Когда серебристая луна
Зимы картину озаряет...
И тихий голос мягче стал.



Как разнородно жизнь влияет!
Одних скорбь сердца очищает,
Как перетопленный металл;
Других скорбь только озлобляет —
Не благотворна им печаль:
В них сердце жёсткнет, словно сталь...
Так время вина изменяет:
И, если доброе вино —
Чем старше, тем ценней оно;
Плохие — время окисляет...

10

«Откуда ж вы, отец родной,
Теперь путь держите обратный?» —
Спросил Федот. «Да вот, за мной
Из Трескина... (ну, как бишь[291], знатный
Больной и старый генерал)
Мой сын духовный присылал.
Вчера мы до́ света и встали,

И в путь отправились тотчас...
Ведь тридцать верст почти от нас!
И еле-еле мы застали
Больного в памяти... Я мог
Напутствовать его как должно.
Он третий год уже без ног,
А вот с неделю вовсе слег:
Чего-то съел неосторожно.
Был очень труден, и врачи
К нему слетелись, как грачи —
Пожива есть. Не соглашались
Меня впустить к нему: боялись
Больного, видишь, испугать!
На ладан дышит — что тут лгать!
Какое тут уж врачеванье?
Тут только нужно покаянье,
Тут душу грешную врачуй,
Спеши напутствовать скорее,
А про микстуры не толкуй!
Да разве в лекаре без веры
Какой ёсть толк на этот счет?
Он весь состав твой разберет,
А о душе он и не знает:
Как человек, дескать, помрет,
Так все с ним, видишь, исчезает».

11

«И мы в горя́х, отец Варлам, —
Сказал Федот, — Господь, знать, Сам
Тебя на помощь посылает;
Ведь Он, наш Батюшка-то, знает,
Где как помочь, кормилец мой!
Вот случай вышел-то какой:



В субботу... Нет, бишь, в воскресенье...
Такое, право, искушенье...
Вон у корчмы, у кабака

В снегу нашли мы старика.
Лежит мертвешенек, сердечный,
Весь инда[292] даже посинел...
Признаться, батюшка, я, грешный,
К себе его брать не хотел.
Сперва — тому, это, другому:
“Возьмите, братцы, мол, его”,
Стал говорить я волостнóму...
Все отступились от него!
Боятся, значит... Я не трушу:
Что мне исправник, становой?
В своей избе я сам большой!
Спасу христьянскую, мол, душу,
Коли уж тела не спасу;
Давай к себе его снесу.
Ну, подозвал я, это... кума.
Чай, знаешь дедушку Наума?
Ну вот, сердягу взяли мы,
Моей шубенкой понакрыли
Да вон оттúда, от корчмы,
Сюда его и притащили.
И вот с тех пор...»
Варлаам: «Что ж, он чужой?
И даже, кто он, ты не знаешь?».
Федот: «Чего ж тут знать, отец родной?
Он человек, да и больной!».
Варлаам: «Ах, старец! Ты не понимаешь,
Какое слово ты сказал!
Ты мне всю душу показал:
Как умилительно, прекрасно!..».
Федот: «Хвалить не следует напрасно...
Что ж я-то сделал — то, что мог?
Эк важность — ближнему помог!».
Варлаам: «А что же, разве это мало?».
Федот: «Об этом что!.. Вот он лежит,
Который день не говорит!
Сноха чего уж не пытала —
Снежком и маслом растирала...
И все, кажись, ему не впрок».
Сноха: «А, батюшка!».
Федот: «Ну, что?».
Сноха: «Войди ты...».
Федот: «Да что там, Маша?».
Сноха: «Погляди ты!
Он лег, зная, сам на левый бок».
Федот: «Вы здесь покуда посидите,
Меня маленько подождите,
Родимый мой, а я схожу
Да на больного погляжу.
Быть может, время и приспело
Вам душу грешную спасти»;

Нам, окаянным, только тело
Дано во власть. Как помогать,
Мы и того путем не знаем...
Снежком да маслом растираем,
А вам от Бога благодать
Дана прощать и разрешать!».



12

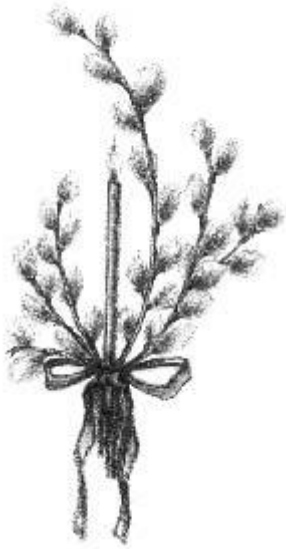
Минут чрез пять Федот вернулся;
Он был спокойнее на вид.
«Должно быть, подлинно очнулся, —
Сказал старик, — кажись, глядит...
Да вот что, отче, посмотрите,
Что это? Пашпорт, что ль, аль нет?
Али еще какой билет?
Нашли в кармане... Разверните,
Орел, увидите, там есть.
Моим ребятам не прочесть».
Старик-монах вооружился
Пособьем[293] сильным старых глаз,
Прочел немного и тотчас
От всей души перекрестился
И что-то тихо прошептал.
Федот в лице весь изменился;
«Да что такое? — он сказал —
Аль что недоброе открылось?» —
«Нет, благость Божья проявилась...
Сильна Всевышнего рука!
Я повстречал здесь земляка.
О, сколь ты дивен, Промысл Божий!» —
С слезами старец говорил.
«Ты, стало б, знаешь, кто прохожий?» —
Федот с участием спросил.
«Да, я знавал его когда-то,
Он мне известный господин...
Он прежде жил весьма богато
И вот стал нищий дворянин.
Однако ж мешкать не годится;
Коль он в сознание пришел,
Так вот и время причаститься».

Федот к больному старца ввел.

13

С глубоким чувством сострадания
Вошел в каморку Варлаам.
Темно и душно было там.
Услышал частые стенанья,
Но, кто так жалобно стонал,
Он в полумраке не видал.
«Что в темноте здесь видеть можно?» —
Подумал он. Огня достал
Он из лампадки осторожно
И на столе свечу зажег.
Каморка светом озарилась;
Он рассмотреть тогда все мог.
И вот очам его открылось
Такое зрелище: пред ним
Старик седой и исхудалый
Лежал, как мертвый, недвижим;
Нос обтянулся, щеки впали,
Морщинам не было числа.
«О, Боже, Боже! Неужели
Все буря жизни унесла?
Его года не пожалели...
Как исказились все черты!
Где ж след бывалой красоты?» —
Невольно старец содрогнулся,
Припомнив прошлое о нем;
Он взял свечу, к тому нагнулся
И осветил лицо огнем.
Больной мгновенно встрепенулся,
Открыл глаза и простонал,
А после внятнее сказал:
«Привстать хотел бы, посадите.
Не знаю, где я. Позабыл...
Да свечку дальше уберите!».
Больного старец посадил
С большим трудом. Тот вновь спросил:
«Да где же я, вы мне скажите?
Не понимаю, что со мной...». —
«Вы здесь в доме христианина,
Любвеобильного душой,
А по делам самарянина[294]», —
Ответил с чувством Варлаам.
«А ты-то кто же? Ты кто сам? —
Спросил больной с каким-то страхом. —
Уж ты не поп ли, из монахов?» —
«Я здесь проезжий,
Я в гостях, убогий инок...»
Странник: «Ну, с монахом я не желаю дел иметь,

Я не могу попов терпеть...



Монах, что поп — одно и то же,
Который хуже, не решу,
Вся та же гуща!..».
Варлаам: «Боже! Боже!».
Странник: «А ты как думал? Что, грешу?
Попы тебе за три полтины[295]
Все, что ты хочешь, разрешат;
Давай лишь денег — брак, крестины
И что угодно совершат...».
Варлаам: «О, замолчи ты! Умирая,
Должны мы душу очищать
И, на грехи свои взирая,
О жизни вечной помышлять,
Чтоб нам избéгнуть муки ада!».
Странник: «Вот вздумал чем еще стращать!
Твоих советов мне не надо...
Пророчить мне, что я умру!
Ты мне, монах, не по нутру;
Ступай отсюда! Покаянье
Мне проповедовать хотел!
Ведь ты моих не знаешь дел?».
Варлаам: «Не знаю дел, но злодеянья
Твои тебе я расскажу
И все бывшее покажу.
Андрей Петрович! Забываешь,
Как ты ужасно жизнь провел!».
Странник: «И как зовут меня, ты знаешь!
Да кто ж тебя сюда привел?».
Варлаам: «Святая воля Провиденья,
Господь, хотящий всем спасенья,
Сюда заехать мне внушил.
Ты много-много нагрешил,
А жизнь твоя идет к развязке...

Покайся, старец, смерть близка!».
Странник: «Нет, не попал на дурака,
Который верит всякой сказке;
Я не просил духовника.
Уйди, монах!.. Иль нет, постой,
Я где-то слышал голос твой?
Давно когда-то... где, не знаю...
Но, что слышал, припоминаю...
И даже самая черты
Знакомы будто, мне сдается...».
Варлаам: «Напрасно празднословишь ты.
Недолго, странник, остается
Тебе быть жителем земным.
Страшись! Пред Господом Самим
Тебе явиться подобает!
С чем ты на суд к Нему придешь?
Тебя ведь вечность ожидает».
Странник: «Все это выдумка и ложь.
Что за могилой есть, кто знает?
Ведь ты там не был никогда,
Сам не заглядывал туда?».
Варлаам: «О, замолчи! Всему есть мера,
Все беззакониям предел!
Ужель в тебе иссякла вера?».
Странник: «Я сорок лет уж не говел![\[296\]](#)».
Варлаам: «И все Господь долготерпел!
Он обращенья ожидает,
Чтоб покаянье ты принес,
За вздох один, за каплю слез
Господь все грешнику прощает!».
Странник: «Кто ж это все наверно знает?
Ваш рай и ад меня смешат!
Кто ж не грешит? Ведь все грешат.
А коль Бог взыскивать все станет
Да посылать всех грешных в ад,
В аду и места не достанет,
Заржавят петли райских врат».
Варлаам: «Ты благость Божью искушаешь,
Ты забываешь, как ты жил!».
Странник: «Ты этим мне надоедаешь!
Одно заладил, затвердил...
И, коль так верно все ты знаешь,
Ну, говори, в чем я грешил?
Я буду слушать... Дай напиток,
А сам вот тут изволь садиться:
Ко мне поближе... Начинай...».
Варлаам: «А ты с прискорбием внимай!
Две старых барышни-дворянки,
Родные сестры меж собой,
Между Ордынки и Полянки...
Ну, словом, за Москвой-рекой,

Себе квартиру нанимали
У пономáрши[297] во дворе.
Они с пеленок воспитали
Сиротку — внучку по сестре.
Ты милым личиком прельстился,
Ты стал старушек посещать,
К Наташе бесом подольстился,
Уговорил ее бежать!
Старушки плакали. И вскоре
Одна из них скончалась в горе.
Другая просьбу подала,
Чтоб ей Наташу возвратили.
Но сердце девочки смутили
Твои коварства!.. Вновь ушла
Она к тебе. Вас разлучили;



Судом тебе определили
Три года жить в монастыре.
Шестнадцать лет Наташе было,
И в ту же осень, в октябре,
Наташи бедной тело всплыло,
Нашли у Бабья-городка...
Вот как ей стала жизнь “сладка”!
А кто виновник? Кто причина
Беды, постигнувшей ее?».
Странник: «Ее несчастная судьбина...
Я не ответчик за нее».
Варлаам: «Ну, так. А время покаянья,
Сам знаешь, как ты проводил:
Игумну был ты в наказанье
И младших братьев развратил!».
Странник: «В чем стал винить! Вольно же было
Меня насильно посылать
Уху вонючую хлебать?
Меня вся братия любила,
За что игумен и теснил...
Да уж и я ему солил!».
Варлаам: «Полковник старый жил с женою,
Прекрасною и молодою;
Он жил в Москве и счастлив был.
Господь супругов наградил:

Сынком и дочкой наделил.
Так, научённый сатаною,
Ты у него жену отбил,
В нее влюбленным притворился...
Полковник был в решении скор:
Его убил жены позор,
Не вынес он и застрелился.
Его жена с ума сошла,
Сироток бабушка взяла...
А тут кого винить прикажешь?
И в оправданье что ты скажешь?».
Странник: «Виню жену, зачем пошла
За ветерана пожилого?
Нашла б себе не старика....
Виню и мужа-дурака:
Чего смотрел он? Молодого
К себе гвардейца принимал...
Ну вот в ловушку и попал».
Варлаам: «В Москве, в Таганке жил богатый,
Известный именем купец,
Лишь года два тому женатый,
Красавец, видный молодец.
Жена в дворянство захотела,
В чужие сани сглупа села,
Туда и муж за нею влез.
Жене — театры да пирушки,
А мужу — почесть, побрякушки...
И скоро все пошло вверх дном:
Подряды, лавки и весь дом;
Доходы стали плоховаты
И приумножились траты.
Муж в гору лез, благотворил;
Жена рядилась, пировала
И деньгам счет она не знала,
А ты их денежки сорил.
Подряды лопнули. Именье
За долг распродано казной...
Кто был виновник в разореньи?
Кто был в сообществе с женой?
И чем же их судьба решилась?
Купчиха вовсе развратилась,
А муж спился', в острог[298] попал
И после без вести пропал!
К одной старухе, очень знатной,
Весьма богатой и приятной,
Сумел ты в милости попасть
И приобрести над нею власть.
Тебя старуха баловала
И, хоть имела сыновей,
Тебе именье подписала,
Лишь ты женился бы на ней.

Вот свадьбы день уже назначен,
Старуха встала весела,
С тобой свой кофе отпила;
Один лишь ты угрюм и мрачен
В тот день был с самого утра.
Настало время, уж пора
И в церковь ехать; одевалась
К венцу невеста... Вдруг она
Ужасно сделалась бледна,
Вся затряслась и зашаталась,
Упала в кресло и скончалась...
Тебе так было тяжело,
Что ты от слез и огорченья
В постелю слег в день погребенья.
Но все ж, однако, перешло
К тебе старушкино именье
И между рук потом прошло...
Тогда носились смутно слухи,
Хотя и не было улик,
Что смерть доверчивой старухи
Ускорена тобой, старик!
Неважны света обвиненья,
Но страшны совести мученья!».
Больной ни слова не сказал,
Но был тревожен: в нем, казалось,
Борьба незримо совершалась...
А старец снова продолжал:
«Ты, верно, помнишь жизнь в Полтаве,
Когда твой друг Вильгельм фон Браве
Там при таможне в службе был,
Как ты за дружбу заплатил?
Скажи!».
Странник: «Остановись, довольно!
Мне слушать стало как-то больно.
Ты помнишь то, что я забыл,
И все, что я забыть желаю,
Все, что я в сердце заглушаю
И не могу в нем заглушить.
Но ты-то кто же? Я не знаю...».
Варлаам: «Узнаешь... Дай договорить!
Ты Слуцких помнишь? О княгине
Ты, без сомненья, не забыл!
Кто виноват в ее судьбине?
Кто эту женщину сгубил?
Ты восемь жен уж соблазнил...
Но это — видное паденье!
Весь высший свет негодовал,
А ты в душе торжествовал.
Ты льстился только на именье,
Княгиню ты впридачу брал;
Позором женщины гордился,

Своею низостью хвалился...
Но ты последствий не видал.
Всего, что сделал, ты не знаешь!».
Странник: «Меня смущать ты начинаешь...
Ну кто же сам ты?».
Варлаам: «Погоди! Конец рассказа впереди...
Позор княгини и паденье
Повергли семью в огорченье.
Ты отнял мать у двух детей,
И долго плакали малышки,
Искали матери своей.
Ты дочь похитил у старушки,
Затмил остаток ясных дней
Княгини — старицы почтенной,
Принявшей скорбь в душе смиренной,
Не возроптавшей в день утрат,
Хоть и втройне она скорбела:
Любезной дочери жалела,
Грустила, глядя на внучат,
Терзалась, бедная, взирая
На горе сына своего!



Да и кто видеть мог его,
Душой ему не сострадая?
Тоска безмолвная, немая
Им овладела; он бродил,
Подчас и слов не понимая,
Как будто тень; не находил
Ни в чем для сердца облегченья...
Но скорбь еще и огорченья
Господь ему предназначал,
И в сердце, полное томленья,
Он скорбь за скорбью вслед вливал.
Прошло два года. Князь лишился
Детей обоих в одну ночь:
Сперва сын умер, после дочь...
Он воле Божьей покорился
И хоть скорбел, но не роптал.
Княгиня старая грустила,

Что милых деток схоронила.
Старушку-мать князь утешал,
Но сам он глаз не осушал.
Княгиня видимо слабела,
Но все бродила; заболела,
Потом совсем в постель слегла
И тихо-тихо отошла,
И князь совсем один остался...».
Странник: «И он себя не застрелил?».
Варлаам: «О, нет! Но с миром он расстался
И в монастырь потом вступил».
Странник: «Князь стал монахом? А княгиня?
Ужели?...».
Варлаам: «Тоже инокия!
В посте, молитве и слезах
О прошлых кается грехах!».
Странник: «Княгиня Слуцкая! О, Боже!
Она монахиня? Дивлюсь!..
И князь? А я-то, я-то что же?
Не знаю сам, зачем томлюсь?
С сумою по свету блуждаю...
А князь где, ты не знаешь?».
Варлаам: «Знаю...
Он в той обители, где я». —
Странник: «А что, с ним видеться нельзя?
Постой, постой... припоминаю...
Так вот чей голос я узнал!»

14

Больной умолк и зарыдал...
Так, верно, грешница рыдала,
Когда у ног Христа лежала.
А Варлаам на землю пал
И за врага Творцу молился,
Чтоб грешник с Богом примирился,
Чтоб Божий враг друг Божий стал.
«Куда же, отче, удалился? —
Больной с усилием спросил. —
Ты победил. Ты победил!»
И оба крепко обнялись,
Их слезы вместе полились...
Больной шептал: «Ты мне простил?». —
«Простил Господь! А я забыл» —
Рыдая старец говорил!
«Я исповедаться желаю,
И особоруй[299] ты меня...
Не помню радостнее дня...
Да, ты был прав, я умираю!
И я мучительно страдаю.
О, ради Господа, спешу

Снять тяжкий груз с моей души!»

15

«Господь вам, старец, помогает, —
Сказал Федоту Варлаам, —
Он исповедаться желает,
Просил собороваться сам...
Как не прославить милость Божью!
Сходи к больному. Он один...
А где мой спутник Акиндин?
Иди к повозке: под рогожью,
Там под сиденьем свечи есть,
Так потрудись ты их принести:
Сейчас соборовать придется,
Спеш! Немного остается
Больному, кажется, пожить.
Иду скорее причастить[300]».

16

Враги когда-то меж собою,
Случайно сближены судьбою,
Теперь остались вдвоем
Больной с своим духовником.
Жить сорок лет без покаянья,
Все постоянно отрицать,
Все чувства веры, упования
За суеверие считать,
Служить страстям,
В одном развороте
Себе отраду находить
И время жизни в гнусной трате,
В греховном зле препроводить...



Таков был странник, так поныне

Жил в нераскаянии он,
Доколе в нем, как в блудном сыне,
Глас сердца не был пробужден.
И, сын сует и друг разврата,
Беззлобием искреннего брата
Внезапно был он побежден.
Ужасны были преступленья,
И жизнь минувшая страшна,
Но глубоко и сокрушенье,
И скорбь души вполне видна.
Рассказу странника внимая,
Смущался старец всей душой,
Себя невольно вопрошая:
Не бред ли слышит он какой?
Когда ж рассказ вдруг прерывался
И вместо слова дикий стон
Из уст больного вырывался,
Рыданьем громким заглушен,
Он со слезами умиленья
На умиравшего взирал
И сам себя он укорял,
Что он такого сокрушенья
Еще дотоле не стяжал.
Варлаам: «О, кайся! Вечность отверзает
Перед тобой врата свои!
И жизнь помалу исчезает,
И сочтены часы твои!
Пока еще в тебе дыханье,
Спеши, друг мой, чрез покаянье
Очистить душу от грехов,
Расторгнуть сети злых духов.
Ты долго Господа чуждался,
Как будто враг, Его бежал,
Его закон уничижал,
Над Ним кощунно издевался...
Господь все ждал! Долготерпел!
И поразить тебя жалел!
Чтоб обратился безрассудный,
Чтоб мог оправданным ты быть,
Когда приидет Он в День судный
Живых и мертвых всех судить.
О, Боже нашего спасенья,
Долготерпящий о всех нас!
Прими и в сей предсмертный час
Сего раба в Свое общенье,
И отпусти все согрешенья,
Вся яже с детства сотворил,
И как Давиду чрез пророка,
Через Нафана[301] Ты простил,
Когда, раскаявшись глубоко,
Он о прощении молил;

Как Манассии[302] покаянье
И обращенье ты приял,
Двум должникам заимованье
Ты милосердно даровал
И оной грешнице прощенье,
Ее грехов всех отпущенье[303],
Так убо, в час сей внемля нам,
Твоим молящимся рабам,
Своею милостью великой,
Царю наш, Боже и Владыко,
Ослаби Ты и отпусти,
Вся беззакония прости
И Своему рабу Андрею,
Его же Ты к Себе призвал!
И властью, юже Бог ми дал,
Мне, недостойну иерею,
Чтоб я вязал и разрешал,
И аз ти, чадо, вся прощаю,
Во имя Божье разрешаю
Во славу Троицы Святей,
Да будет мир в душе твоей!».



17

Лицо болящего сияло
Весельем тихим, неземным,
И смерть, казалось, не дерзала
Вступать в права свои над ним.
Когда же старец величавый
Пред ним потир[304] в руке держал,
Он ощущал, что Сам Царь Славы
Его незримо посещал;
И в умилении зывал:
«Дерзну ли я, Владыко мой,
Я, прах и пепел, смрад и гной,
Принять Тебя под кров разврата,
Где был кумир — телец из злата,
Вертеп страстей, всех адских зол...

Всех грешных... всех я превзошел!».
И слезы крупные обильно
Лились со щек и с бороды
На лоскутки одежды пыльной,
Гнилые рúбы нищеты.
Но старца голос вдохновенный
Потоки слез остановил:
«Довлеет, чадо; Гость бесценный
Тебя, ты видишь, посетил, —
Больному инок говорил, —
Под кров убогий и презренный
Он Сам грядет, чтоб ты с Ним был;
И се — стоит Он пред тобою!
Принять Владыку поспеши
В чертог очищенной души.
Слова молитвы вслед за мною
Неторопливо повторяй,
Умом и сердцем им внимай!».
И тихо, сладостно и внятно
Маститый старец стал читать
Слова молитвы благодатной,
Которых нам не передать
Словами речи ослабевшей,
Какую мир себе сложил,
Язык прапраотцев презревши,
Язык, в котором столько сил
И красоты незаменимой,
Язык, которым говорил
Отчизны нашей князь любимый,
Когда он Русь в Днепре крестил[305].
«Се, чадо, здрав ты, и отныне
К тому уже не согрешай,
Все мысли к Богу возвышай
И, просвещен Христа святыней,
На благодать Божью уповай!»



Больной приметно утомился
И в силах видимо слабел;
Уже и взор его тускнел,
И тенью смертной обложился
Лик исхудалый, но сознание
Он в полной силе сохранил
И снова старцу изъявил
Свое усердное желанье,
Чтоб тот соборовать спешил.

19

Вот все готово. Со свечами
В дверях коморки все стоят,
И умиленными очами
На торжество они глядят.
Старик Федот, сноха, внучата —
Все помолиться собрались,
Чтоб Бог помиловал собрата.
И вот молитвы начались...
Больной сидел в руках с свечою
И с наклоненной головою
Канону чудному внимал.
Он тихо плакал, и порою
Уже хладевшею рукою
Себя усердно осенял
Он крестным знаменьем, душою
На помощь Бога призывал...
И в это время пред избою
Вдруг колокольчик раздался'.
Федот услышал. Что-то Сёме
Шепнул он вскользь и поплелся'.
Пошел наведываться в сени —
Кого Господь еще послал.
«А, вот кто! Матери святы!» —
Федот монахиням сказал.
«Мы, старец, сборщицы простые». —
«Ну ладно-ладно, угол дам,
Где вы изрядно приютитесь.
Легонько только потрудитесь
Войти — соборованье там.
Берите свечи и молитесь!» —
Старик двум сборщицам сказал
И на коморку указал...

20

Больного поднял и поздравил,
Служенье кончив, Варлаам.
С ним Акиндина он оставил,
А между тем и вышел сам
В избу большую освежиться.

Здесь он двух сборщиц увидал.
Те подошли благословиться,
И он расспрашивать их стал:
«Издалекá ли?» —
«Ради сбора...
Мы от Успенья на Песках, —
Сказала младшая. — В верстах,
Знать, в стах». —
«Мать Феодора
В своем здоровье какова?» —
Спросил он снова.
«Я жива.
Меня вы, отче, не узнали
И видеть здесь не ожидали, —
Сказала старица, привстав. —
Я и сама, признаться, тоже,
Не доглядела...» —
«Боже! Боже! —
Он прошептал и, вслух сказав:
Иди-ка, старица, за мною!» —
Пошел в коморку из избы.
И размышлял он сам с собою:
«Премудры Божии судьбы!
Господь нас здесь соединяет,
Чтоб мы молились за него...
Безумный Бога отрицает,
Не верит Промыслу Его».

21

И к Акиндину обратился
С вопросом старец: «Что больной?». —
«Лицом к стене поворотился.
Кажися, признак-то худой», —
Сказал послушник молодой.
«Ну ладно, брате, выйти можешь.
Пройдись, немного отдохни.
К лошадкам, кстати, загляни,
Им овсеца еще подложишь.
Мы здесь останемся одни...
Приблизься, старица, взгляни
Ты на больного! Кто он, знаешь?» —
«Нет!» — «Никогда не угадаешь...» —
«Несчастный странник...
Как мне знать?» —
Сказала старица, взглянувши.
Но старец, паспорт развернувши,
Дал Феодоре почитать...
«Власть Божья явно правит нами!
Сильна Всевышнего рука!» —
Сказала та, всплеснув руками

И даже вскрикнувши слегка...
«Ты исповедал старика?» —
Спросила старица, робея,
Назвать болящего не смея.
Варлаам: «Конечно! Кто же, как не я?».
Феодора: «Ты стал его отцом духовным?».
Варлаам: «Мы обнялись с ним, как друзья.
Воспоминаниям греховным
В душе монаха места нет.
Кто был он прежде, все бывшее,
Весь мир, и страсти, и все злое
Монаху ль помнить (он отпет)?
Нам подобает подивиться,
Что нас Господь сюда созвал,
И нам теперь о нем молиться,
Он нашу с миром связь порвал...
Постой, он снова шевелится!».
Феодора: «Он что-то будто простонал?».
Варлаам: «Прошу тебя, пусть слово мира
Из уст твоих в предсмертный час,
Как отпущенья сладкий глас,
Его напутствует из мира
И с ним на небо взлетит».
Феодора: «Глаза открыты, он глядит».
И Варлаам к нему нагнулся
И тихим голосом спросил:
«Ты, друг мой, кажется, проснулся.
Соснувши, силы подкрепил?».
Странник: «Уснуть навеки собираюсь
И навсегда с тобой прощаюсь.
Ты спас, ты душу обратил...
За зло добром ты заплатил:
Избавил грешника от ада...
Тебя Господь благословит...
Тебе великая награда!..».
Варлаам: «Вот и тебе дана отрада!
Со мной еще здесь друг стоит:
Мать Феодора, инокиня!
Когда-то Слуцкая княгиня...».
Больной привстал и посмотрел,
Но взор уж вовсе помертвел.
«Темно здесь стало... Мать святая,
Ты где? Коснись меня рукой...
Прости ты грешника, родная,
Он был несчастья виной...». —
«На благость Божью уповая,
Ему предайся всей душой, —
Сказала старица, рыдая. —
Велик Господь!» — «Господь велик!» —
Сказал больной. Уста скривились...
Тяжелый вздох. Невнятный крик...

И неподвижен стал старик.
Все было кончено... Молились
Слезами теплыми о нем
Монах с монахиней вдвоем...



22

Немного вправо за деревней,
Через дорогу с полверсты
Был тот погост с часовней древней,
Где деревянные кресты
Могилы мертвых осеняют;
Там тщетной роскоши не знают:
Крест деревянный и простой —
Вот праху памятник святой!
Кругом погоста вал широкий,
На нем березок тесный ряд;
Он стал давно стеной высокой
Вкруг нивы той, где мирно спят
Жильцы соседнего селенья,
Свершивши свой прискорбный путь...
Им там отрадно отдохнуть
До той поры, пока из тленья
Прах не воспрянет, обновясь,
Трубы услышав страшный глас!
На этой ниве сокровенной,
Где под землей схоронено
Пшеницы чистое зерно
И плéвел[306] сорный и презренный,
Который в пламени сгорит,
И странник — нищий и прохожий,
Федота гость, Андрей, раб Божий,
До Дня суда сном вечным спит.



23

Когда, окончив погребенье,
Опять к Федоту все пришли,
Накрытый стол в избе нашли,
Трапéзу — хлеб поминовенья.
Им было грустно, тяжело,
И, помолясь, за стол все сели,
Но как-то нехотя всё ели:
Всем им в уста ничто не шло.
«Что это? Сам не понимаю, —
Сказал в раздумии Федот, —
Кто был тот странник, я не знаю,
Ну, помер он; так что ж? И вот
По нем грущу я и скучаю!
Не надивлюсь себе я сам!» —
«Весьма понятно, старец милый, —
Сказал, вздохнувши, Варлаам, —
Все знаем мы, что и всем нам
Не миновать земли, могилы.
Сегодня ль, завтра ль — все умрем;
Вот мы зараней и крушимся,
Что все с землею разлучимся
И в путь далекий отойдем.
Мы над покойником рыдаем;
Конечно, мы по нем грустим,
Но, верь мне, больше мы страдаем,
Что наша очередь за ним!
А как живем мы? Будто вечно
Здесь на земле мы будем жить:
Так нерадиво, так беспечно,
Что смерть не может не страшить.
Убогий странник, умирая, —
Сказал Федоту Варлаам, —
Свои мне деньги óтдал сам
(Их сто рублей), завещавая,

Чтоб я их пѣредал тебе
На все расходы погребенья:
Сорокоуст[307], поминовенья...
Так вот, возьми ты их себе!» —
«Нет, не возьму я, мне не надо, —
Сказал с достоинством Федот, —
Мне не нужна людей награда,
Моим грошам Бог счет ведет
И Сам с лихвой мне воздает!
Ведь я простец, деревни житель,
Так ты меня не искушай!..
Свези-ка денежки в обитель
Али вот сборщицам отдай!
Я не коплю сребра да злата,
Я Божьей милостью богат,
А чем полна Федота хата,
Тем с ближним он делиться рад!»

24

Все, слыша это, прослезились
И чудным словом умилились,
А старец старице сказал:
«Вот где нашли мы назиданье:
Пример любви и нестяжанье
Простец на деле показал;
А скорбь и слезы покаянья
Я видел в грешнике больном...
А я-то, я-то с чем явлюся
Перед Спасителем-Христом,
Чем от грехов я искуплюся?» —
Спросил с слезами Варлаам.
Феодора: «Своей любовью ко врагам,
Позабывая оскорбленья... Но я?».
Варлаам: «Ты? Глубиной смиренья.
Потщись его в душе стяжать,
Дабы и Богу подражать,
И в ближнем Богу угождать!».



Список использованных источников к примечаниям

Примечания составлены с помощью сайта <http://dic.academic.ru>, на котором использовались следующие источники:

1. Библейская энциклопедия Брокгауза // Ф. Ринекер, Г. Майер. 1994.
2. Библейская энциклопедия / Сост. архимандрит Никифор / Синодальный перевод. 1891.
3. Большой Энциклопедический словарь. 2000.
4. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. СПб, 1863-1866.
5. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М.: ООО «Изд-во Азъ», 1992.
6. Олейникова Т. С. Краткий словарь малопонятных слов и выражений церковнославянского языка. СПб, 2005.
7. Священник Ярослав Шипов. Православный энциклопедический словарь. М., 1998.
8. Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) / Гл. ред. Р. И. Аванесов. М.: Русский язык, 1988.
9. Словарь русского языка XVIII века / Гл. ред. Ю. С. Сорокин. СПб: Наука, 1992.
10. Толковый словарь русского языка / Под ред. Т. Ф. Ефремовой. М., 2000.
11. Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. СПб, 1890-1907.

Также для примечаний была взята информация с сайта <http://www.pravmir.ru>.

Дмитрий Благово[308]

Автор поэмы «Инок» Дмитрий Благово родился 28 сентября (10 октября по новому стилю) 1827 года в Москве. Отец его, Дмитрий Калинович Благово, скончавшийся, когда его сын Дмитрий был ещё младенцем, принадлежал к знатному дворянскому роду, связанному кровными узами с семьями Волконских, Татищевых, Римских-Корсаковых, Мещерских, Милославских. Мать, Аграфена Дмитриевна, правнучка А. Д. Янькова, адъютанта Её величества императрицы Елизаветы Петровны, и историка В. Н. Татищева, была женщиной весьма образованной, владела несколькими иностранными языками, интересовалась историей и литературой.

Получив достойное домашнее образование, имея немалые познания в истории и изящной словесности, владея несколькими иностранными языками, восемнадцатилетний Д. Д. Благово поступил в 1845 году на юридический факультет Московского университета.

Окончив университет в 1849 году, Благово два с половиной года служит в канцелярии московского военного генерал-губернатора графа А. А. Закревского. Вместе с тем его влечёт творчество. Он с увлечением пишет стихи, пытаясь выразить в них свои самые сокровенные размышления и переживания жизни...

В 1857 году Д. Д. Благово неожиданно для многих женится на соседке по имению восемнадцатилетней красавице баронессе Нине Петровне Услар. Ей посвящает он цикл своих лирических стихотворений, созвучных его возвышенным чувствам:

... Отныне, чуждый для вселенной,

Я для нее лишь буду жить...

Так он искренно думал, прилепившись всем существом своим к земной мечте, к женщине очень молодой, совершенно светской и далёкой от его духовных настроений и запросов.

Прошло два года. В 1859 году Д. Д. Благово уходит в отставку с чином титулярного советника, весь отдавшись семейной жизни и творчеству. В том же году появилась на свет его дочь Варвара, а спустя два года (1861) — сын Пётр.

Вслед за тем несчастья одно за другим вторгаются в его жизнь...

Сын Пётр умирает во младенчестве. С трудом пережив его смерть, Д. Д. Благово был поражён новым ударом судьбы: его красавица-жена, оставив его навсегда, бежала с удалым гусарским офицером. Это случилось в 1862 году. Едва опомнившись от неожиданной утраты, Благово посылает жене письмо, в котором берёт на себя всю вину за случившееся, надеясь тем самым «оправдать» беглянку в общественном мнении и помочь ей получить развод и выйти замуж...

Спустя некоторое время он передаёт жене право владения своими имениями, включая любимые Горки, и переезжает в Москву. Новое горе — смерть любимой матери — было последним событием, определившим его земное бытие: он решительно изменяет свою жизнь и поступает послушником в Николо-Угрешский монастырь, являя собой пример истинно христианского, благочестивого и трудового жития. В течение тринадцати лет нёс он послушание при прославленном ныне знаменитом архимандрите Пимене (Петре Дмитриевиче Мясникове, 1810-1880 годы).

Среди многих его трудов, написанных в Угреше, можно выделить следующие: «О значении монашества в истории России» (СПб., 1869); «Исторический очерк Николаевского Угрешского монастыря» (М., 1872); «Дворцовое село Остров. Историческое описание» (М., 1875); «Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию»; «Угреша» (М., 1881). Написана Д. Д. Благово анонимно и книга «Архимандрит Пимен, настоятель Николо-Угрешского монастыря. Биографический очерк (1810-1880)», и многое другое, в том числе ряд художественных произведений.

Предлагаемая читателю автобиографическая поэма «Инок» была написана в 1873 году, когда Д. Благово был послушником Угрешского монастыря. Прекрасное знание человеческой души, духовное осмысление описываемых в поэме событий, возвышенный стиль и прекрасный слог — все это ставит сочинение Д. Благово на одну ступень с лучшими произведениями русской литературы.

С 1880 года (после смерти архимандрита Пимена) Благово переезжает в Толгский монастырь Ярославской епархии. Там после получения развода он принимает монашеский постриг с именем Пимена (в честь своего наставника Пимена из Угреши).

В 1882 году он был рукоположен в иеромонахи, а в 1884 — возведен в сан архимандрита и назначен настоятелем русской посольской церкви в Риме, куда прибыл 1 февраля 1885 года. Здесь он не прекращает трудов в пользу своего Отечества: собирает книги для библиотеки, в том числе редкие издания для русского археографического института в Константинополе, а также редкие издания для Императорской публичной библиотеки в Санкт-Петербурге, продолжает деятельно участвовать в литературной жизни России.

Скончался Д. Д. Благово 9 июня 1897 года и похоронен в Риме.

В. Ю. Троицкий,

доктор филологических наук, профессор.

[*] Часть предисловия касалась вопросов политики, поэтому была сокращена.

[1] Тиверий — римский император, в царствование которого явился на свою проповедь Иоанн Креститель. При Тиверии с 14 лет протекала вся последующая жизнь Спасителя Господа Иисуса Христа. Сохранилось свидетельство, в котором Тиверий признает Иисуса Христом и говорит о Его воскресении. Тиверий хотел включить Христа в число богов, но римский сенат не согласился.

[2] Сабинские горы — располагаются с северо-запада на юго-восток по границе Рима, 2000 м высоты.

[3] Легионер — солдат из легиона. Легион у древних римлян — отряд войск, основная боевая единица, полк, состоявший из трех тысяч пехоты и трехсот всадников.

[4] Палатин — один из холмов, на которых возник Древний Рим. Имеет две вершины — Палатин и Гермал.

[5] Капри — остров, расположенный юго-западнее нынешнего Сорренто на кампанском побережье. В 29 г. до н. э. приобретен императором Августом у неаполитанцев. Известность остров получил во времена Тиверия, построившего на нем ряд великолепных вилл. Здесь же он провел 10 последних лет своей жизни. Позднее остров стал местом ссылки.

[6] Форум — в древнем Риме: площадь, где протекала общественная жизнь города.

[7] Сибиллы (Сивиллы) — в греческой мифологии пророчицы, прорицательницы, в экстазе предрекающие будущее (обычно бедствия). Здесь речь, видимо, идет о Куманской сибилле, которая получила от влюбленного в нее Аполлона дар прорицания и долголетие, но, забыв вымолить себе вечную молодость, через несколько столетий превратилась в высохшую старушку (Овидий. «Метаморфозы». XIV. 103-153).

[8] Назарет — небольшой городок (ныне Эль-Назира), расположенный на склоне живописного холма на запад от горы Фавор. В этом городе был дом Иосифа из колена Иудина, мужа Марии, Матери Иисуса, в котором Господь провел 30 лет Своей земной жизни до выхода на служение.

[9] Галилея — одна из трех областей, на которые разделялась Палестина во времена римлян.

[10] Яффа (Иоппия) — один из древнейших городов Азии на северо-западном берегу Средиземного моря, в 37 английских милях от Иерусалима.

[11] Саронская долина (равнина) — название хорошо известной равнины в Палестине. Славилась своей красотой и плодородием и изобиловала цветами и плодоносными деревьями. Была населена. В настоящее время утратила прежнюю красоту и оживленность.

[12] Сион — юго-западная гора в Иерусалиме, на которой возвышается крепость Иерусалимская. Сион со всех четырех сторон окружен долинами. До времен Давида Сион находился во власти иевусеев (народ, проживавший в Ханаане еще до прихода израильтян), и они имели здесь свою крепость. Давид взял эту крепость, распространил, обстроил и украсил ее, и с этого времени Сион сделался городом Давидовым и столицей Иудеи (2 Цар.5:79.6:12, 16. 3 Цар.8:1). Давид воздвиг здесь новое укрепление. В скалах Сиона были гробницы Давида и других царей. Ныне стена города проходит по хребту Сиона, так что южная часть горы лежит вне города. В Священном Писании Сион называется просто Сионом, городом Давидовым, горою святою, жилищем и домом Божиим, царственным городом Божиим, принимается за самый Иерусалим, за колена Иудино и царство Иудейское, за всю Иудею и за весь народ иудейский. У пророков имя Сион часто означает Царство Божие во всей его полноте, на земле

и на небе, до окончательного совершения всего в вечности. Наконец, в прообразовательном смысле Сион представляется как место жительства Божия на Небесах, как место высочайшего откровения славы.

[13] Наместник — царский представитель в покоренной области. Здесь титул «наместник» относится к прокуратору, верховному чиновнику администрации имперской провинции, в которой не было легата (легат — в Древнем Риме назначавшийся сенатом посол или уполномоченный), к Понтию Пилату (Лк.3:1). Понтий Пилат — римский наместник (прокуратор) Иудеи, Самарии и Идумеи с 26 г. до 36 г.

[14] Судные Врата — врата в древнем Иерусалиме, через которые, выйдя из города, проходил на Голгофу осужденный на казнь. Перед вратами приговоренному в последний раз зачитывали смертный приговор. Эта была последняя возможность подать апелляцию. После прохождения Судных Врат приговор не подлежал обжалованию.

[15] Голгофа (череп), иначе краниево лобное место — горная возвышенность на северо-запад от Иерусалима, на которой был распят Господь. Голгофа находилась недалеко от города (Ин.19:20), ныне же находится в самом городе, близ западной его оконечности и вся обстроена священными зданиями, в ознаменование священных мест и событий распятия, крестных страданий, погребения и воскресения Спасителя. Название Голгофы дано этому священному месту, вероятно, по сходству означенной местности с формой черепа или потому, что здесь часто были видимы черепа казненных преступников.

[16] Лютня — старинный струнный щипковый музыкальный инструмент.

[17] Кимвал — древний ударный музыкальный инструмент, состоявший из двух медных тарелок или чаш.

[18] Перистиль — прямоугольные двор и сад, площадь, зал, окруженные с четырех сторон крытой колоннадой. Известен с 4 в. до н. э., широкое распространение получил в эпоху эллинизма и в Древнем Риме.

[19] Марк Аврелий Антонин (121-180) — римский император со 161 года из династии Антонинов, представитель позднего стоицизма, автор философских «Размышлений». При Марке Аврелии произошла существенная перемена в отношении правительства к христианству. Император, замечая увеличение христианских обществ, стал опасаться за целостность империи и старался всеми мерами поддерживать в народе отечественное служение богам. На христиан он смотрел как на заблуждающихся упрямых фанатиков, ненавидел их «суеверное учение», веру в загробную жизнь и их святое одушевление при встрече со смертью. Он поставил своей целью разубедить христиан, сообщить «правильные» убеждения, чтобы сделать их достойными членами государства. М. Аврелий не только не останавливал, подобно прежним императорам, возмущения языческой толпы против христиан, но даже издал новый эдикт. Теперь повелевалось разыскивать христиан, убеждать их отказываться от своих заблуждений и, если они останутся непреклонными, предавать пыткам. Началось жестокое преследование. Христиан разыскивали, предавали пыткам, замучивали до смерти. Никогда в предшествовавшие преследования не было столько мучеников, сколько тогда. <http://www.hristianstvo.in/ru>

[20] Портик — прилегающая к зданию крытая галерея с колоннадой.

[21] Юпитер — в языческой мифологии, у римлян главный бог, сын Сатурна и Реи, соответствующий греческому Зевсу.

- [22] Юнона — в римской языческой мифологии богиня — покровительница брака, материнства, женщин, супруга Юпитера.
- [23] Церера — в римской языческой мифологии богиня земледелия и плодородия. Соответствует греческой Деметре.
- [24] Белла — шарик, надеваемый на шею римского мальчика и носимый до совершеннолетия (до 16-ти лет).
- [25] Тóга — верхняя одежда граждан Древнего Рима, кусок белой шерстяной ткани эллипсовидной формы, драпировавшийся вокруг тела.
- [26] Плутон — у язычников - древних греков и римлян - бог подземного царства и смерти, носивший у греков также имя Аида.
- [27] Патриций — лицо, принадлежавшее к исконным римским родам, составлявшим правящий класс и державшим в своих руках общественные земли (в Древнем Риме).
- [28] Сестерций — древнеримская серебряная, а затем из сплава цветных металлов мелкая монета, чеканилась с 3 в. до н. э.
- [29] Таблинум — в древнеримском доме помещение за атриумом.
- [30] Пергаментный свёрток. Пергамент — материал для письма из недублёной сыромятной кожи животных (до изобретения бумаги). Также древняя рукопись на таком материале.
- [31] Пифагор — один из первых древнегреческих философов (6 в. до н. э.), основатель легендарного Пифагорейского товарищества.
- [32] Эсквилин — один из 7 холмов, на которых возник Древний Рим.
- [33] Атриум — существенная часть римского дома, представлявшая собою род крытого портика в передней части здания.
- [34] Триклиниум — у древних римлян — обеденный стол с тремя ложами для возлежания. У них же — столовая.
- [35] Император Антонин, Антонин Пий — римский император, царствовавший между 138-161 гг. от Рождества Христова, преемник Адриана, который усыновил его.
- [36] Номентанская дорога (лат. Via Nomentana) — античная дорога в Италии, проходившая от северо-востока Рима до города Nomentum (современный город Ментана). Длина дороги составляла 23 километра.
- [37] Бахус — в древнеримской мифологии — бог виноградарства, вина и веселья, соответствовавший греческому Дионису.
- [38] Коринфская — представляющая собой выражение архитектурного стиля, сложившегося в древней Греции в городе Коринфе.
- [39] Восковая дощечка — дощечка из твёрдого материала (самшит, бук, кость) с выдолбленным углублением, так что бы образовывался бордюрик, и залитая тёмным воском. В Римской

империи пришла на смену свинцовых листов. На дощечке писали, нанося на воск знаки острой металлической палочкой — стилусом (стиль, стило). В случае необходимости надписи можно было стереть, загладить и воспользоваться дощечкой вторично.

[40] Этна — действующий вулкан в Европе, на острове Сицилия (Италия). Высота 3340 м (самый высокий в Европе). Последнее сильное извержение было в 1669 году.

[41] Лары — боги, покровители домов у древних римлян; усопшие души предков, возведенные в богов — покровителей своих семей.

[42] Пенаты — римские домашние боги, хранители, по их верованиям, как отдельных семейств, так и государства.

[43] Коммод — римский император, царствовавший между 180-192 годами от Рождества Христова, сын Марка Аврелия и Фаустины.

[44] Эфес — древний город в Карию (на западном побережье Малой Азии).

[45] Киринеянин — от места рождения Симона; Киринеи, или Кирены — главный город в Ливии, в Африке, по которому и окружающая его местность называлась также Киринеей.

[46] Евксин (Евксинский Понт) — Черное море.

[47] Старый Свет — так говорится о Европе.

[48] Аристипп (ок. 435-355 до н. э.) — древнегреческий философ, ученик Сократа, основатель т. н. Киренской (гедонической) школы (киренанки). Высшую цель жизни Аристипп видел в удовольствии, но человек, по учению Аристиппа, не должен подчиняться удовольствиям, но стремиться к разумному наслаждению, которое составляет высшее благо.

[49] Гегезий Киринейский — последователь Аристиппа. Но, исходя из положения, что истинное благо и цель жизни есть удовольствие, и исследуя с этой точки зрения действительные условия человеческого существования, Гегезий приходил к выводу, что удовольствие недостижимо, а от страдания лекарство — смерть.

[50] Эпигон — последователь какого-нибудь направления в искусстве или науке, лишённый творческой оригинальности и повторяющий чужие идеи.

[51] Равви — почтительное обращение к духовным учителям в позднем иудаизме (Мф.23:7, 8).

[52] Никодим — знаменитый фарисей, член иудейского синедриона, который уверовал в Спасителя, но при Его жизни веровал тайно, а после страданий и смерти открыто отдал Ему свой последний долг, принеся с Иосифом Аримафейским смирны и алоэ для помазания Его Тела. По преданию, впоследствии Никодим принял крещение от апостолов, жил и скончался в загородном доме Камалиила, своего родственника. Память его 28 августа.

[53] Синедрион — верховное судилище иудеев, находившееся в Иерусалиме, которое состояло из 72 членов под председательством первосвященника.

[54] Иегова (Сущий) (Исх.3:14) — одно из имен Божиих, великое и святое, означающее самобытность, вечность и неизменяемость существа Божия, имя Того, Который был, есть и будет и Который Сам изрек о Себе: «Я Господь, в первых и в последних. Я тот же» (Ср.

Ис.41:4).

[55] Илия Пророк (9 в. до Рождества Христова) — святой (память 20 июля/2 августа), ревностный поборник веры, обличитель всякого нечестия. Был взят живым на небо. Поднимаясь на огненной колеснице, сбросил пророку Елисею свою милоть (накидку). Являлся на землю во время преображения Иисуса Христа. Должен также, согласно Откровению Иоанна Богослова, явиться перед Вторым пришествием Христа. В русском народе святой пророк Илия испокон века пользуется особым уважением.

[56] Елисей — известный пророк в Израиле, ученик и преемник пророка Илии в пророческом служении, к которому он был призван в то время, когда пахал на волах землю.

[57] Анна — был первосвященником прежде Каиафы; тесть Каиафы. У иудеев было принято оставлять наименование первосвященника тому, который прежде занимал эту должность, и после прекращения своего служения. Это наименование удержалось и за Анной.

[58] Претория — во времена Понтия Пилата (см. примечание на стр. 150) — жилище и главное местопребывание Пилата. Обычно правители Иудеи жили не в Иерусалиме, а в Кесарии, но на большие праздники, когда из-за стечения народа требовались меры предосторожности, они прибывали в Иерусалим. В Претории находилось помещение не только для Пилата, но и для его свиты и воинов.

[59] Претор — в Древнем Риме — титул консулов и диктаторов; впоследствии — должностное лицо, которому принадлежит высшая судебная власть. Здесь о Понтии Пилате.

[60] Пилат, или Понтий Пилат — римский правитель, или прокуратор, Иудеи, назначенный в 29 г. по Рождестве Христовом. Был жестоким и несправедливым правителем, но при суде над Господом Его явная невинность долго удерживала Пилата от осуждения. Он старался уклониться от суда над Ним; на суде до трех раз защищал невинность Иисуса. Но под большим давлением народа и первосвященников Пилат, опасаясь лишиться должности, публично умыл руки и сказав «неповинен я в Крови Праведника Сего», предал Его в руки разъяренной толпы на распятие.

[61] Клеврет — приверженец, приспешник кого-либо.

[62] Фаустина — кормилица императора Тиверия — беспощадного и жестокого правителя Рима. После того как она отерла платом Лик Иисуса, на нем запечатлелся Его образ. Существует предание, что, когда Тиверий увидел этот образ, он уверовал во Христа и исцелился от болезни. Существует свидетельство Тиверия об Иисусе как о Христе, и подлинность его не вызывает сомнений. Перед смертью Фаустина покрестилась и получила имя Вероники, что значит «истинное изображение».

[63] См. Евангелие от Матфея (27; 22-25): «Пилат говорит им: что же я сделаю Иисусу, называемому Христом? Говорят ему все: да будет распят. Правитель сказал: какое же зло сделал Он? Но они еще сильнее кричали: да будет распят. Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом, и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите вы. И, отвечая, весь народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших».

[64] Вергилий Марон Публий (70-19 до н. э.) — римский поэт. Написал сборник «Буколики», поэму «Георгики», героический эпос «Энеида». Эпикурейские и идиллические мотивы сочетаются с интересом к политическим проблемам, идеализируется Римская империя.

- [65] Тир — приморский город-государство в Финикии (современный Сур в Ливане). Основан в 4-м тысячелетии до н. э.
- [66] Антиохия на Оронте — древний город на Ближнем Востоке, с 16 в. — Антакья.
- [67] Эгейское море — часть Средиземного моря, между полуостровами Балканским и Малой Азией и островом Крит. В нем много островов.
- [68] Киприан Фасций Цецилий (ум. 258) — христианский писатель и богослов, епископ карфагенский, мученик, отец Церкви. Казнен в гонение Валериана.
- [69] Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс (ок. 160 — после 200) — христианский теолог и писатель.
- [70] Цезарь — в Древнем Риме титул императоров.
- [71] Святая Агата (235-251 гг.) — святая мученица, христианка из Сицилии, не пожелавшая выйти замуж за римского наместника и поэтому отданная им на жестокие пытки, от которых она скончалась. Считается небесной защитницей от огня.
- [72] Карфаген — древний город-государство в Северной Африке (в районе современного города Тунис). Основан в 825 г. до н. э. После поражения в пунических войнах (264-146 г. до н. э.) был разрушен римлянами.
- [73] Феникс — сказочная птица, по представлениям древних, в старости сжигавшая себя и возрождавшаяся из пепла молодой и обновленной; символ вечного возрождения.
- [74] Александрия (Аль-Искандария) — город и порт в Египте, на Средиземном море.
- [75] Вероятно, речь о Фиваидской пустыне вблизи города Фивы, где подвизалось много пустынножителей.
- [76] Святая Симфороза — римская вдова; за исповедание христианства была мучима и утоплена в Тибре при императоре Адриане. По той же причине были казнены и семеро ее сыновей.
- [77] Филицата — святая мученица, римлянка. За распространение христианской веры всех ее семерых сыновей предали мучениям у нее на глазах и умертвили, после чего умертвили и саму Филицату.
- [78] Алкивиад (ок. 450-404 г. до н. э.) — афинский стратег в период Пелопоннесской войны; выиграл многие морские сражения; политический деятель.
- [79] Весталка — у древних римлян: жрица Весты (Веста — в римской мифологии — богиня домашнего очага и огня), давшая обет целомудрия; хранительница огня в храме.
- [80] Манихеи — приверженцы манихейства. Манихейство — религиозное учение, основано в 3 в. Мани. В основе манихейства — дуалистическое учение о борьбе добра и зла, света и тьмы как изначальных и равноправных принципов бытия. Распространилось в 1-м тысячелетии н. э. от Китая до Испании, подвергаясь гонениям со стороны разных религий, в т. ч. и христианства.
- [81] Тибр — река в Италии, на которой стоит город Рим. Протяженность 405 км.

- [82] Святой Куприян — по преданию, сначала был язычником, изучал чародейство; потом обратился ко Христу и стал впоследствии епископом. Был казнен в 304 году после мучений.
- [83] Амвросий, епископ Медиоланский (род. в 340 г.) — святитель Православной Церкви. Отстаивал единство Церкви, препятствовал распространению ересей. Был замечательным церковным писателем. Кончина его, в ночь Святой Пасхи, сопровождалась многими чудесами.
- [84] Платон (428/427-348/347 гг. до н. э.) — древнегреческий философ, мыслитель мирового масштаба, ученик Сократа. Высшая идея — идея блага. Создал философскую школу, просуществовавшую до конца античности.
- [85] Ариане — приверженцы арианства. Арианство — христианская ересь IV-VI вв. Возникло в поздней Римской империи, получило название по имени его зачинателя — александрийского священника Ария. Ариане не принимали основной догмат христианской церкви о единосущии Бога-Сына Богу-Отцу. По учению Ария, Сын Божий Логос (Христос) — творение Бога, следовательно, не единосущен ему, то есть в сравнении с Богом-Отцом является существом низшего порядка. <http://drevo-info.ru>.
- [86] Ариадна — согласно древнегреческой мифологии, дочь критского царя Миноса и Пасифаи. Когда на Крит прибыл обреченный на съедение Минотавр царевич Тесей, Ариадна влюбилась в него и дала ему клубок ниток, которые он разматывал, входя в лабиринт, где находился Минотавр. Убив Минотавра, Тесей выбрался из лабиринта по размотанной нити. Минотавр — баснословное чудовище, получеловек и полубык, принадлежавшее Миносу, который держал его в лабиринте и кормил мясом юношей и дев, получаемых в дань.
- [87] Виссон — тончайшая белая дорогая ткань, с большим искусством приготовленная из льна или хлопчатой бумаги. Здесь употреблено в переносном смысле.
- [88] Цицерон Марк Туллий (106-43 г. до н. э.) — римский политический деятель, оратор и писатель. Его сочинения — источник сведений об эпохе гражданских войн в Риме. Он познакомил римлян с греческой философией, по-своему интерпретировал ее.
- [89] Иаков — патриарх, родоначальник народа израильского, младший сын Исаака, называемый иначе Израиль. Имя Израиль было получено Иаковом во время его таинственной борьбы с Богом. Иаков сделался символом всей Церкви Божией на земле.
- [90] Остия — торговая гавань и военный порт в устье реки Тибр, в 25 км от Рима.
- [91] Апеннины — горы на Апеннинском полуострове, в Италии.
- [92] Констанций II (317-361) — римский император в 337-361 гг. Поддерживал арианство, закрыл языческие храмы, запретил жертвоприношения.
- [93] Валентиниан I (321-375) — римский император с 364 г.; управлял западной частью Римской империи (в восточной — его брат и соправитель Валент).
- [94] **Афанасий Великий** (Александрийский) (ок. 295-373) — церковный деятель и богослов, епископ города Александрия. В борьбе с арианством разработал учение о «единосущии» Бога Отца и Бога Сына, ставшее догматом на 1-м и 2-м Вселенских соборах.
- [95] Гермуполь Великий (Гермоуполь) — один из древнейших городов Египта, существовал еще в додинастический период (4-е тысячелетие до н. э.).

[96] Ключарь — духовное лицо, заведующее ризницею и церковной утварью.

[97] Илия — замечательнейший после Исаии из ветхозаветных пророков и глава общества сынов пророческих в царстве Израильском

[98] Иоанн Предтеча и Креститель Господень — пророк, проповедовавший в пустыне Иудейской, призывал народ к покаянию в грехах и исправлению жизни; тем подготавливал народ к принятию Мессии Христа. От Иоанна принял в реке Иордан крещение Господь Спаситель. Был обезглавлен по приказанию царя Ирода. Память его Церковь совершает семь раз в году.

[99] Фиваидская пустыня — знаменитая подвигами благочестия и святости преподобных отцов пустыня вблизи знаменитого древнего египетского города Фивы.

[100] См. примечание в конце жития.

[101] Власяница, или вретисце — грубая ткань темного цвета, изготовлявшаяся из козьей шерсти. Из этой ткани делали мешки (Быт.42:25), равно как и одежды, носимые мужчинами и женщинами в знак печали (3 Цар.21:27. 4 Цар.6:30. Иов.16:15 и др.). Одежда эта была, как кажется, самой простой формы, вроде мешка. Власяница опоясывалась иногда поясом из той же ткани (Ис.3:24); иногда в особой печали она надевалась и на ночь. Носили ее и в знак смирения, раскаяния, глубокого поста.

[102] Цензор — протоиерей Иоанн Петропавловский. Москва. Типография Вильде. Малая Кисловка, соб. дом. 1901 год.

[103] Медница — медная монетка.

[104] Цензор — протоиерей Иоанн Петропавловский. Москва. Типография Вильде. Малая Кисловка, соб. дом. 1901 год.

[105] Преподобный Мартиниан — пустынный, подвизавшийся сперва в окрестностях Кесарии Палестинской, а потом на каменистом острове. Скончался в Афинах в начале 5 века. Среди русских этот святой считался избавителем от блудной страсти. Память 26 февраля (13 февраля по старому стилю).

[106] Карея — монашеский городок, как бы столица Святого Афона; это слово означает «орех», что подтверждается самой местностью, где много орешника.

[107] Святогорский — от Святая гора; то же Афон, Афонская гора — полуостров на северо-востоке Греции, на котором расположены многочисленные монастыри, скиты и отдельные келии. Является центром православного монашества.

[108] Константин I Великий (ок. 285-337 гг.) — римский император с 306 г. Поддерживал христианскую Церковь, сохраняя также языческие культы. В 324-330 гг. основал новую столицу Константинополь на месте города Византии.

[109] Гавриил — один из семи главных Ангелов, возносящий молитвы людей к Богу. Гавриил разъясняет пророку Даниилу его видение (Дан.8:16-27), предсказывает ему о семидесяти седмицах (Дан.9:21-27). Архангел Гавриил послан был Богом возвестить Захарии рождение Иоанна (Лк.1:11-22) и Пресвятой Деве Марии — рождение от Нее Спасителя (Лк.1:26-28). Гавриил указал Марии на её родственницу Елисавету, которая по обетованию зачала сына,

явив свидетельство истинности ангельской вести (Лк.1:36 и след.) Имя Гавриил означает «сила Божия».

[110] Прот (греч.) — настоятель монастыря, особенно на Афоне, либо начальник группы монастырей.

[111] Диоклетиан (243 - между 313 и 316 гг.) — римский император в 284-305 гг. С ним связано установление домината. Своими реформами стабилизировал положение империи. В 303-304 гг. предпринял гонение на христиан.

[112] Вифиния — область в Малой Азии, граничившая с Пафлагонией, Черным морем, Фригией и т. д. В ней находились города Олимп, Никея, Никомидия и др. Христианство появилось здесь еще во времена апостольские; вифинские христиане обладали чистотой и твердостью веры.

[113] Эскулап — в римской мифологии — бог врачевания. Соответствует греческому Асклепию.

[114] Гален (ок. 130-200 гг.) — древнеримский врач. Учение Галена канонизировано Церковью и господствовало в медицине в течение многих веков.

[115] Гиппократ (ок. 460 - ок. 370 гг. до н. э.) — древнегреческий врач, реформатор античной медицины, материалист. Ему приписывается текст этического кодекса древнегреческих врачей («Клятва Гиппократа»), который стал основой обязательств, принимавшихся впоследствии врачами во многих странах.

[116] Максимиан (240-310 гг.) — римский император в 286-305 гг. и с 307 г.; соправитель Диоклетиана (до 305 г.); поддерживал его реформы.

[117] Улала — название столицы Республики Алтай, город Горно-Алтайск до 1932 года.

[118] Алебарда — старинное холодное оружие, копьё с насаженным на него боевым топором или секирой.

[119] Борисфен — древнее название реки Днепр.

[120] Червлёный — темно-красный; багряный.

[121] Мўрмолка — старинная мужская шапка с высокой суживающейся кверху тульей (верхняя часть шляпы, шапки), с отворотами и без них.

[122] Кóрзно — вид плаща князей и знати Киевской Руси, который накидывался сверху и застегивался большей частью на правом плече запонкой с петлицами.

[123] Вечевое — от «вече»: народное собрание в древней и средневековой Руси 10-14 веков, созывавшееся для решения общих дел.

[124] Венецйская — из итальянского города Венеции

[125] Гиббелины — политическая партия на Западе, выступавшая в 13 и 14 веках в борьбе светской и духовной власти. Гиббелины держали сторону германского императора, в то время как партия гвельфов держала сторону папы.

[126] Дружинники — воины княжеского войска в Древней Руси. Князь нуждался в военной силе для обеспечения внутреннего порядка и обороны от внешних врагов. Дружинники были реальной военной силой, всегда готовой к бою, а также советниками и слугами князя.

[127] Кошма — войлочный ковер из овечьей или верблюжьей шерсти.

[128] Шишак — металлический шлем с острием, вершина которого увенчивалась обычно небольшой шишкой.

[129] Память мученика Меркурия совершается 24 ноября (7 декабря по новому стилю).

[130] Прописные буквы в тексте сохранены как в оригинале.

[131] Папа — римский папа Иннокентий I (402-417).

Алексий, человек Божий, живший в Италии, прославлен Русской Православной Церковью в лике святых как преподобный. Почитается православной (день памяти 30 марта по новому стилю) и католической (день памяти 17 июля) церквями. Житие святого Алексия было широко известно и популярно как на Востоке, так и на Западе.

[132] Гонорий (384-423) — император Западной Римской империи с 395 года.

[133] Хартия — здесь: рукопись.

[134] Сохранено как в первоисточнике. — *Ред.*

[135] Петель — петух (см. Евангелие от Иоанна (18; 27): «Пáки убо, Петр отверже́ся, и абие петель возгласí»).

[136] Стихотворение передано в редакцию «Звонница» в 2013 году работой Божией Екатериной, духовным чадом отца Григория Пономарева. — *Ред.*

[137] Черне́ц — то же, что монах.

[138] Вече́рня — одно из суточных богослужений, совершаемое вечером.

[139] Яса́к — вестовой звон, служащий для подачи сигнала.

[140] Врата́рь — сторож у ворот монастыря; привратник.

[141] Возве́рзи — возложи.

[142] «Егоже любит бо Господь, наказует» (Притч.3:12).

[143] Сугу́бит — удваивает.

[144] Венец — венок (обычно как символ страдания, мученичества).

[145] Кресты: обязанность идущего за Иисусом Христом — взять крест свой. Под именем креста разумеются страдания, горести и неприятности. Взять крест свой — значит принимать и безропотно переносить все, что бы ни случилось с нами в жизни нашей неприятного, горестного, печального, трудного и тяжкого (святитель Иннокентий (Вениаминов)),

митрополит Московский, апостол Сибири и Америки).

[146] Врáновы — вороновы.

[147] Игúмен — монах в сане священника, званием выше иеромонаха, но ниже архимандрита.

[148] Челó — лоб.

[149] Келия, келья — жилая комната монаха в монастыре. Иногда — маленький отдельный домик.

[150] Божнúца — полка или киот с иконами.

[151] Теснúца — тонкая тёсаная доска.

[152] Налóй, аналóй — высокий столик с покатым верхом, на который в церкви кладут иконы или книги.

[153] Псалтúрь — сборник священных песней Ветхого Завета, большая часть которых составлена святым пророком Давидом.

[154] Саул — первый царь израильский, сын Киса, из колена Вениаминова, отвергнут Богом; гнал Давида; окончил жизнь самоубийством в 1058-м году до Рождества Христова.

[155] Давид — царь и пророк израильский, полководец, составитель псалмов. Правил около 40 лет (конец 11 века — около 950 года до Рождества Христова).

[156] Соломон — царь израильско-иудейского царства. Сын Давида. Славился необычайной мудростью. Автор некоторых книг Ветхого Завета.

[157] Самсон — судья израильский. Был одарён чудесной силой, таившейся в его длинных волосах.

[158] Бородинское сражение — сражение в период Отечественной войны 1812 года между русской армией (главнокомандующий М. И. Кутузов) и французской армией Наполеона I 26 августа (7 сентября) в районе села Бородино в 110 км к западу от Москвы.

[159] Мантия — монашеское одеяние: длинная, без рукавов, накидка с одной застежкой — на воротах.

[160] Клобúк — так называемое покрывало, носимое монашествующими на головах сверх камилавки (камилавка — головной убор у духовенства).

[161] Косневший — от *коснеть*: приходить в состояние застоя, погрязать в чем-либо.

[162] Иждивáл — проживал.

[163] Чертóг — пышное, великолепное помещение или здание, дворец.

[164] Пáжить — луг, пастбище, на котором пасётся скот.

[165] Стяжание — богатство, накопление, всевозможное добывание.

[166] Мария — сестра Лазаря, которого Господь воскресил на четвёртый день после смерти. Жила с сестрой Марфой и братом в Вифании. В Евангелии говорится, что однажды она сидела у ног Иисуса и слушала слово, тогда как Марфа заботилась о большом угощении. Иисус сказал Марфе, что «Мария избрала благую часть, которая не отнимется у нее» (Лк.10:38-42).

[167] Оструплённый — покрытый струпом. Струп — корка, покрывающая ссадину, ожоговую поверхность, рану. Здесь употреблено в переносном смысле.

[168] Фимиам — благовонное вещество, сжигаемое при богослужениях.

[169] Риза — платье, одежда, верхнее платье, плащ.

[170] Златница — богатая одежда, расшитая золотом; употреблено в переносном смысле.

[171] Руб — грубая одежда, лохмотья; употреблено в переносном смысле.

[172] Мир — особенный состав из благовонных веществ для священного помазания. Здесь употреблено в переносном смысле.

[173] Рамена — плечи.

[174] Ярём, ярмо — бремя, тяжесть, иго.

[175] Подвизаться значит в некоторых случаях стараться (Лк.13; 24), но чаще действовать, трудиться, сотрудничать.

[176] Елей — освященное оливковое (или другое растительное) масло, используемое в некоторых церковных обрядах.

[177] Пламенный — факел, светильник.

[178] Здесь имеется в виду евангельская притча о мудрых и неразумных девах: «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масла в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: вот, жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали: чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились; после приходят и прочие девы и говорят: Господи! Господи! отвори нам. Он же сказал им в ответ: истинно говорю вам: не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий» (Мф.25:1-13).

[179] Різничные палаты, різница — отдельное помещение в храме, где хранятся облачения (риз) священнослужителей и церковная утварь.

[180] Сравните по Евангелию от Иоанна (6; 37): «Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон».

[181] Сравните по Евангелию от Матфея (11; 29): «...возьмите иго Мое на себя и научитесь от

Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим».

[182] Святой Макарий, Макарий Великий — святой, преподобный, живший в 4-м веке в Египте. Его называют «отцом египетского монашества».

[183] Занé — ибо, потому что, так как.

[184] Тать — вор, грабитель.

[185] Испове́сть — расскажет, поведает.

[186] Небреже́м — не заботимся, не беспокоимся, не радеем.

[187] Фарисей — лицемер, ханжа (первоначально член древней иудейской секты, отличавшейся религиозным фанатизмом).

[188] Минéя — богослужебная книга православной церкви, содержащая службы годового круга.

[189] Лоб — происходит от церковнославянского, древнерусского «льбъ» - «череп». Вероятно, имеется в виду череп.

[190] Обещевать, обетовать — дать слово, обязаться, заручиться в исполнении чего-либо.

[191] Постриже́ние (волос) — церковный обряд, во время которого ножницами крест-накрест срезаются четыре прядки волос. Совершается, во-первых, над новокрещенными после таинства миропомазания; во-вторых, при посвящении в чтеца и певца; в-третьих, при посвящении в монашество.

[192] Святотáтец — человек, совершивший святотатство; святотатство — оскорбление церковной святыни; кощунство.

[193] Анания, Сапфира — упоминаются в Книге Деяний апостольских (5; 1-10). Анания — один из обратившихся в христианство вследствие проповеди апостольской. Анания со своей женой Сапфирой утаили часть денег от проданной земли, которые должны были отдать апостолам, после чего пали бездыханными.

[194] Всесожже́ние — способ принесения жертвы и сама жертва, которая после заклания и снятия с нее шкуры полностью сжигалась на жертвеннике. Это есть символ полной отдачи Господу и полноты смирения.

[195] Фимиáм — благовонное курение, употребляемое в иудейском ежедневном богослужении и при всех жертвоприношениях.

[196] Любостяжа́ние — излишнее попечение о богатстве и приобретении земных благ. Этот грех, воспрещаемый второю заповедью, относится к идолопоклонству.

[197] Вид (письменный вид) — в России 19 - начале 20 веков всякого рода свидетельство: о рождении, происхождении, поведении и т. п.

[198] Схíмник — монах, посвящённый в схиму. Схима — высшая степень монашества.

[199] Отднёсь — отныне, от сего дня.

[200] Довлеет — достаточно, довольно, удовлетворять кого-что-нибудь, быть достаточным для кого-чего-нибудь.

[201] Бренный — тленный, преходящий.

[202] Успú — усыпи.

[203] Отженú — отгони.

[204] Обращемся готовы — будем готовы.

[205] Иже — кто, которые.

[206] Вчиня́ть — вмещать, включать.

[207] Горний — вышний, верхний, небесный.

[208] Святой **Иоанн Лествичник**, преподобный, умер в 649-м году. Автор знаменитого сочинения по аскетике «Лествица райская», дающего руководство к иноческой жизни. Ему принадлежат слова: «Затворяй дверь кельи для тела, дверь уст — для бесов, а внутреннюю дверь души — для лукавых духов». Видимо, в тексте перефразировано это выражение.

[209] Горé — вверх, кверху.

[210] Дóлу — книзу, вниз.

[211] Прúсно — всегда.

[212] Ин.7:37.

[213] Ин.8:12.

[214] Тецы́ — теки.

[215] Деснúца — правая рука.

[216] Опочúть — уснуть.

[217] Назúрать — надсматривать, наблюдать.

[218] Вельмú — очень, сильно, в большой степени.

[219] Вжúве — заживо.

[220] Авва — отец; так называли начальника обители. Это слово выражает собою высшую степень искренней любви, доверенности, покорности, равно как и дружеского общения.

[221] Кадушка — кадка небольшого размера. Кадка — деревянная цилиндрическая посуда, прямая бочка, сделанная из досок, стянутых обручами.

- [222] Глагол — речь, слово.
- [223] Попещúсь — позаботиться.
- [224] Возмогáть — укрепляться, стоять твердо, держаться, преодолевать.
- [225] Блюстись — беречься.
- [226] Внúдеши - впадешь.
- [227] Тщета́ — бесполезность, суетность, тщетность.
- [228] Идэ́же — где, когда.
- [229] Решить узы — развязать узы.
- [230] Бденье — бодрствование.
- [231] Опочúла — умерла
- [232] Прозира́ет — провидит, предвидит.
- [233] Тлит — подвергает тлению, портит.
- [234] Пэ́стун — тот, кто воспитывает, развивает, формирует кого-либо.
- [235] Деннúца — утренняя заря.
- [236] Эдэм — земной рай.
- [237] Вы́я — шея.
- [238] Кибитка — крытая повозка.
- [239] Верста́ — старинная русская мера длины, равная 500 сажням или 1,06 километрам (применялась до введения метрической системы).
- [240] Ямщúк — возница, кучер на ямских, почтовых лошадях.
- [241] Дворéцкий — управляющий хозяйством в помещичьих имениях в городских усадьбах и особняках России.
- [242] Рого́жинный, рого́жный — сделанный из рогожи, из рогож. Рогожа — грубый, плетёный из мочала материал для упаковки.
- [243] Седмúца (от слав. — *семь*) — церковное название семи дней, обычно именуемых неделю (неделей в церковном календаре называется день воскресный). Начинается в субботу вечером.
- [244] Повече́рие — вечернее богослужение, совершаемое после вечера, то есть после ужина.
- [245] Канóн — церковная песнь, в похвалу святого или праздника церкви, читаемая на заутренях и вечернях.

[246] Ака́фист — хвалебное песнопение, молитвословие в честь Господа, Божией Матери или святого, исполняемые стоя.

[247] Удел — часть, доля, данная, уделенная кому-нибудь.

[248] Ханане́я — хананеянка, из потомков Ханаана, сына Хамова. Смысл слов княгини становится понятен при чтении строк Евангелия от Матфея (15; 22 - 28): «И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется. Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его, приступив, просили Его: отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева. А она, подойдя, кланялась Ему и говорила: Господи! помоги мне. Он же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она сказала: так, Господи! но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час».

[249] Кружка для сбора свечных огарков.

[250] Свещни́к, свечни́к — свечной мастер либо продающий церковные свечи.

[251] Святая Гора Афон — географически полуостров в Восточной Греции, в районе Халкидики (Македония), представляющий собой гору высотой 2033 м над уровнем моря. Административно — особая единица Греческой Республики, самоуправляемое сообщество 20 православных монастырей в непосредственной церковной юрисдикции Константинопольского Патриарха (с 1312 года). Для православных всего мира Афон — одно из главных святых мест, почитается как земной удел Богородицы.

[252] Вéлия — великая.

[253] Длань — рука, ладонь.

[254] Кóрмчий (Иез.27:8, 28. Деян.27:11. Иак.3:4. Отк.18:17) — стоящий на корме у руля и направляющий путь корабля.

[255] Вре́тище — убогое платье, рубище.

[256] Обру́чница — обрученная, невеста (Мф.1:20).

[257] Срéтенье — встреча.

[258] Потшúсь — постарайся.

[259] Уповáть — иметь упование, надеяться.

[260] Тя — тебя.

[261] Егда́ — когда.

[262] Вольное переложение строк из псалмов 67, 90.

[263] Благочúнный — священник, назначенный помогать архиерею в наблюдении за деятельностью духовенства и жизнью приходов во вверенной ему части епархии — благочинии.

Благочинные есть и в монастырях.

[264] Сугубая — вдвое большая, двойная.

[265] Овча́ — овца, овечка.

[266] День Введенья — праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы.

[267] Восприёмница — крестная мать.

[268] Феодора — от Феодор — «Божий дар» (греч.)

[269] Корчма́ — раньше на Украине, в Белоруссии и в южных областях России: постоялый двор, трактир.

[270] Деся́тский — в Российской империи выборное должностное лицо из крестьян для выполнения полицейских и различных общественных функций.

[271] Пошевну́ — широкие сани, розвальни.

[272] Станово́й — начальник стана в уезде в Российском государстве до 1917 года; становой пристав.

[273] Испра́вник — в России глава уездной полиции.

[274] Должностно́й — тот, кто занимал какую-либо должность в учреждении, на предприятии; служащий.

[275] Староста — в России 16-20 веков выборное должностное лицо для руководства небольшими административно-территориальными единицами и общественными коллективами (староста земский, губной, сельский, артельный и т. п.).

[276] Волостно́й старшина — выборное старшее должностное лицо волости, административной единицы крестьянского самоуправления в Российской империи.

[277] Со́тский (сотской) — выборный из крестьян низший полицейский чин в дореволюционной России.

[278] Сердя́га — просторечное выражение; обращение, выражающее сострадание и чувство жалости к кому-нибудь.

[279] Весту́мо — конечно, известно.

[280] На бобах разводить — обманывать рассказами, как при обычном гадании на бобах; здесь, видимо, подразумевается, что Федот всё сможет объяснить и рассказать подробно благодаря своей жизненной мудрости.

[281] Корче́мник — содержатель, хозяин корчмы.

[282] Испра́вник — в России глава уездной полиции.

[283] Покров — праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

[284] Пасха — праздник Светлого Христова Воскресения.

[285] Святки — двенадцать праздничных дней между Рождеством (7 января) и Крещением (19 января).

[286] Сам и пят, сам-пят — впятером.

[287] Не схічен — не достроен.

[288] Плетешóк — плетень.

[289] Семітка (просторечное слово, устаревшее) — монета в 2 копейки.

[290] Рунó — шерсть овцы.

[291] Бишь — частица, вставляемая в речь как знак припоминания, преимущественно того, что было сказано собеседником.

[292] Инда, индо — союз; выражает отношение следствия, означает: так что, так что даже, до того, что (употребляется в разговорной речи).

[293] Очки или лупа.

[294] Самаря́нин — из притчи о добром самарянине, упоминаемой в Евангелии (Лк.10:25-37). Она рассказывает о милосердии и бескорыстной помощи попавшему в беду человеку со стороны прохожего самарянина — представителя этнической группы, которую евреи не признают единоверцами.

[295] Полтіна — в денежном счете половина рубля.

[296] Не говéл — не постился.

[297] Пономáрша — жена пономаря. Пономарь — один из низших церковнослужителей в православной церкви, главной обязанностью которого было звонить в колокола, участвовать в клиросном пении и вообще прислуживать при богослужении. Ныне этой должности в русской церкви не существует.

[298] Острóг — в 18-19 веках тюрьма, обнесенная стеной.

[299] Собóровать — совершить (-шать) над умирающим, больным Таинство Соборования. Соборование, или елеосвящение — одно из семи таинств, служащее врачеванием для духовных и телесных недугов, а также дарующее оставление тех грехов, о которых человек забыл. Совершается семикратным крестообразным помазыванием лба, ноздрей, щек, губ, груди и рук верующего освященным елеем, сопровождаемым чтением молитв, Апостола и Евангелия.

[300] Причастіть — дать причастие кому-нибудь, совершить над кем-нибудь обряд причащения. Причащение — есть таинство, в котором верующий под видом хлеба и вина, вкушая самих Тела и Крови Христовых, таинственно соединяется со Христом и получает залог вечной жизни.

[301] Здесь речь идет о следующем. Однажды царь Давид прогуливался на кровле царского дома и увидел очень красивую молодую женщину. Давид захотел иметь ее своею женою. Он

узнал, что эту женщину зовут Вирсавия и она жена Урии Хеттеянина. Урия же в это время был на войне. У Давида появилось сильное желание, чтобы Урия умер. Царь приказал начальнику войска поставить Урию во время сражения так, чтобы его убили. Вирсавия, узнав о смерти мужа, плакала о нем.

Когда кончилось время плача Вирсавии, царь Давид послал за ней и взял ее в дом свой, и стала она его женою. Скоро у Вирсавии родился сын.

Тогда, по повелению Божию, пришел к царю Давиду пророк Нафан и сказал: «В одном городе жили два человека: один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькой и растил ее вместе со своими детьми; она ела, пила, спала вместе с ним и была для него как дочь. Но пришел к богатому человеку странник. Чтобы угостить странника, богатый пожалел своих овец и волов, а взял овечку у бедняка и заколол ее для своего гостя».

Царь Давид сильно разгневался на такого человека и сказал Нафану: «Жив Господь (то есть «клянусь Богом»), человек, сделавший это, достоин смерти, а за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это и не имел сострадания».

Тогда Нафан сказал Давиду: «Этот человек — ты. Так говорит Господь Бог: Я помазал тебя в цари над Израилем, Я избавил тебя от руки Саула, зачем же ты пренебрег слово Господа? Жену Урии ты взял себе, а его ты убил мечем аммонитян. За это меч не отступит от дома твоего. Я воздвигну на тебя зло из дома твоего».

И сказал Давид Нафану: «Согрешил я перед Господом».

Нафан ответил ему: «Господь снял с тебя грех твой; ты не умрешь, но умрет родившийся у тебя сын» (ср. 2 Цар.11:2-27.12:1-15).

[302] Манассія — иудейский царь, сын Езекии, преданный волхоованию и идолопоклонству. Измена царя и народа иудейского религии неизбежно должна была вести за собой гибель царства Иудейского, как об этом говорили современные Манассии пророки (4 Цар.21:10-15). Но обличения эти не только не производили желаемого действия на царя и народ, но и вызвали со стороны первого кровавые преследования пророков (4 Цар.21:16).

То, чего не могла произвести в Манассии пророческая проповедь, совершенно было тяжким вразумлением Божиим этому царю в виде пленения его ассирийским царем и отведения в Вавилон: там, среди испытаний и скорбей плена, Манассия глубоко смирился перед Богом, покаялся в грехах идолослужения и по молитве веры был возвращен на царство в Иерусалим, где последние дни свои провел в укреплении города, уничтожении некоторых принадлежностей идолослужения и в восстановлении отправления божественного культа во всей чистоте и правильности.

[303] Однажды, когда Господь Иисус был в гостях и возлежал за трапезой в доме фарисея, пришла одна женщина и начала обливать Его ноги слезами, отирать Его ноги своими волосами, целовать их и мазать их миром (Лк.7:36-38). Фарисей, увидев это, сказал про себя: «Этот человек, если бы Он был пророком, знал бы, кто и какова эта женщина, которая касается Его, потому что она грешница» (ст. 39). Господь понял мысли хозяина дома (ст. 40) и сказал притчу: «У одного займодавца было два должника: один был должен пятьсот динариев, а другой — пятьдесят. Но, так как им нечем было заплатить, он простил обоим». Слова Господа показывают, что Он является займодавцем, а фарисей и женщина — грешниками, Его должниками. В притче должникам было нечем заплатить займодавцу, но он простил обоим.

Отсюда видно, что всем грешникам нечем заплатить долг Богу, их Спасителю. Кроме того, слова Господа показывают, что Спаситель уже простил и фарисея, и женщину.

[304] Потѹр (греч.) — чаша, из которой православные христиане причащаются Тела и Крови Христовых.

[305] Крещение Руси — введение в Древней Руси в конце 10 века христианства как государственной религии. Начато князем Владимиром Святославичем (988-89).

[306] Плевел — все сорные травы, растущие среди пшеницы. Отцы Церкви описывают плевелы как особое растение, несколько похожее на пшеницу, но вредное по своим семенам. Святой [Иоанн Златоуст](#) пишет, что плевелы с виду походят несколько на пшеницу, и, по словам святого [Макария Египетского](#), они незаметны во множестве пшеницы; но хлеб, испеченный из пшеницы, не очищенной от семян плевел, производит вредное действие на желудок и голову, тяжкие обмороки и иногда смерть. Так как только самое тонкое зрение может открыть различие между пшеницею и плевелами, то их обыкновенно оставляют расти вместе до времени начала жатвы. Слуги, в притче Господа о плевелах, просили у своего господина дозволения исторгнуть плевелы, но он отвечал им: «...нет; чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы» (Мф.13:29, 30).

[307] Сорокоу́ст — церковное поминовение умершего в течение сорока дней после кончины (или поминовение о здравии).

[308] По материалам издания Николо-Угрешского ставропигиального монастыря, 2005.